

**Олеся Николаева**  
**Тутти: книга о любви**

**Олеся Николаева**  
**Тутти: книга о любви**

**Тутти**  
**Роман**

*Не жизни жаль с томительным дыханьем, —  
Что жизнь и смерть!.. – А жаль того огня,  
Что просиял над целым мирозданьем  
И в ночь идет!.. И плачет, уходя!*  
**Афанасий Фет**

**1**

Собаку подарил мне дружественный архиерей, которого я знала еще с тех пор, когда он был молоденьким иеродиаконом. Тогда он был лаврским монахом и заканчивал Духовную академию, но его послали на послушание в Патриархию, где он «сидел на письмах» патриарха Пимена и поэтому жил в Москве, прямо там, в Чистом переулке. Двое суток он дежурил в приемной, а на третьи его отпускали в Лавру, и по пути он заезжал к нам, тем паче что жили мы недалеко от Ярославского вокзала, да и делал он это не столько по собственной воле, сколько по благословению старца Кирилла, пославшего его к московским неофитам, чтобы их воцерковлять, вразумлять и образовывать, и молодой иеродиакон взялся за это дело с горячим сердцем.

Он появлялся у нас с тетрадками, в которых были его конспекты академических лекций по догматическому, нравственному и сравнительному богословию, по патристике, литургике, гомилетике, по истории Церкви и даже по каноническому праву; и пока мы с ним пили за низеньким журнальным столиком чай, раскладывал их на коленях и задавал нам высокоумные духовные вопросы, на которые мы с мужем немотствовали и только недоуменно переглядывались и на которые он сам же и отвечал, время от времени подглядывая в свои записки. Получалось, таким образом, что, с одной стороны, он читает нам лекции, а с другой – в то же время сам готовится к экзаменам, ибо нет лучшего способа выучить предмет, как приняться за его преподавание, и чем невосприимчивее окажется ученик, тем лучше.

Ну, конечно, он не все время, пока сидел у нас, только и делал, что читал и читал лекции. Разговор наш забредал порой в такие дали, обшаривая бездны и возносясь горе, а то вдруг, словно меняя оптику и наставляя лупу, сосредотачивался на фактурных и шероховатых подробностях дольного мира. Время за этими беседами пролетало мгновенно, и наш друг порой спохватывался уже тогда, когда и на последнюю загорскую электричку торопиться было бесполезно. Но и в Патриархию, где охранники запирали ворота в десять часов, возвращаться было немыслимо, и тогда уже он смиренно сидел у нас всю ночь до утра, отвечая на наши порой каверзные вопросы – про гармонию на слезе ребенка, про великого инквизитора и про мировое зло.

Это исчезновение молодого иеродиакона по ночам, когда из Патриархии он уже уехал, а в Лавру так и

не попал, было замечено, взято на карандаш и, в конце концов, вменено ему в провинность, за которую его отправили обратно в монастырь, а на его место взяли другого монаха. Но все это произошло уже потом, а пока он каждую неделю приходил к нам со своими тетрадками, дабы открыть нам тайны падшей человеческой души, которую если и можно утешать, то лишь церковными таинствами, принимаемыми с трепетом и благодарностью, да еще, конечно, силой милосердия Божьего. «Смирение, – говорил он, – вот чем только и может уповающий на Господа победить лукавого». Но именно этого у меня, как выяснилось, и не было, поэтому наш духовный наставник и друг то и дело меня смирял, обтесывая, как угловатый камень, неподатливый и неподъемный.

Например, появляется он у нас на пороге. Я говорю ему:

– Как мы рады вас видеть! Как хорошо, что вы к нам пришли!

А он мне:

– Я не к тебе пришел и не к вам пришел. Я пришел к твоему мужу Володе.

Или так: подаю я на стол еду и говорю:

– Вот, попробуйте, какой я вкусный салат сделала. И рыба – просто потрясающая.

А он, скромненько отведав, замечает тихонько:

– Салат как салат. Ничего особенного. И рыба – обыкновенная. Есть можно, а так...

Или собираюсь я куда-нибудь стихи читать, а друг наш вечеряет с моим мужем. И я, уходя, спрашиваю их:

– Ну как, нормально я выгляжу? – в смысле: достаточно ли по-взрослому, солидно. Потому что на меня, когда я несколько раз приезжала на поэтические выступления, писали доносы в бюро пропаганды художественной литературы: мы, мол, просили вас прислать к нам писательницу, а вы нам какую-то девчонку впесочили... Поэтому-то я и спрашиваю их: ну как? А друг мой тут же ставит меня на место:

– Да никак. Не такая уж ты и красивая!

Словом, работал он с нами духовно и художественно, и если где обнаруживалась какая-нибудь диспропорция, отсекал лишнее и наращивал недостающее. И вот я уже и не так гордо глядела, и старалась глаза опускать почаще, и пыталась сутулиться, чтобы казаться пониже, и голос поприглушила, понизив на пол-октавы.

Но бывало, что он, как мудрый наставник, и послабления мне давал, и передышку устраивал, и даже подбадривал на узком пути. Как-то раз на святки заехал он к нам из Лавры по дороге в Патриархию, посмотрел на меня радостно, празднично – на Рождество у старца поисповедовался, литургию отслужил, светлый, чистый. Захотел сказать мне что-то очень хорошее, доброе:

– Как же ты сегодня хорошо выглядишь! Особенно как-то. Да!

Я аж онемела от неожиданности. А он – с таким вдохновенным чувством:

– Что-то ты сегодня на Серафима Саровского похожа! Причащалась, наверно?

Ручаюсь, это был лучший монашеский комплимент, который я когда-либо слышала.

Но это было еще не все. Он оглядел нас сияющими глазами и спросил:

– А вы когда-нибудь были в резиденции патриарха?

– Нет, – ответили мы, ошарашенные его предположением, что мы могли там уже и побывать. – Да каким образом? Да как это возможно?

– А хотели бы? – спросил он скромно. – Хотели бы посмотреть, как патриарх живет, как он трапезничает, где он молится?

– Да, – тихо ответили мы.

– Ну хорошо, теперь будем ждать, когда откроется такая возможность.

А дело в том, что среди всяких заковыристых и подчас искусительных вопросов, которые мы задавали нашему наставнику, были и такие, ну – скользкие, с политической окраской: почему Церковь у нас участвует в советской борьбе за мир, например. Почему среди священников наверняка встречаются такие,

которые сотрудничают с КГБ, почему патриарх Пимен молчит, когда власти закрывают храмы... Муж мой даже «Великопостное письмо» Солженицына ему дал, где писатель обличает церковников в сотрудничестве с безбожной властью.

И он, любивший и нелицемерно почитавший патриарха, отвечал, что его противодействие безбожной власти происходит не на каком-то там социально-политическом уровне, а на молитвенном, духовном.

– Если власти закроют десять храмов, он не произнесет ни одного слова протеста. Но он так молится, что власти и хотели бы все эти десять храмов закрыть, а Господь им по молитвам патриарха не дает... Поэтому они закрывают из десяти – один. Вот поверьте мне – он старец, он страстотерпец, наш патриарх. Поначалу власти его ни во что не ставили, именем его мирским называли – «Сергей Михайлович» да «Сергей Михайлович», он все терпел, не перечил, а лишь молился, а потом вдруг, словно их кто надоумил, стали обращаться как положено: «Ваше Святейшество». Поначалу ему все какие-то письма из Кремля возили на подпись, возвания, он безропотно все подписывал. Потом – как-то резко это оборвалось: перестали возить. Внял Господь молитвам нашего патриарха.

И вот на святках звонит нам наш друг и сообщает, что сможет исполнить обещанное, если мы подойдем к воротам Патриархии в шесть часов вечера. В назначенный час мы стоим у ворот, и он проводит нас через охрану в свой кабинет, а оттуда мы попадаем прямехонько в резиденцию, по которой он проводит нам целую экскурсию.

– Вот ужин Святейшего, – показывает он нам на маленькую плочечку, накрытую салфеткой. Под ней – два крошечных сырника из обезжиренного творога и стакан кефира.

– Вот приемная Святейшего, – он обводит рукой зал, – пожалуйста: картина Айвазовского, подарки зарубежных гостей, икона Матери Божией, подарок православных вьетнамцев, на которой она – узкоглазенькая такая, как бы вьетнамочка. А что – тут у нас в Патриархии одна женщина работает бухгалтером, так она уверяла меня, что Мать Божия по национальности – русская. Здесь ничего не принадлежит лично патриарху, но – Церкви. А вот – его келья.

Узенький диван, иконный угол, письменный стол, книги, книги.

– Здесь Святейший молится – по много часов каждый день. Иногда он закрывается здесь – уходит в затвор. Он великий молитвенник, аскет, старец. Делание его прикровенно, и власть его – духовна. Ну, а теперь посмотрели и пойдем в приемную...

Мы сели на старинный диван под Айвазовским. Здесь было так спокойно, так благостно, так умиротворяюще тихо, что казалось, все страсти жизни остались где-то там, за стенами, и мы расслабились в сладостном созерцании... Вдруг то ли со двора резиденции, то ли из переулка раздались звуки какой-то возни, суеты. Кто-то что-то невнятное прокричал, что-то там такое закрутилось, заметалось.

Наш гостеприимный друг вдруг вскочил с места и побелел:

– Кажется, Святейший вернулся, – беспомощно проговорил он.

– Бежим! – шепотом сказала я. Муж сделал огромные глаза – те самые, которые так велики у страха.

Мы принялись в панике куда-то бежать: от окна к окну, от двери к двери, то вместе, то врассыпную. Это напомнило мне известный сюжет «Бобик в гостях у Барбоса». И, кажется, там все заканчивалось тем, что обоим влетело.

Наконец мы выскочили на лестницу и оказались как бы уже вне патриаршей территории – возле кабинета нашего друга...

– Надо же, он сегодня в Илье Обыденном собирался служить, а наверное, плохо себя почувствовал, вернулся, – все пытался на ходу найти объяснение испуганный иеродиакон.

Шум за окнами между тем затих, возня улеглась, в доме водворились прежние тишина и покой. Мы выглянули во двор – он оказался пуст, ворота закрыты.

– Искушение, – поежился наш друг. – Никого. Вот как лукавый может напугать, смутить...

– А что было бы, если бы патриарх и в самом деле вернулся и застукал нас там? – спросила я.

Он невозмутимо пожал плечами:

– Ничего. Вы бы попросили у него благословения. Ну, теперь вы хоть что-нибудь поняли про него?

Почувствовали этот дух?

Но бывали у нас с нашим другом и курьезы. Звонит нам как-то раз по телефону некий господин и говорит:

– Нельзя ли отца (ну, предположим) Дмитрия?

А трубку взял мой папа, и поскольку моего брата, а его сына зовут (ну, предположим) Митей и, следовательно, папа мой и есть «отец Дмитрия», то он и говорит:

– Слушаю вас.

Голос в трубке закашлялся и, наконец, неуверенно произнес:

– Дмитрий?

– А его нет. Он только что поехал к жене.

– Простите, к кому? К чьей жене?

– К своей...

– Как! А он что – разве женат?

– Давно уже, у него и дети есть.

– А-а, – тоскливо протянул голос, и в трубке раздались гудки.

И папа, наверное, тут же бы и забыл об этом странном собеседнике, если бы через несколько минут у нас не появился наш иеродиакон:

– А мне никто не звонил? – спросил он почти сразу.

Мы отрицательно замотали головами, и вдруг папа как-то напрягся, покраснел и, сконфузившись, сказал:

– Кажется, я вас только что подвел под монастырь. – И припомнил весь этот водевильный диалог.

И действительно, в конечном счете вышло так, что наш друг, который так горячо и талантливо воспитывал нас для жизни в Церкви, за это пострадал, претерпел напраслину, клеветы и доносы, был отправлен в Лавру на послушание гостиничника, то есть именно и получилось, что мы его «подвели под монастырь».

Но и перебравшись туда, он не оставил нас своим попечением, и мы часто к нему приезжали, а мой муж даже останавливался у него в монастырской гостинице, так что новое послушание нашего друга оказалось очень кстати. Впрочем, уже тогда, когда он был еще скромным иеродиаконем, да к тому же и опальным, в нем чувствовалась какая-то харизма, духовная власть, и мы даже поспорили с кем-то из его мирских знакомых, что наш иеродиакон непременно станет архиереем. И вот, через какое-то весьма малое время, так оно и случилось – нашего друга рукоположили в иеромонаха, потом он стал игуменом, затем архимандритом и потом, возрастая, как кедр Ливанский, был хиротонисан во епископа и назначен на кафедру в отдаленном городе N, на которой пребывает и поныне.

За эти годы он поднял епархию, пребывавшую в разоре и запустении, открыл Духовную семинарию, успешно отражал притязания униатов, победил сектантов, взял под опеку сиротский дом и тюрьму для преступников-малолеток и, несмотря на свой величественный вид, сохранил в глазах ту юную чистоту и простоту, которые так трогали сердце еще во времена его иеродиаконства. Несмотря на Духовную академию, которую он прекрасно закончил, натренировавшись на нас, все же он был человек, как бы это выразиться, не книжный. Не начетчик. И уж конечно не фарисей. Казалось, был в нем такой прочный «каналчик», по которому он связывался с Богом. Во всяком случае, бывало так, что когда его спрашивали о чем-то важном, он отвечал не сразу, а как бы весь погружался в себя, словно приникая к этому «каналчику» и слушая, что там ему будет подсказано.

Но не только мы с мужем некогда прозревали в молодом иеродиаконе будущего владыку, но и он, ведомый таинственными путями Божиими, провидел в моем только что покрестившемся муже будущего священника – оттого, наверное, и торопился по темным московским улицам в наше убогое жилище, раскладывал перед нами свои коленкоровые тетради с конспектами и терпеливо отвечал на наши порой и вовсе идиотские, завиральные, невежественные вопрошания. Порой, если он затруднялся с ответом и даже по его «канальчику» ему ничего не приходило, он записывал наш вопрос и задавал его старцу Кириллу, с которым виделся каждую неделю, а потом, перелистывая тетрадку, передавал нам слово в слово то, что сказал старец. Так у него возникла идея – набрать, да побольше, таких недоуменных вопросов, записать ответы старца, а потом издать отдельной книжечкой во славу Божью.

И стали мы со всех четырех ветров собирать всякие вопросы – и глобальные, и фундаментальные, и самые вроде бы мелкие, но имеющие отношение к жизни души, ибо для нее все важно, все наделено смыслом, все определяет ее выбор, а наш друг исправно привозил нам от старца мудрые ответы. Было там даже и такое: «Надо ли давать чаевые?» Старец сказал: «Если жалко, то дай. А если ты хочешь похвастаться, какой ты широкий человек, не давай ничего».

Книжка была вскоре собрана, перепечатана в четырех экземплярах, и наш друг-иеродиакон отправился к старцу за благословением на ее издание. Вернулся вскоре опечаленный и сдержанно-напряженный.

– Ну что, когда книжка выйдет? – спросила я.

– Никогда. Старец не благословил ее издавать, – тихо и неохотно ответил нам он. – Сказал – напрасно ты все это записывал. Возьми да сожги. Я и сжег.

– Как – сожгли? Какой ужас! Что – правда, вы не шутите? – ахнула я.

– Конечно! А как же еще? – Он пожал плечами. – Без вариантов.

...Через несколько лет, когда он уже стал епископом, а времена поменялись, и книги с духовными наставлениями священников и ответами на недоуменные вопросы прихожан стали выходить во множестве, я сказала нашему уже митрофорному другу:

– Как же все-таки жаль, что ответы старца так тогда и остались втуне, мне бы так хотелось сейчас их перечитать. Неужели же вы действительно сокровище это сожгли, не утаили в сокровенном ларце хоть один экземпляр?

– Сжег, – с сокрушением признался он. – А теперь я думаю, что не всегда надо так скоропалительно исполнять иные благословения... Порой надо с этим потянуть, помедлить, попридержать... Не бежать во всю прыть. Как часто повторяет сам же старец: «Спешить надо медленно».

### 3

Когда мы с моим мужем только-только начали ходить в церковь и у нас так часто гостил этот чудесный человек, настоящий лаврский монах, с такой крепкой закваской веры, с такой правильно поставленной жизнью души – так пение зависит от того, как поставлен голос, а музыка – от того, как у пианиста проставлена рука – итак, когда он наставлял нас буквально «о всякой вещи под солнцем Православия» и всякому явлению, бесформенному под покровом тьмы, давал имена, а на дворе стояла трескучая советская власть, мы полагали, что это так и должно быть, это так принято, положено, заведено: стоит только человеку обратиться к Церкви, так Господь тут же высылает к нему духовного наставника. Начал неофит ходить в храм, и старец благословляет какого-нибудь брата, уже умудренного и искушенного в делах веры, чтобы тот наставлял новичка и, взяв его руку, вел через стремнины жизни. Посылает монаха на послушание – ты пойдешь в эту семью с твоими семинарскими тетрадками да академическими конспектами, прочитай там курсы лекций, расскажи все, что знаешь, о вере, о Церкви, о Православии. Мне ведь и в голову не приходило, что так монахов не напасешься, если всех их в семье неофитов посылать...

Но тогда я по невежеству своему считала, что это явление нормальное. И как бы и нет в этом ничего необычного, ведь «Господь просвещает всякого человека, грядущего в мир», сразу дает новокрещенному ангела-хранителя, а тем, кто повенчался, – еще одного ангела – на семью. И, помимо того, что Отец Небесный равно «дождит на праведного и неправедного», Он еще сугубо печется о каждой душе христианской, посылая ей в нужный час насущное на потребу. Так что мы не находили ничего избыточного в этой милости Божьей, сразу приставившей к нам смиренного, чистого и крепкого в вере монаха, который, проживая с нами какую-то часть жизни, давал ей тут же некое духовное толкование и тем самым вручал нам ключ, который подходил практически ко всем запертым дверям.

И лишь потом я поняла и оценила этот исключительный, величайший дар, ибо многие на моих глазах обращались к Церкви, многие с трудами и муками вступали на этот узкий путь и не находили на нем наставника и попечителя: блуждали и оступались, стучались у запертых дверей, которые часто оказывались фальшивыми, бутафорскими... Так вот – нашего особенного, нашего премудрого иеродиакона мы получили от Господа, быть может, исключительно ввиду будущего священства моего мужа, которому было с самого начала так много дано именно потому, что впоследствии с него предполагалось и многое спросить.

Наш друг, кстати, провидел этот его путь и горел желанием, чтобы мой муж когда-нибудь стал иереем Божиим. Оттого он так часто, уже когда перебрался в монастырь, звал его погостить в Лавре, помолиться за литургией, приложиться к мощам преподобного Сергия, познакомиться с монахами и священниками.

– У нас в академии, – как-то раз сказал он, по обыкновению, сдержанно и осторожно, – нет преподавателя русского языка и стилистики. Не хотел бы ты, Володенька, пойти к нам преподавателем? Попреподаешь какое-то время, к тебе присмотрятся, увидят, как и что, узнают, что никаких канонических препятствий нет, да и предложат рукополагаться. У нас ведь в академии не очень любят «пиджачников». А у тебя появится возможность воистину послужить Господу. Ну, как, ты согласен?

Тут, при всей деликатности, не любящей оказывать никакого давления, в голосе его послышались нотки настойчивости и твердости.

– Но я не готов! – ответил мой муж.

– Разве ты сам можешь об этом знать? Господь призывает человека, создает ему соответствующие обстоятельства, окружает определенными людьми, а он говорит: я не готов... А потом жизнь его меняется, идет под уклон, дает крутой поворот – только держись! И он вопиет к Богу: ну все, я готов, готов! А Бог его уже не зовет... Дверца захлопнулась. Есть такие предложения, которые делаются лишь однажды. Вот как бывает... Так что пойди для начала на собеседование к ректору академии – а может, он тебя и не возьмет. Или так – преподавать тебя пригласит, а священство не предложит.

Муж мой так и сделал – приехал в Лавру и пошел на прием. Но владыка-ректор, порасспросив о его образовании, семье, степени церковности, сразу заявил:

– Как преподаватель вы нам подходите. Но вот беда: «пиджачников» мы не жалуем. Как вы смотрите на перспективу принятия сана? Тогда бы мы точно взяли вас на работу...

Призадумался мой муж и, не в силах решиться самому на этот шаг, отправился за советом к старцу Григорию.

Дело в том, что за несколько лет до этого мой муж уже был у него в селе Покровское, поскольку там, расписывая храм, трудился наш духовник отец Ерм, а мы как раз должны были его оттуда забрать и увезти в далекий монашеский скит. И мой муж приехалто, собственно, за нашим духовником, а о старце Григории вовсе не помышлял. Но храм оказался запертым, а вокруг – ни души. Он толкнулся в церковный домик. Дверь распахнулась, и он оказался в трапезной. Видимо, трапеза только что отошла, все разошлись, а на столе еще оставалась посуда с остатками обеда. Тогда мой муж постучал в следующую дверь и, не получив ответа, отворил ее. Но и за ней было пусто. Он пересек комнату и принялся стучать в очередную дверь, но тут позади себя услышал старческий голос:

– Что же ты, отец Владимир, без молитвы заходишь?

Он оглянулся и увидел старчика, маленького и сухонького, который лежал на диване, и его тело не создавало почти никакого рельефа. Это и был архимандрит Григорий – настоятель здешнего храма и хозяин домика.

Больше всего моего мужа поразило то, что старец знал его имя. Что же касается слова «отец», поставленного старцем перед этим именем, то мой муж решил, что батюшка скорее всего просто поюродствовал, пошутил: ну какой он, право, «отец». Покрестился-то всего год назад!

И вот теперь он вспомнил это «отец Владимир» и решил поехать к старцу за благословением.

– Сам священства не ищи, но если предложат, не отказывайся, – сказал, выслушав его, отец Григорий.

– Но мне уже предложили, – возразил мой муж, решив, что старец в его рассказе что-то недопонял.

– Сам священства не ищи, – повторил старец, – но если предложат, не отказывайся.

Приехал оттуда мой муж торжественный, как бы даже и таинственный. И тут же отправился в Лавру. Рассказал владыке ректору о благословении старца Григория, о своем намерении поступать согласно воле Божьей. Владыка рад-радешенек, потому что времени до начала учебного года оставалось в обрез, а до приезда моего мужа никакого другого варианта для преподавания русского языка и стилистики у него не было. Тут же он и сообщил некоторые детали – какие приносить документы, где сшить подрясник, куда и к которому часу явиться на молебен перед началом учебного года, ну и так далее.

– Да, кстати, вы уже уволились с предыдущей работы? – спросил он. – Как это – нет? Срочно увольняйтесь!

– Слава Богу! – радовался наш друг иеродиакон. Собрал у себя в гостиничной келье своих братьев-монахов, послужили благодарственный молебен, устроили праздничную трапезу, все моего мужа поздравляют, вроде он уже совсем свой, лаврский, засиделись допоздна, там он и заночевал, чтобы на следующий день забрать документы из института искусствознания, где он работал, распроститься с мирской жизнью и начать новую жизнь под покровом преподобного Сергия...

Меж тем стоило ему вернуться домой, как позвонила его мать, у которой он был прописан:

– Володя, тут к тебе явился какой-то незнакомец.

Говорит, что корреспондент. Говорит, интервью хочет у тебя взять.

– Кагэбэшник, что ли?

– Похоже. Не знаю. Скорее всего. Я не разобралась, дала ему твой адрес. Он едет к тебе. Ничего, а?

– Я его встречу у подъезда, не домой же его пускать...

Взял нашу младшую новорожденную дочь, положил в коляску и устроился на скамеечке у подъезда.

Через полчаса он увидел человека, специфической наружности, не просто сигнализирующей, но кричащей о том, что ее обладатель – из органов. Он нес тяжелый портфель, и основным ее содержимым, как верно предположил мой муж, был магнитофон. Человек этот скользнул беглым взглядом по молодому папаше с ребенком, но – не зацепился, а прошел мимо, вглядываясь в табличку над подъездом, и, наконец, приготовился было толкнуть дверь, как мой муж подал голос со своей скамеечки:

– Вы ко мне?

Тот замер как вкопанный, видимо, соображая, что ему делать в этой непредвиденной и не удобной для него ситуации: магнитофон включить – не успел, как раз в подъезде и собирался, в квартиру – не попал... Явный прокол. Он так постоял, помедлил, пока затылок его не налился свинцом от напряжения мысли, и вдруг резко повернулся на каблуках с уже готовым для разговора лицом:

– Если вы – Владимир, то я к вам.

– Садитесь, – широким жестом пригласил его мой муж к себе на скамейку, принимаясь укачивать и без того спящую дочку.

Прошел секретарь Союза писателей Феликс Кузнецов, выгуливавший собачку. Собачка остановилась и подняла ножку на край скамейки.

Подошел детский писатель и путешественник Геннадий Снегирев, человек особенный, наш друг и

сосед:

– Володька, у тебя выпить не найдется? А то так сердце защемило...

Кагэбэшник нехотя уселся на скамейку, прислушиваясь к разговорам и водружая между собой и моим мужем свой портфель, который он неловко приоткрыл, просунул туда руку и начал проделывать внутри какие-то манипуляции.

– Магнитофон? – понимающе кивнул мой муж. Тот с досадой выдернул руку и захлопнул портфель, видимо, потерпев с магнитофоном фиаско.

А Гена как раз в это время был увлечен тибетской медициной и торговал какими-то чудодейственными каплями от ночного недержания, которые ему якобы прислал некий Балдаржи Бадараев, второй перерожденец Будды Акишвара, и ежиными иголками, которые, если их растворить в кипящем подсолнечном масле, помогают от воспаления среднего уха, сразу снимая боль. Между прочим, это действительно так – мы опробовали на своих детях. Тимуру Кибирову давали для его дочки. Все жители нашего дома были уже оповещены о Гениных лекарских возможностях, а кое-кто и охвачен его попечением. Поэтому, увидев около моего мужа нового человека, Гена тут же нацелился на него:

– У вас ухо не болит? – спросил он без обиняков.

– Не-ет, – неуверенно ответил кагэбэшник, нервничая и выискивая в его словах тайный смысл.

– А ночным недержанием не страдаете? – благожелательно поинтересовался Гена.

– Нет, – заерзал тот.

– А-а! Не хотите признаваться? А то я принесу. Десятка всего. Все натуральное. На спирту.

В глазах у кагэбэшника показалась тревога – он заподозрил, что все это неспроста, что это, может быть, даже провокация, и, ожидая худшего, напрягся и покраснел.

– Ну, так это у меня дома. Я сейчас.

И Гена заторопился к своему подъезду.

– Так вам что, вы по какому делу? – спросил мой муж.

– Вы, я слышал, на работу в академию устраиваетесь? Духовную?

– Ни для кого уже не секрет.

– А вы знаете, что это очень ответственный идеологический участок фронта?

– А мне что до этих фронтов? Я ведь, представьте, даже и комсомольцем-то никогда не был. Меня и из пионеров в свое время выгнали.

– Нет, вы меня неправильно поняли, в академии учатся люди, которые потом будут отправлены на работу за границу. Это уже не идеология, это государственные интересы. И нам было бы очень полезно, если бы вы, человек взрослый, опытный, у вас вон у самого уже дети, – тут он скопил глаза на коляску, – пообщавшись с ними, стали бы нам давать консультации. Мы вообще-то не платим, у нас добровольно работают, но вам могли бы и заплатить...

– Вот как? Даже и заплатить? Консультации? Ну что ж...

Тот радостно приосанился, даже огонечек хищный загорелся у него в глазах: так-так, вот и поймал рыбку!

– Только никак не могу взять в толк, зачем КГБ понадобились консультации по русскому языку и стилистике... Вы что, боретесь за культуру речи?..

– Какому языку? Какой стилистике? Какая культура речи? – заволновался кагэбэшник, аж заходил ходуном, как рыбак, у которого с удочки срывается какой-нибудь там лещ или крупный окунь. – Вы не поняли. Консультации, в смысле характеристики. На студентов. Какой у кого характер, какие слабости, настроения, разговоры.

Мой муж тяжело вздохнул и поднялся со скамейки:

– Стучать, что ли? На студентов? Так бы и говорили – а то «консультации, характеристики»... Вы меня что – в стукачи вербуете?

– Ну, зачем так сразу – «стукачи», «вербуете»... Просто – приглашаю к сотрудничеству. Прошу о содействии. О помощи государственным интересам. Ну, хорошо, хорошо, пусть будет – вербую, для ясности. Вы как?

– Никак. Нет, я отказываюсь, – твердо сказал мой муж. – И вообще – что это у вас за неразбериха там, в ваших органах. Полный бардак. Почему вы справки не навели, не узнали, что меня уже пытались вербовать, еще когда я учился в институте, а потом мстили за мой отказ... Зачем же вы приходите снова за тем, в чем вам было уже отказано? И что – опять мстить будете?

– Да, – он вдруг побледнел, – неувязочка вышла, недоработочка. Ну, – тут он забарабанил пальцами по чемоданчику, глазки его забегали, – знаете, это даже хорошо. Как там у вас в Евангелии говорится: «да-да», «нет-нет». А то некоторые ни то ни се – соглашаются, а потом из них словечка каленым железом не вытащишь!

Мой муж с ужасом представил, как такой ушлый гэбист насадет на какого-нибудь щупленького семнадцатилетнего семинариста, шантажируя, угрожая лишить лаврской прописки и выгнать из семинарии, и в результате заручается его лукавым согласием «сигнализировать», если что... А потом вырвется такой семинарист из жилистых лап, побежит к духовнику, обольется слезами покаяния за согласие на «Иудин грех», а уж потом молит день и ночь преподобного Сергия, прячется от своего «ловца», ускользает, как мокрое мыло из рук, а тот ловит, расставляет сети, налаживает капканы: вон – и расписочка о сотрудничестве у него имеется с собственноручной подписью, и в какой-то момент – цап-царап! – птичку, рыбку; коготок попал – птичке конец: где, спрашивает, донесения? Где сигнализирование?

«Пустите меня! Пустите!» – бьется в его руках отчаянно семинарист, хрипит, трепещет.

Но все туже сжимаются пальцы на его горле.

«Не скажу я вам ничего! Не скажу!» – захлебывается жертва, агонизирует, ни жива ни мертва...

– Только знаете что? – вдруг сказал моему мужу кагэбэшник как ни в чем не бывало, – давайте договоримся, пусть этот разговор останется сугубо между нами, чтобы никому ни-ни, ни словца... Военная тайна. Я вам сейчас подписку о неразглашении выдам, а вы подпишете, лады? И мы разбежимся.

– Не выйдет, не лады, – улыбнулся мой муж.

– Это почему? – удивился кагэбэшник.

– Ну как почему? Потому что у меня есть близкие люди – жена, мама, друзья. Вот с ними у меня есть тайны. А мы ведь не успели так подружиться, чтобы я нечто связанное с вами стал скрывать от моих близких людей. Вы ведь мне совсем чужой человек. Так что я, вы уж извините, обязательно расскажу о нашей встрече...

Тут, наконец, появился Снегирев со своими пузырьками:

– Это я вам не фуффло какое-нибудь впариваю, это второй перерожденец Будды мне прислал. Все натуральное. Вот – капли от импотенции, настоянные на шпанской мушке. Пятнадцать рублей.

Глянул на растерянное, посеревшее лицо кагэбэшника, на весь его какой-то занюханный вид:

– А-а, что там, бери за так. Я всегда говорю: лучше давать, чем брать.

И всучил ему мутный темненький пузырек.

#### 4

Ну вот, после этого разговора моему мужу в академии отказали. Владыка-ректор, пряча глаза, сказал:

– А мы уже другого преподавателя взяли... Так что были рады знакомству, но...

Потом уже выяснилось, что целых полгода студенты обходились без русского языка и стилистики из-за отсутствия преподавателя... К концу учебного года, правда, все-таки кого-то нашли.

А мой муж так и остался в своем институте искусствознания – тихом интеллигентском оазисе посреди советской власти, пока не наступили новые времена.

А наш друг иеродиакон, столь горячо ратовавший за вступление моего мужа на путь духовного служения, был и смущен, и огорчен, однако идеи своей увидеть его в священническом облачении так и не оставил. И при первой же возможности, которая открылась через несколько лет, приехал к нам, внутренне собранный и серьезный:

– Есть вакансия диакона в новооткрывшемся храме в Муроме. Решайся, Володенька.

Но ситуация наша уже поменялась: в Москве, во французской спецшколе учились наши дети, занимались с домашними учителями, готовясь к институту, мой муж только-только поступил на работу в отдел литературы нового «Огонька», где с большим воодушевлением публиковал произведения, запрещавшиеся ранее советской цензурой, и – честно говоря – переезжать в Муром и разрушать эту едва-едва начавшую налаживаться жизнь казалось непосильным. Мой муж не то чтобы отказался, но... не откликнулся.

Теперь я думаю, что это была какая-то роковая наша ошибка. Потому что потом уже, лет через десять, мы узнали, что последним диаконом, который служил в этом храме, пока его не закрыли власти, был диакон с той же фамилией, что и у моего мужа, теперь уже – новомученик российский. А возможно – это вообще был не однофамилец, а его родственник. И вот, когда храм этот открывали вновь, Господь, ведающий все, символически призвал этого потомка на то же диаконское служение и на то же место, с которого повели на смерть его славного предка... У Господа нашего, названного в чине Крещения Изряднохудожником, в изобилии такие сюжеты, виртуозно закрученные, такие художественные детали – жаль только, мы, слепорожденные, слепые и слабовидящие, почти и не различаем их.

А тут и друг наш стал стремительно взлетать по иерархической лестнице, был хиротонисан во епископа и уехал в свою далекую епархию, зажил там ее жизнью, ему стало не до нас... У него были свои проблемы, в том числе с властями той области, с которой территориально совпадала вверенная ему епархия. Потому что хотя времена вроде бы и поменялись, но провинциальные администрации кое-где остались прежними – атеистически-большевистскими, и они не хотели так просто выпускать из рук власть, менять тон, лексику, повадки, замашки... И наш владыка столкнулся именно с такими задубевшими чиновниками – они напрочь отказывались регистрировать его как епархиального архиерея, называли его мирским именем – Сергей Петрович, указ патриарха игнорировали, новые законы саботировали. И владыка возопил гласом велиим.

– Володенька, – позвонил он моему мужу, – ты ведь в прессе работаешь? Приезжай, а? Завтра у меня встреча с областной и городской администрацией. Может, если ты со своим удостоверением попри существуешь, они если не Бога, то хоть гласности убоются?

И мой муж помчался на подмогу. Встретил его на вокзале какой-то незнакомец, шепнул нечто вроде пароля – «от владыки», приложил палец к губам, призывая к молчанию, сделал еле заметный знак следовать за ним. Они пришли в гостиничный номер, где их уже ждал законспирированный владыка, который поспешно растолковал, что тут к чему.

После этого владыка и мой муж – разными дорогами – отправились то ли в обком, то в горком, где, встретившись, сделали вид, будто они вовсе не знакомы. Мой муж показал свое «огоньковское» удостоверение местной секретарше с тем, чтобы она доложила начальству о его присутствии на встрече с духовенством. Секретарша взяла удостоверение и удалилась в начальственный кабинет. И дальше стало происходить что-то непонятное. Оттуда тут же выкатился на подгибающихся ногах какой-то большой начальник и, трепеща от почтения, пригибаясь и льстиво заглядывая в глаза моему мужу, вернул ему удостоверение, принялся трясти руку, приговаривая: «такая честь... вы почтили... ускорение... перестройка». После чего, взяв его под локоток, препроводил в зал заседаний, где уже собрались такие же квадратные начальственные дядьки, и усадил во главе стола. Причем своих чиновников расположил в рядок одесную от него, а владыку с его жиденкой «архиерейской сволочью» – ошуюю.

Муж мой испытал известную неловкость, ибо та заискивающая почтительность, с какой его здесь

принимали отцы города и враги православной веры, казалась ему немотивированной. Вскоре, однако ж, все разъяснилось.

– Вот тут товарищ приехал из Москвы, из ЦК. Говорит, что ему сигнализируют, что мы якобы не можем найти общий язык с религией, так сказать. Мы должны успокоить товарища из ЦК, что все у нас с религией в нашем регионе на высоте, в своем формате.

«Что еще за товарищ из ЦК, – подумал мой муж, на всякий случай обшарив глазами зал заседаний, – что за бред?» И тут его взор упал на «огоньковское» удостоверение, которое он машинально продолжал крутить в руках. На его ярко красной «корочке» было выдавлено золотыми буквами «Издательство», затем – огромными и еще более золотыми – «ЦК КПСС», а ниже – куда более скромненько – «Огонек». Дело в том, что помещение журнала располагалось в издательстве «Правда», а оно действительно принадлежало ЦК КПСС.

Чиновник же, и без того испуганный непонятными новыми веяниями, при виде пунцовой книжечки и внезапно, безо всякого предупреждения, нагрянувшего «товарища из Москвы», от страха только и успел ухватить это «ЦК», а дальше и читать не стал. «Цека, Цека. Цека» – запульсировало у него в голове.

Муж мой, хотя и почувствовал себя Хлестаковым, решил поймать момент и своим хорошо поставленным голосом объявил, что в стране у нас – и перестройка, и ускорение, и гласность. И чтобы «не откладывать в долгий ящик» и «не спускать на тормозах», пусть тут же, при нем, новый архиерей получит от местных властей и регистрацию, и печать, и вообще все свои законные полномочия.

– Дорогу осилит идущий, – добавил мой муж, жестами приглашая чиновников не мешкая приняться за дело. Таким образом, все было решено за десять минут, однако местные чиновники, не привыкшие к столь стремительному развитию событий, еще целых два часа продолжали что-то докладывать «товарищу из ЦК», чтобы «он передал там, у себя, в Москве» – мол, есть такие «товарищи на местах», такие Бобчинские и Добчинские, которые... Но самым утомительным и тошнотворным было то, что к ним приклеилась эта фраза про дорогу и идущего... Они, видно, решили, что это такой новый чиновничье-демо-кратический лексический фасон. Каждый из них, вылезая с речью, начинал ее так: «Как тут верно подметил товарищ из ЦК...», «Как совершенно справедливо высказался товарищ из Москвы», «Как уже здесь было правильно подмечено высоким гостем...», «Как метко уловил наш первый выступающий...» и дальше торжественно прибавлял, как заповедь нового времени: «...дорогу осилит идущий».

– Ну, спасибо тебе, друг, – смеясь до слез, благодарил моего мужа владыка, все еще конспиративно пробравшись к нему в купе, – выручил! Так сказать, осилит дорогу!

## 5

Но и владыка ее во всех отношениях осилит – не только потому, что при нем его епархия поднялась и расцвела, но и потому, что он свой замысел о моем муже довел-таки до конца.

Приехал он как-то к нам после долгого перерыва, в начале девяностых – уже такой солидный, хоть что на него надень, хоть пиджак, хоть свитер, а все видно, что архиерей. И вот он говорит:

– Володенька, решайся. Или сейчас, или уже никогда. Хочешь ты быть иереем Божиим или нет? Считай, что я тебе это предлагаю.

Мой муж, тут же вспомнив слова старца Григория «если предложат, не отказывайся», и говорит:

– Хочу.

– Тогда поедем. Тут наша епархия получила разрешение открыть в Москве свое подворье. Вот мы его сейчас и будем искать среди еще не открытых храмов. А ты будешь в этом подворье священником. Я тебе и рекомендацию напишу, и патриарха буду о тебе просить.

И мы поехали искать подходящий храм для подворья. Но все владыку как-то не вполне устраивало – то церковка крошечная, то домик для причта мизерный, то дворик церковный мал. Так что отложили пока

поиски до следующего владыкиного приезда, а он все моего мужа торопит:

– Собирай документы для рукоположения, пиши прошение, вот тебе моя рекомендация, а вот – рекомендация владыки З., он тебя еще по Лавре знает. «Аксиос» – так и сказал, как о тебе от меня услышал.

Уехал владыка наш к себе, но звонит едва ли не каждый день, спрашивает, как движется дело. И вот уже месяца через полтора моего мужа на епархиальный совет вызывают, посылают к епархиальному духовнику, вот-вот рукоположат во диакона.

– Владыка, – позвонил ему мой муж, – а храм-то для вашего подворья мы так и не нашли! Где же благословите меня служить?

– С храмом для подворья нашего еще успеется. А ты служи там, где тебя Господь поставит, – вот так владыка сказал.

И поставил Господь моего мужа служить диаконом в знаменитом мужском монастыре, а через полгода, когда его рукоположили во иерея, – в приходском храме. А вот того самого Московского подворья владыкиной славной епархии, из-за которого тогда все это так стремительно и началось, и пошло, и завертелось, и свершилось, до сих пор нет.

Словно корабль донес моего мужа до твердого берега, а сам уплыл, растворившись вдали.

## 6

Итак, владыка подарил мне собаку. Он заехал к нам в Переделкино неожиданно по дороге из Москвы в свою епархию в сопровождении целой свиты иереев, просидел весь вечер и уже уходя обронил:

– Надо бы вам здесь собачку. Я тебе ее пришлю.

– Собаку? – растерялась я. После смерти нашего водолаза Тартюфа и гибели нескольких великолепных, выкормленных мною до двухлетнего возраста котов на шоссе возле нашего дома я едва ли не зареклась заводить животных. – А какую?

– Овчарку. Кавказскую овчарку. Наполовину. А наполовину – немецкую. Будет у тебя на улице жить, дом сторожить.

Я вспомнила, как когда-то, гостя у него в епархии, видела там во дворе епархиального управления великолепных кавказских овчарок. Он, заметив мое восхищение, позвал своего келейника, и тот вынес откуда-то чудесного огромного щенка на толстых, расплзавшихся в разные стороны лапах и поставил передо мной.

– Сколько ему? – спросила я, с удовольствием беря его на руки и ощущая тяжеленький теплый груз.

– Месяц. А какой большой! Не хочешь такого?

– У меня же Тартюф, – объяснила я.

И вот теперь речь, стало быть, шла о таком вот щенке. Смешном огромном увальне. С шерстью, под которой и детенышу не страшен наш переделкинский мороз. А то, что в нем что-то от немецкой овчарки будет, так это, быть может, даже еще и лучше! Немецкие овчарки такие умные, благородные! Никакой бессмысленной злости. Будет детей радовать, дом сторожить.

– Хорошо, – кивнула я. – Как благословите! – добавила, вспомнив, что все-таки говорю с владыкой.

С тем и расстались.

Звонит мне владыка через несколько дней:

– Ты будешь завтра с утра дома? Тебе мои священники щенка привезут.

Действительно, на следующее утро вкатывается ко мне во двор машина, из нее вылезают священники и несут мне коробку, а в коробке – маленький такой золотисто-серебряный щенок. Величиной с котенка. Весь помещается у меня на двух ладонях. Дрожит, бедный, хвостик аж трепещет. Я его прижала к себе, он так и льнет к груди, повизгивает. Лаять даже еще не умеет.

– Сколько же ему? Я думала: неделя.

– Месяц, – отвечают священники.

Я как-то даже смутилась – таким же крошечным был мой ньюфаундленд Тартюф, когда мы его, недельного, взяли от мамки. А тут – месяц и такой крошечный песик! А в месяц Тартюф был уже ого-го какой! Килограммов на семь тянул. Да и месячная кавказская овчарочка, которую нам владыка во дворе показывал, тоже была раза в четыре больше. Я перевернула собачку на спинку и погладила ее нежное розовое пузико.

– А какого она пола? – вдруг спросила я, смутно заподозрив нечто. – Мальчик или девочка?

Священники замешкались.

– Мы в этом не разбираемся, – они стыдливо потупили глаза. – Ничего не смыслим в этом вопросе.

Честно говоря, я тоже не очень-то поняла. Вызвонила свою старшую дочку, чтобы она привезла мне на подмогу моих внучек – Соню и Лизу – приручать собачку. Они тут же и прикатили. Обцеловали ее, обкормили, обгладили. Пока разглядывали ее со всех сторон, обнаружили, что вся она в блохах, в блошиных спорах, искусана, бедная, покрыта красной коростой, расчески кровоточат. Мы съездили на рынок, купили антиблошиный шампунь, специальный ошейник, вымыли, вытерли, вычесали, убаюкали на руках, переложили спать на коврик. Но как только разошлись по комнатам, чтобы и самим предаться сну, она стала плакать, и Соня взяла ее на ручки, пристроила у себя на груди и так провела всю ночь, боясь шевельнуться и потревожить чуткий собачкин сон.

На следующий день вернулся из командировки мой муж, собачку приласкал, одобрил, над Соней подшутил, определил метким глазком, что собачка мальчик, песик, стало быть, стали мы ему придумывать имя, выбрали – Синдбад. Опять вымыли, вычесали, погуляли, покормили, поиграли. Потом вторая, младшая моя дочь, выпрашивая подробности о собачке, научила меня, как отличить мальчика от девочки. По ее указаниям получалось, что песик наш, как ни печально, никакой даже не мальчик, а девочка. И, стало быть, придется мне, когда у нее начнется «обычное, женское», гонять от порога кобелей, как некогда я гоняла блудливых котов, норовивших забраться со всех сторон в наши окна, добываясь расположения маминной кошечки. А ведь по всему Переделкину и вокруг нашей дачи столько этих неуправляемых псов бегают... Ну и потом – следы же она будет оставлять, девочка-то... А у меня – диван еще вполне приличный, несмотря на то, что дети забираются на него с ногами, скачут, лазают, кресло – тоже вполне нормальное. Да и вообще – раз девочка, то и будет она не такая уж большая. Девочки же меньше. А у меня всегда были собаки – огромные, мальчики. У моих родителей был Амиго – собака моего раннего детства – наполовину ньюфаундленд, наполовину ротвеллер, страшная собака, черная, огромная, глаза как две горящие площадки, прямо из сказки «Огниво». Потом – это я уже пошла в школу – Додон, сенбернар-красавец. Он снимался в «Женитьбе Бальзаминова». Это когда Вицин (Бальзаминов) проникает под видом сапожника к двум сестрам с письмом от Ролана Быкова (гусара), а проснувшиеся вдруг братья этих сестер кидаются за ним в погоню, а он лезет, спасаясь от них, через забор, попадая в курятник, – вот тут-то наш Додончик и выскакивает на него с диким лаем, и преследует, и хватает за штаны... Потом была Гелла – мощный и свирепый ротвеллер, вот она была девушка, но к ней-то как раз ни один кобель-соблазнитель не посмел бы пристроиться: мы ее отдали в двухлетнем возрасте в собачий питомник, потому что, как ее ни ласкай она оставалась коварной и беспощадной – так могла кого-нибудь из гостей цапнуть, что аж брызги крови: вот что значит наследственность, эту породу специально для концлагерей выводили. В питомнике же она прижилась, ее выставляли за ее потрясающий экстерьер, она объездила всю Европу и получила множество медалей.

Потом был Гураль – подгальская овчарка, или куvas. Это огромная лохматая собака с абсолютно белой, снежно-белой шерстью, обладающей каким-то удивительным свойством: какая бы черная грязь на нее на улице ни налипла, через полчаса она вновь становилась чистой и безупречно белой. Таких собак в наших краях нет, потому что они на равнинах не выживают. Они обитают в Татрах и там благополучно пасут овец с весны по осень. На зиму же, когда овец загоняют в овчарни, такую собаку выпускают на вольную жизнь, она живет под открытым небом и сама добывает себе пропитание – зайца запросто может

загнать... Наш Гуралик, которого мы, конечно, за зайцем не выпускали и он в основном мирно дремал в кресле в прихожей, благополучно прожил у нас двадцать лет и умер «насыщенный днями». Потом у моих родителей были два добермана, а после них – московская сторожевая, а у нас с мужем – ньюфаундленд Тартюф. Все это были богатыри, силачи, и мой брат, запрягая их в санки, понуждал их катать детей. Впрочем, они и не противились.

## 7

Вечером зашел на огонек наш сосед – поэт и Достоевсковед Игорь Волгин: – О, да у тебя собачка!

– Слушай, а ты не мог бы определить, мальчик это или девочка? – спросила я.

– Не вопрос, – с видом знатока откликнулся он и подмигнул, – уж я-то в таких делах разбираюсь! Ну-ка!

Он перевернул собачку на спинку.

– Мальчик! – едва лишь глянув, заверил он.

– Я ж тебе говорил! – подтвердил мой муж.

Только он ушел – появился мой крестник, сын писателя Битова – Ваня. Он – биолог, сам разводит собак, знаток, у него всегда подрастает несколько лаек.

– Девочка, – процедил он. – Очень небольшая. Маленькая даже. Так – до колена вырастет, и всё. А может, и того меньше.

Ну и ладно. Маленькая да удаленькая. Зато вон какая хорошенькая. Только, конечно, теперь это никакой не Синдбад. Я посмотрела в ее глазки, стараясь в них прочесть имя. «Тутти, Тутти», – замигала она.

– А назовем-ка ее Тутти! – предложила я. – Даже если снова окажется, что она – мальчик, то это такое имя – универсальное.

– Тутти! – позвала я ее. Она завиляла хвостом.

– Тутти! – повторил мой муж. Она встала на задние лапы и лизнула ему руку.

– Тутти! – Я взяла ее за передние лапки, и мы с ней парочкой закружились по комнате в танце.

## 8

Собачка хоть и маленькая, а росла каждый день. Шерстка ее – мытая-перемытая, вычесанная, заблагоухала, засияла, заискрилась, но – тоненькая, как бы даже и не овчаркина эта шкурка. На улице холодно ей, не любит она гулять. Как вынесу ее на снег, она сразу дрожать и бежать домой. Да и пугливая. Ворона каркнет – она тут же уши прижмет и несется домой, дерево зашелестит ветвями – задрожит в ужасе, машина вдалеке протарахтит, она уже ни жива ни мертва. Таковую – как на улице держать? А дело уже – к декабрю... Апустишь ее домой, помоешь лапки, она сядет посреди комнаты, навалит кучу, нальет лужу, а потом еще одну, и еще, и еще... Вытру я за ней тряпкой на швабре, так она швабру грызет, рычит, рвет зубами. Я от нее с этой мокрой, капающей шваброй бегу, она за мной гонится. Только я за ней убегу, опять – хватить ее на руки, иду с ней гулять. Она постоит, постоит минутку, поприслушивается, погрызет веточку и стремглав домой. Я опять ей лапки помою, уйду в свою комнату работать, и вдруг слышу – бух-бах-тарабах. Это она видик за шнур потянула, об пол грохнула. Кассеты по полу. А рядом куча, лужа. Вонючка! А она увидит меня, ляжет на спинку, живот розовый вверх – сдастся.

Я ей пузико это нежненькое поглажу, убегу кучу, лужу вытру, побегаю от нее со шваброй, на которую она бросается с прорезавшимся уже лаем, побрызгаю вокруг освежителем воздуха – препротивным, между прочим, окна открою в глухой ноябрь – а тут у меня растения диковинные, пальмы, юкки, цветы изнеженные в огромных горшках – вся эта роскошь на сквозняке вянет, чахнет, лист отпадает за листом,

чернеет на концах. Уйду, наконец, к письменному столу, а Тутти скулит, скучает, жалуется, рыдает, сидит у двери. Я к ней вернусь, поглажу животик, погуляю, лапки вымою, она опять лужу напустит. А стоит мне уйти из дома – ведь не меньше, чем часов на шесть я уйду, в лучшем случае: два часа от Переделкина до Москвы сквозь пробки, два часа назад, два часа – семинар в Литинституте, или дело какое в редакции, или литургия в храме, так дома за это время такой разор она учиняет – пальму огромную перевернула, блюдо под ней расколосось на мелкие осколки, земля по всему полу, плитус отгрызла, за ножку кресла принялась... А то несколько раз пришлось мне ночевать в Москве – так Тутти воев всю ночь, батареи грызет, и все вокруг – одна ее сплошная уборная. Не продохнуть. Отдираешь это все, уже присохшее, она на швабру кидается, рычит, играет.

Ну и прошли вот так два месяца, и я дала слабину. Малодушие на меня нашло, сковало сердце своим ледком. Это когда Тутти на диван научилась залезать, а с дивана – на стол: ходит по столу, все хватает. Так она баночку аспирина опрокинула, сколько-то таблеток сгрызла, ее начало рвать, потом ее пронесло... Я это все убираю, меня чуть саму не выворачивает, а тут вдова поэта Чичибабина звонит – второй год зовет меня в Харьков на чичибабинские чтения. В прошлом году я отказалась, зато твердо обещала, что приеду на следующий. Ну вот – а теперь могу ли куда-то из дома отлучиться?

– Вы же обещали, – говорит она.

Да мало ли что я обещала когда-то! А теперь – всё. Буду тут сиднем сидеть, за Тутти убирать. Ни с мужем на конференцию теперь не поеду, ни в Париж в начале марта, когда у нас еще снега, мороз крепчает, а там крокусы из-под земли уже показались, птицы поют, ветерок теплый веет... Никто же не будет здесь вместо меня с ней нянчиться, ходить за ней, подтирать, дворнягу эту обихаживать. Что уж тут обиняками-то выражаться! Три месяца уже собаке, а она меньше пинчера, я называю ее «декоративная овчарка», «карманная собачка», «карликовый песик». Ошибся, видать, владыка с ее породой – видимо, согрешила его кавказская овчарочка где-то на стороне с шавкой какой-то приبلудной: немецкой овчаркой тут и не пахнет. Кавказской, впрочем, тоже... То есть вполне можно допустить, что где-то в четвертом колене там и было что-то, но там, вдалеке, у самого основания родового древа.

Поэтому-то и на улице, как мы надеялись поначалу, не желает она быть. Мерзнет, трепещет, как палый лист, шерстка у нее тоненькая, шелковистая – как такую неженку на веранду хотя бы выгонишь? Так и сидит она весь день взаперти, а сама-то ведь такая веселая, живая, игручая, общительная, а тут – в одиночестве чахнет. Я ее через каждый час туда-сюда ношу: на двор – обратно, на двор – обратно. А она настолько гулять не любит, что прячется от меня, как только почувет, что я собираюсь ее из дома выносить, – скрывается за диваном, под стулом, бегаев от меня вокруг стола, я ее ловлю, а она верткая, хитренькая, быстрая. И вот я наконец поймаю ее, держу на одной руке, другой – куртку на себя натягиваю, потом – раз – одну ногу, раз – другую в дутики моего мужа и – на двор. Там мы погуляем минут пять, собака по кустам прошвырнется – сделала она там что-нибудь или так просто, из любопытства там лазила, и она домой бежит, в дверь скребется. А я скидываю с себя одежду, и – лапки ей мыть, вытирать, полы подтирать, сгрызенное подметать, и так целый день. Она меня уже за мать свою овчарочку держит. Люто без меня тоскует. И я уже от всех дел вне дома отказываюсь, с ней сижу. Но и работать так не могу. Потому что если уж я работаю, то я уже не здесь, а – там, там я где-то, здешнего, во всяком случае, уже не замечаю: хлеб могу в холодильник положить. А так, чтобы и здесь, и там, я не могу. Вот и не пишу уже два месяца – так, мелочовку какую-то.

В общем, нашло на меня искушение, воистину – «покры мя тьма», я и говорю мужу:

– Все, не могу больше. Владыка нам совсем не ту собаку прислал – к нашей жизни она не приспособлена. На улице вообще не может жить – через десять минут воев там, плачет. Я, например, рассчитывала, что она будет основное время проводить на веранде, а в доме только ночевать. Да и дома, если оставить ее одну, скулит. Грызет все подряд. Вон – русскую литературу XIX века изгрызла. Маяковского – в клочки. У Чухонцева обложку ободрала, Тынянова попортила. И вообще, – тут уже я вышла на какой-то метафизический уровень обобщения, – почему это моя жизнь должна зависеть от собаки,

от какой-то там дворняжки, шавки? Что ж, я теперь остаток дней должна возле нее проводить, ухаживая и убажывая?

А муж мой то и дело вынужден в Москве ночевать, потому что, когда он служит с утра, ему надо вставать часов в шесть, а я вместо того, чтобы с ним быть, разделяя труды, тут при своей дворняжке сижу. А собаку взять с собой в Москву не могу – там вообще гулять с ней негде. И потом там, оказывается, такие антисобачьи законы ввели, что как только собака твоя где-то нагадит, сразу подходит страж порядка и штрафует на тысячу рублей, если ты тут же за ней совочком не убрал и не выбросил в помойку. Так что с совочком теперь надо гулять, когда выходишь с собакой.

## 9

Да таких собачек, как она, как эта наша Тутти, по всей округе пруд пруди, бедолаг бездомных. Чего было везти ее сюда издалека? Если бы мне так уж надо было такой именно собачкой разжиться, я бы одну из этих, стаями бегающих, прикормила бы... И доброе дело сделала бы, и себе бы подходящую собаку подобрала бы, потому что раз она к улице приучена, то вполне бы могла у меня на веранде побыть, пока бы я в Москву ездила. Да и вообще – два года назад я от этих собак бездомных да приبلудных еле отделалась. Одна из них забралась ко мне под дом и там родила четырех щенков. А дело было уже зимой, в декабре. Холод лютый, а под домом – тепло, там как раз рядом котельная, и от нее – жар. И вот эти щенки крошечные там пищат, а собака, мать их, – тоже, между прочим, явно с овчаркой в дальнем родстве – вся тощая, изможденная, в глазах – забота, обида, настороженность, но и кротость необыкновенная, и мольба: ты уж не гони деточек моих на лютый мороз! – рыщет, бегаёт вокруг дома, голодная, у помойки шныряет, пропитание выискивает, сосцы у нее набухшие, отвислые – кормящая мать.

Стала я ее кормить горячей едой – каша геркулесовая с постным маслом и фаршем. Мой Тартюф всегда этим с большим удовольствием питался. Потом женщины какие-то сердобольные прознали, что у меня щенков видимо-невидимо, – стали со всего Переделкина объедки приносить. Заходят на участок, выкладывают у меня под окнами на целлофане да на фольге или на пластмассовой тарелке свои приношения. А одна дама так даже мешок со специальным собачьим кормом привезла. Словом, питание у собачьей мамы пошло отменное, правильное питание – там и колбаска, и косточки, и курочка, и супы, и катушки эти с микроэлементами: рациональное питание, разнообразное, калорийное.

Пронеслась весть об этом среди всех поселковых собак: де преизобильное кормление у нас происходит, набежали не только ничейные шарики с бобиками, но и важные хозяйские рэкссы с полканами. Холеные, со взглядом презрительным и надменным. Колли заглянула, дог пожаловал, эрдельтерьер обосновался у веранды. Все пасутся у моих дверей, целлофан с фольгой и пластмассовыми тарелками растаскивают по кустам. На свежем снегу повсюду кучи темные, разводы желтые. Порой въедешь во двор на машине, а вылезти из нее, особенно по ночному времени, боязно: окружают ее собаки разнокалиберные, с глазами горящими, со взглядами мутно-интригующими – что там у них на уме? Стоит ведь какой-нибудь из шавок – выскочке и задире – так, для куража только тявкнуть и зубами клацнуть, так они все из одного только стадного чувства накинута, повалят, растерзают в морозной этой темной пустыне. У нас лет десять назад на знаменитом пастернаковском поле, которое теперь уже мощно застраивается новыми русскими, прогуливался как-то, ближе к ночи, поэт Вознесенский, стихи про себя складывал, на луну смотрел, так на него такая собачья кодла и налетела, и повалила, и растерзала – еле жив остался. Хорошо еще – какие-то мужики его увидели, собак поразогнали...

А я порой и не одна приезжаю, а то с одной маленькой внучкой, то с другой, совсем крошечной.

А по ночам эти собаки здесь свой собачий клуб устраивают – брешут, переругиваются, одно слово – собачатся. Выйдешь, наконец, во тьму кромешную, бессонная, изможденная, прикрикнешь на них страшным голосом, понизив его до баса, до рыка, топнешь ногой: «пошли!», палкой запустишь – они

попримолкнут, но ровно до того момента, как ты опять начнешь засыпать – только-только этот сладкий, дурманящий, тонкий, уже предутренний сон начнет тебя окутывать, клубясь и курясь, как прорежет и разорвет его в клочья бессмысленное мелкое тьяканье и гулкий бранчливый лай.

А то, смотришь, люди какие-то незнакомые у тебя под окнами бродят, парочками, кучками – неужели опять собак кормить пришли? Муж мой своими освященными иерейскими ручками потом весь этот хлам убирает – пакеты, тарелки, кости, остатки пиршеств... Нет, на сей раз люди не с кормежкой:

– Простите, вы здесь что-то ищете?

– Мы? Собаку свою. Она к вам в гости ходит, – ответят интеллигентно, – миленькая такая собака, славная, может, видели?

Ага, значит, бегают эта их собачка сюда, как на тусовку, как на собачий дэнс. Ночной клуб здесь у них.

Наконец, уже весной, когда ручьи зажурчали, птицы запели и пропал риск найти у порога замерзший собачий трупик, решила я с собаками этими побороться. Вышла к женщине, которая, ничуть не смутившись при виде меня, раскладывала у меня на ступеньках макароны.

– Простите, а что вы здесь делаете?

– Как что? – удивилась она вопросу. – Собачек кормлю. Вот мы не доели, собачкам принесли.

– А почему вы кормите их у меня на крыльце? Кормите их у себя.

– Потому что они у вас голодные бегают, – обиженно застыдила она меня. – Им холодно, а вы их в дом не пускаете. Вы не любите животных! А я – собачница. И поэтому я их все равно здесь буду кормить. И все мы их будем кормить! Тут нас много – собачниц.

– Не горюй, – сказал мой муж, – все равно эта часть дома над котельной уже покосилась, ее надо сносить и строить заново. Мы здесь все разрушим, собаки и уйдут. А пока просто заложим эти дыры под домом новыми досками.

И вот в мае, когда начали цвести одуванчики и зажужжали шмели, в траве запрыгали лягушки и собаки с удовольствием разлеглись на солнышке, пришли дюжие украинцы и забили все лазы, ведущие под дом. Получили деньги и ушли довольные. Только они скрылись из глаз, под домом началась возня, и лай, и вой: оказалось, они замуровали там несколько собак. Но и оставшиеся на воле тоже, оказывается, уже обжили это подполье и теперь неистово рвались туда, грызя свежие доски. Наконец, где-то им удалось прогрызть дыру, и «вольные» полезли внутрь, а «замурованные» рванули на свежий воздух. Начался бой. Схватка за место. Борьба не на жизнь, а на смерть. Не было здесь только щенков с мамашей, с которых все началось, – видимо, их выжили отсюда еще давно. Одну из собак в пылу борьбы загрызли насмерть...

Друг мой Андрей Витте, который, приехав к нам, попал на это поле брани, печально заключил:

– Вот так. В России вообще нельзя устраивать никакой халявы.

Через два дня вернулись украинцы, снесли эту часть дома до основания, вырыли котлован для фундамента, вокруг участка возвели глухой забор, заперли калитку от всех добросердечных собачниц. А собаки побегали-побегали, позаглядывали в яму, где некогда они так вольготно и весело провели зиму, и понеслись стаей в поисках нового пристанища.

## 10

Итак, могла же ведь я взять тогда в дом одного из тех четырех щенков, если б мне так уж это было бы надо! И дело вовсе не в том, что Тутти моя оказалась дворняжкой – не хватало мне еще за счет породистой собаки самоутверждаться! Ее престижностью («статусная собака!») себе значение придавать! Какая пошлость! Нет, просто она нам – не подходит. Получается, что, ухаживая за ней, я приношу ей в жертву: моего мужа (потому что если надо выбирать, ехать ли куда-то с ним или оставаться с Тутти, я выбираю последнее), мою работу (потому что вместо того, чтобы работать, я весь день занимаюсь ей, хлопочу, хлопочу), детей (не могу же я к ним поехать, а ее оставить одну), друзей (вот тут на день рождения не

поехала, на новоселье). И вообще. Из храма я опрометью мчусь домой. Стою на Божественной литургии, а в голове у меня препротивная мысль, что я туфли на полу оставила – обязательно сгрызет. И вот выходит, что я приношу ей в жертву все! Любовь. Творчество. Цельность. Дар созерцания. Чистоту молитвы. Саму молитву. Да это же искушение какое-то!

А тут еще приехал из своего далекого Свято-Троицкого монастыря старинный друг мой – игумен Иустин, тоже, как и наш владыка, человек для моей жизни чрезвычайно важный. А у меня дома – вонища, на улице холод собачий, и не проветришь как следует: дом тут же вымерзает, я уж не говорю о моем гибнущем пальмовом саде. И бегают эта собачонка на кривых ножках, твякает, воистину «всуе мятется». То стулья грызет, то фанеру от книжного шкафа отколупывает, то по всему дому носится с игрушкой-песиком, которому на живот если нажмешь, он «тяв-тяв-тяв» делает, а то на задние лапы встает, упирается передними мне в колени и, еду выпрашивая, скулит, требуя, лает.

– Что это за диво такое? – спрашивает отец Иустин. – Откуда?

А мы как раз о языческих предрассудках в православии завели разговор, о лжестарцах, которые развелись во множестве, о превратностях человеческой воли, которая так измучила человека своей неопределенностью и двусмысленностью, что он только и ищет, какому бы начальнику ее всучить, чтобы он ею управлял, распоряжался, нес ответственность и покрывал ошибки. О магизме заговорили, который приписывают иным священническим словам и благословениям, об иных иереях, которые и сами потворствуют такому «магическому» отношению к себе – ну вроде вот этого: «Если слово мое не исполнишь, болеть будешь». Так один иеродиакон «благословил» жену священника – мать девятерых детей, «бросить все и уйти в монастырь». А меньшему ребенку только-только три года исполнилось. И эта бедная женщина совсем пришла в духовное расстройство.

Словом, разговор у нас с отцом Иустином и важный, и увлекательный. И собеседник мой – человек, от которого сердце радуется. А тут эта собака мельтешит.

– Да владыка мне ее подарил, – отвечаю я ему. – Под видом овчарки. Но у овчарки – вон какая шерсть, ей любая зима нипочем, а эта совсем на холоде изнемогает. Вот дома и сидит целыми днями.

– Слушай, так зачем она тебе? – спрашивает отец Иустин. – Ты ведь теперь и к нам в Свято-Троицкий монастырь не сможешь из-за нее приехать, и дом твой в Троицке заброшенный придет в полный упадок. И на улице такая собака жить не может. Нет, нужно тебе ее кому-нибудь отдать, пока ей не исполнилось четыре месяца. Говорят, после четырех месяцев это уже жестоко, ибо создает для собак проблемы. А пока – можно.

– Так владыка же подарил! Может, так надо, чтобы она у нас жила. Может, спасет она от чего-нибудь, защитит, выручит. Для чего-то ведь в промыслительном плане она нужна!

– Да брось ты! – засмеялся отец Иустин. – Только что ведь говорили о православном магизме – и ты туда же! Да нет тут никакого мистического смысла! Владыка тебе ее подарил, потому что ему самому некуда было ее девать. Наверное, он уже всю епархию свою такими собачками снабдил, а этот щенок у него бесхозным остался. Так что отдай в хорошие руки и живи спокойно. Пусть твой муж своих прихожан поспрашивает – кто-то и откликнется.

На следующий день муж мой и говорит: – Ну все. Пристроил я Тутти. Сыночек наш согласился ее взять. В свои загородные мастерские, где они деревянные храмы и часовни строят, так им там как раз собачка нужна. На днях он ее заберет. Так что недолго тебе осталось терпеть.

А Тутти как будто все поняла, ушки наострила, головку на бок склонила, смотрит так в глаза мне изучающее, взволнованно, испуганно, но и заботливо, с любовью, словно испытывает. Сижу я в кресле, а она мне к ногам игрушечки свои приносит и кладет – на, поиграй. Щеночка с кнопкой на животе «тяв-тяв», мишку своего плюшевого, паровозик резиновый, пчелку пластмассовую, которую, если потянешь за веревочку, она по земле скачет. Внуков моих игрушки. Коврик свой, на котором я ее спать укладываю, тоже принесла. В наше отсутствие спит она, конечно, на диване, в крайнем случае – в кресле, а так – делает вид,

что он и есть самая постель ее. Принесла все, перевернулась на спинку, лапки вверх, животик розовенький, я поглаживаю, она мне руки лижет, целует, остороженько так покусывает, не то что раньше, когда она и когтями царапала, и кусала почти до крови – все руки и колени у меня в царапинах, кровоподтеках, я их залепляла бактерицидными пластырями. А тут лежит передо мной – смиренная, ласковая, шерстка нежная, на головке золотится, на боках – серебрится, словно «смотри, говорит, вот она я – собачка твоя, Тутти. Неужели ты меня кому-то отдашь?», беспомощная, доверчивая, сдается на милость победителя. Мой муж говорит:

– Она тебя за мамку свою держит. Ты в другую комнату выходишь – она тебя у дверей ждет, караулит, а меня – побаивается.

## 11

На следующий день зашел ко мне мой старинный друг поэт Петя, приехавший на несколько дней в Дом творчества писателей, чтобы поработать, доделать книгу.

Вообще он человек старомодный и, когда приходит, сразу принимается рассуждать о возвышенном – о литературе, о философии, читать стихи. Я всегда чувствую при нем себя как бы пристыженной за то, что я так «отщетила» душу свою в житейских попечениях, а он сохранил «дух волен и высок». Вот и теперь, едва войдя, он заговорил о высоком – о Пушкине, о Лермонтове.

– Ты знаешь, сколько раз он свою «Тамань» переписывал? Ты «Тамань» давно читала? Вот тебе задание – обязательно в ближайшие дни перечитай. Он тридцать раз ее переписывал, пока не добился совершенства! А вот это – я просто с ума схожу от восторга, от этой гармонии:

Прочь, прочь, слеза позорная,  
Кипи, душа моя!  
Твоя измена черная  
Понятна мне, змея!  
Я знаю, чем, утешенный,  
По звонкой мостовой  
Вчера скакал, как бешеный,  
Татарин молодой.

Он перевел дыханье и развел руками от восторга.

– И ведь, знаешь, это добивается тонкой работой, кропотливой, упорной, потом, если угодно, а ощущение – такой простоты и естественности! Боже мой, что надо человеку, что ему надо? Всего-то – «чтобы от истины ходячей всем стало больно и светло». Больно и светло – понимаешь? Ну, что скажешь?

Я увидела, что Тутти крутится на одном месте, примеривается, чтобы присесть. Схватила ее под мышку, напаялила куртку, дутики:

– Ты куда? – заволновался Петя. Но я уже была на веранде.

Вернулась, вымыла Тутти лапки, села к Пете за стол.

Он все еще сидел, потрясенный только что прочитанным, и я постаралась соответствовать ему:

– У Анненского есть переключка с этим стихотворением в «Квадратных окошках». Та же тема рокового соблазна, гибели. И – ритмика. Помнишь?

Молчи, воспоминание,  
О грудь моя, не ной.  
Она была желаннее

Мне тайной и луной...  
– «А знаешь ли, что тут она?»  
– «Возможно ль, столько лет?»  
– «Гляди, фатой окутана...  
Узнал ты узкий след?  
Так страстно не разгадана,  
В чадре живой, как дым,  
Она на волнах ладана  
Над куколем твоим».  
– «Она... да только с рожками,  
С трясучей бородой —  
За чахлыми горошками,  
За мертвой резедой».

– Нет, – сказал он. – Это все не то. Я люблю, чтоб было все проще, жестче. Чтобы – вообще как бы из ничего. Без рожек с горошками. Чтоб – больно и светло. И все. Я тут перечитывал Блока, и мне так захотелось у него поправить эпитет в стихотворении «Венеция». Мне кажется, он бы согласился. Вот смотри.

В тени дворцовой галереи,  
Чуть озаренная луной,  
Таясь, проходит Саломея  
С моей кровавой головой.  
Всё спит – дворцы, каналы, люди,  
Лишь призрака скользкий шаг,  
Лишь голова на черном блюде  
Глядит с тоской в окрестный мрак.

Так вот, я убрал бы это черное блюдо – и так понятно: ночь, мрак, а я бы сделал «на скользком блюде» – тут была бы вся шаткость, вся зыбкость существования. А «скользящий» шаг заменил бы – ну, нашел бы, чем его заменить. Можно хоть «шуршащий», хоть «летающий». Можно – «зловещий», а можно – «дрожжащий». А можно и «неровный» – тогда эта ассоциация с «неровным часом» вылезет – знаешь, как говорят – «не ровен час»... Да и вообще тут-то как раз эпитет не столь важен: слово «призрак» все равно внимание на себя перетягивает, и какой там у него шаг – «неслышный» или «чуть слышный» или наоборот – «гремящий», как у Командора, это уже на твой вкус. Можно и так, и так. А тебе хочется иногда чужие стихи – подправить? Ну, классиков, я имею в виду. Мне хочется порой – я же, ты знаешь, эстет.

Тутти носилась вокруг стола, терзая плюшевого мишку, потом вдруг остановилась, приняхиваясь, я разгадала ее маневр. Вскочила, схватила, напялила на себя куртку, дутики, понеслась с ней на двор.

– Ты что? – крикнул Петя. – Куда? Собака твоя все-таки суетная, сколько от нее возни.

Вернулась, вымыла ей ножки, убрала кучу, выбросила на веранду в отведенный для этого ящик. Тутти от избытка жизни радостно понеслась по комнате и вдруг принялась вызывающе лаять, как только Петя, торжественно откинув голову назад и чуть прикрыв глаза, еще раз протяжно повторил: «Лишь при-зра-ка на-на – сколь-о-льзком блюю-де», словно дегустировал священную амброзию, нектар...

– А собачка эта тебе зачем? – вдруг, словно очнувшись, спросил он. – Милая, впрочем, живая такая дворняжечка.

– Я ее отдаю завтра моему сыну. Вот только мне... жаль. Привязалась я к ней.

– Да отдавай, конечно. Вон сколько от нее суеты! На нервы действует. Ну, ладно, пойду я работать. Несколько гениальных стихотворений написал. Просто – гениальных!

Но я уже настолько была поглощена мыслью о том, что вот-вот расстанусь с моей собачкой, что даже не откликнулась, не попросила, как обычно:

– Петя, так прочитай же мне их!

## 12

Позвонил мой сын:

– Ты можешь завтра привезти собаку в полдень к моему храму? А я ее пересажу к себе в машину и сразу отвезу в мастерские.

– Могу.

Так. Завтра, значит. Ну, вот и все. Я взяла Тутти на ручки и прижала к себе. Она лизнула меня в щеку и довольно засопела.

– Собачка моя Тутти! – с чувством проговорила я и вдруг заплакала. Вышла с ней из дома, выпустила на снег, она побежала, шелестя кустами, зарылась в сугроб, фыркнула и вернулась к моим ногам. Круглые глазки ее спрашивали:

– Ну что, может, домой?

Я взяла ее на руки, принесла в дом и уселась, не раздеваясь, вместе с ней в кресло, прижимая ее к себе:

– Как же я тебя отдам? – спросила я и поцеловала ее в золотую голову. – А с другой стороны – как же я смогу здесь оставлять тебя одну? Кто будет с тобой гулять, кормить? Ты же плачешь, когда я ухожу!

Она выразительно посмотрела на меня, силясь понять.

– И потом – ты же так мерзнешь в своей тонкой шкурке, надо тебе купить курточку, сапожки, рукавички... А у моего сыночка, там, в его мастерских, много народа, все будут с тобой играть, ты будешь жить в тепле, сторожить и лишь изредка выходить гулять.

Она радостно вскинула ухо и прижалась ко мне. Так мы просидели с ней полчаса, пока она не уснула, и я положила ее на коврик, а сама пошла к себе в кабинет. Раскрыла книгу. Но какая-то тайная, шероховатая мысль не давала сосредоточиться, в груди что-то ныло, болело, скребло, царапало, жгло. А может, Тутти не отдавать? Такая она тепленькая, веселая, родная уже! Игручая, любопытная. Все ее интересует – каждая бумажка, каждый прутик в новинку, каждая пробочка – схватит такую и гоняет ее, как шайбу, по всему полу, прыгает, рычит, лает, изумляется. А то – носится: промчится в одну сторону до самого окна, тормозя в последний момент, поскальзываясь, а потом – как дунет в другую. Или летит сломя голову вокруг дивана, стола, задевая на ходу стулья в полном собачьем восторге, в опьянении жизнью. Нет, нельзя ее отдавать.

Уперлась в книгу. А строчки разбегаются в разные стороны, меркнут.

Но ведь прав Петя, какая же все-таки суета – это ее круговерченье, прыжки, стук, бряканье, возня, смерч. Хочется, чтобы был покой. Чтобы пришел ты домой, а там – тишина. Чистота. Мир. Живи, молись, созерцай! Хочешь – что-то свое пиши, хочешь – классиков правь.

А я куда прихожу? В разор, в разгром. Бумажки, опилки, объедки, шерсть, крепкий, застарелый запах собачьей мочи. Кучи эти... Надо же и мужа моего пожалеть. Возвращается он, усталый, валится на диван, ему хочется, чтобы уже ничего не мельтешило. Он уже заслужил, чтобы в доме был порядок, уют, наконец. Под ногами чтобы ничего не скрипело, не хрумкало, волосы эти собачьи не прилипали к штанам. Нет, видимо, нам уже это не под силу – вырастить щенка. Завтра отвезу Тутти моему сыночку – пусть воспитывает ее сам.

Отложила книгу, выключила свет. Завтра у меня семинар в Литинституте, надо выспаться. Отвезу собаку и сразу на занятия. Закрыла глаза, а передо мной Тутти – всей мордой улыбается, радуется, виляет хвостом. Словно бы и слышу, как она лапками по полу: тук-тук-тук. Собачка моя! Радость – имя тебе! Как я

расстанусь с тобой? Эх, голова моя, на каком же скользком ты блюде!

Измученная, села на кровати, включила свет. Книга, между прочим, у меня изумительная. «Мучение любви». Грузинский архимандрит пишет о современном монашестве. Прекрасная, тонкая книга, без фарисейской жестокости, но и без релятивистского жеманства. Открыла главу «Ощутивши пламень, беги!». Думала поначалу, что это об огне страстей, что-то вроде предостережения преподобного Андрея Критского в его «Покаянном каноне»: «Бегай, душа, запаления, бегай огня геенского, бегай пламени всякого бессловесного желания!» Но оказалось, что – напротив: это о пламени любви к Богу и ревности о Его славе: только почувствуешь это разжение внутри – немедленно, чтобы священный огонь не погас, принимайся за молитву, за славословие, пой Господу хвалу: «Пойте Богу нашему, пойте, пойте Цареву нашему, пойте, пойте разумно. Хвалите Его во гласе трубнем, хвалите Его во Псалтири и гуслех, хвалите Его в тимпане и лице, хвалите Его во струнах и органе. Хвалите Его в кимвалах доброгласных, хвалите Его в кимвалах восклицания».

Муж мой подарил мне не так давно синтезатор, на котором я по вечерам и по утрам играла, переключая кнопки и меняя инструменты, – то орган у меня звучал, то контрабас, то виолончель, то скрипка. Достала из-под спуда старые ноты, оставшиеся мне от моего сына, когда он занимался церковным пением, «Избранные псалмы», «Песнопения Великого поста», «Обиход церковного пения». Иногда брала с собой в комнату, где синтезатор, Тутти. Она сидела и внимательно слушала, а когда ловила мой взгляд, приближалась на почтительно подгибающихся лапках и виляла хвостом. Всякое дыхание да хвалит Господа! Зачем же расставаться с ней? Ради чего? Да и вообще – зачем мне из дома отлучаться – есть разве там что-то стоящее, ради чего можно отказаться от мира, созданного всей собственной жизнью?

Вон один мой давний приятель – актер – на спектакль зовет, сосед по московской квартире – тоже актер, приглашает в свой театр. Только начни на все приглашения откликаться, на все вечера, собрания, тусовки ходить – ничего от тебя не останется. И что – буду я вот так целыми днями через пробки по театрам да по гостям ездить, что ли? Разве этого мне хочется? Разве этим я дорожу? Лучше уж мне здесь, дома с Тутти посбыть, накопить энергии, насидеть рабочее местечко, высидеть свое яичко, чтобы из него проклюнулось что-то подлинное и живое. Лучше уж я псалмы попою, за Тутти поубираю, морду чудесную лохматую поцелую.

Или вот на конференцию меня зовут. Ночь – туда, ночь – обратно, там двое суток, считай – неделя долой. А надо ли мне туда? Или я только из суетной вежливости соглашаюсь? Я ведь всегда, покидая дом и общаясь со множеством людей, чувствую себя опустошенной, словно обкраденной, и потом долго-долго в себя прихожу. Душа постепенно тут распрямляется, к небу вытягивается и начинает накапливать золотые энергии, как пчела – мед. Или вот малознакомые люди нас с мужем к себе на свадьбу зовут. Отказаться вроде бы и неудобно, но ехать-то туда – зачем? Так дорого эта светская вежливость обходится, жизнь на нее уходит... А ввиду Тутти – у меня экзистенциальное оправдание: извините, пардон, не могу, владыка благословил ухаживать за живым существом, тварью Божьей. Вот возьму и не поеду завтра к моему сыночку в храм, а поеду только к себе в институт на занятия, а Тутти дома оставлю – насовсем. Сейчас ему звонить уже поздно – он уже спит, завтра утром у него богослужение в храме, утром – тоже не позвонишь, ну позвоню за десять минут до полудня, чтобы он меня не ждал.

Поиграла, включив клавишину, спела «Се Жених грядет в полунощи» и, довольная, легла спать. Только смежила веки, а внутренний голос мне: как так? Сама же мужу заявила: «Собака мне не по силам, шерстка у нее тонкая, от мочи ее меня тошнит. Рука левая у меня в локте болит так, когда я швабру эту выжимаю или собаку несущую гулять, мне на крик кричать хочется, не вмоготу». И потом так прямо и сказала ему: «Я терпеть не могу дамочек, которые заводят себе собачек, а потом сходят по ним с ума – фотографии их у себя в портмоне таскают и при каждом удобном случае показывают кому не лень: вон моя собачка играет, вот – косточку грызет, вот – бегаёт».

И все вокруг должны смотреть и умиляться. Такой расскажешь что-нибудь про своих детей, а она

обязательно перебьют:

– Нет, послушайте, а вот моя собачка!

Попонки ей покупают со стразами, косметику собачью, духи, чушь всякую...

В конце концов, я же не одинокая женщина – у меня есть кого любить, кого лелеять, кого целовать и к сердцу прижимать, – у меня муж, трое детей, шестеро внуков, наконец. Бери хоть всех и играй, целуй, носись как с писаной торбой!»

Так я сказала моему мужу, а он вздохнул: ну ладно. Раз тебе тяжело, Тутти мы отдадим. То есть идея была моя. Это я его заставила: спроси, кому собачка нужна. Отдай да отдай. Злая баба Бабариха. Он позвонил сыночку. Тот сказал: да. Я с ним уже договорилась и что теперь – все это отменять, переиначивать? Они подумают – всё у нее капризы – то это ей подай, то – то. Сегодня она хочет себе новое корыто, а завтра потребует сделать ее владычицей морскою. Не угодишь этакой. Нет, раз уж так вышло, надо собаку отдать.

Я перевернулась на другой бок. Но какая же она хорошенькая, тепленькая, пушистая! Подушечки у нее на пальцах то розовенькие, то черные. Нежные, не успели еще задубеть. И – лает, если приходит в дом кто-то незнакомый, чужой. Сторожит. Может, действительно потом нас от какой-нибудь беды спасет, защитит. Нет, не отдам я ее, не отдам! Вон – даже в житиях святых сколько прекрасных рассказов о животных! Как вороны прилетали кормить Ильюпророка, когда он прятался в пещере, – приносили ему, по слову Господню, хлеб и мясо. Слышат, значит, они, эти зверюшки, глас Божий и повинуются ему уж лучше, чем мы.

Душно мне стало. Тошно. Всюду эти чахлые горошки мерещатся, мертвая резеда. И – призрака зловещий шаг. Встала, распахнула окно, зажгла свет. Открыла наугад «Мучение любви»: «Одно должна знать душа, что только в Боге ее покой и предел исканий. Поэтому она должна выйти в совершенную свободу не только от страстей, но и от своих чувств, в свободу от всего временного и войти в Бога».

Вот оно, подумала я. Свобода от своих чувств! Зажгла свечу, почитала Псалтырь. Вернувшись в постель, глянула на часы: четыре утра.

Во имя Господа, сказала себе я, надо отрешиться от всех земных чувств, от всех привязанностей, а не то что от собаки, которую я два месяца назад и знать не знала. Во имя Бога нужно уметь пожертвовать всем. Погружу завтра Тутти в машину и отдам.

Свернулась калачиком, приготовившись сразу уснуть. Да при чем тут жертва! – вдруг полыхнуло во мне. – Какое лукавство! Тебе подарил собачку твой друг, милостью Божией архиерей, благодетель твой, молитвенник, заступник пред Богом! Подарил, чтобы она радовала тебе глаз, веселила сердце тебе. Надо было в простоте сердца, со смирением и любовью принять этот дар. Принять как путь жизни. А ты так изуверски все это извратила, поддавалась минутной немощи – мол, надо отказаться, раз собака требует от тебя труда. А надо было – лишь чуть-чуть перетерпеть, подождать. Она сейчас уже понимает, для чего ты ее выносишь во двор. А через два месяца начнет проситься, а там уж настанет весна, распустятся одуванчики, расцветет сирень, жасмин глянет любопытным глазком, так ты и домой ее не загонишь – будет на травке валяться, ворон пугать. Оставь себе это утешение, посмотри, как она любит тебя, с каким ликованием встречает по утрам, лапками обнимает за шею... Не отдавай! Недаром ведь праведный Ной не только семью свою спрятал в ковчег, но и зверей, птиц и даже гадов – всякой твари по паре, мужского пола и женского, чтобы род их не прекратился, ибо именно так заповедал ему Господь.

Я аж вскочила с постели. А зачем я тогда все это затеяла? Зачем сыночка взбудоражила – завтра он меня будет ждать. Что он обо мне подумает, какой пример я ему подаю – то этак решила, то так... И потом – отец Иустин – тоже ведь человек духовный, наместник монастыря. Что-то же значит его благословение! Нет, повезу, отдам.

Даже помолилась:

– Господи, если Тебе угодно, сделай так, чтобы я ее завтра не довезла.

И ужаснулась собственному безумию. Во-первых, нашла, о чем Промыслителя просить! Какой позор! Ну не хочешь – не вези. А во-вторых, что значит: «чтобы не довезла»? Что – чтобы машина не завелась или чтобы я, не приведи Господи, в аварию попала, или упала, выходя из дома, на скользкой обледенелой лестнице, сломала руку, ногу? Вот уж точно бы тогда – не довезла. Глупость какая, кощунство!

Глянула на часы – половина шестого. Завтра мне на работу, а физиономия у меня заплаканная, опухшая от слез, глаза красные, сама страшная, больная, невменяемая, в голове – туман...

Опять легла, а перед глазами – Тутти. Но, как это у Анненского – «она... да только с рожками, с трясучей головой»... Нет, это уж точно пристрастие – так прикипеть к ней сердцем, это пунктик, бзик. А коли так, то и подавно надобно с ней расставаться. Или – все-таки нет? У меня – что, так много любви, чтобы от нее так вот запросто отмахиваться, отказываться? Как же можно оттолкнуть от себя любящее, преданное существо? Да уж лучше – лечь ничком и пролежать без движения весь день, пусть все как-то само решится. Занятия я, конечно же, прогуляю: больна, заболела я! И правда – куда я с этим лицом и туманом поеду по гололеду сквозь пробки? А если Нике и в самом деле собака нужна, пусть сам за ней ко мне и приезжает. А если не приедет, то, значит, и не судьба.

Успокоенная, закрыла глаза, тут даже святой мученик Христофор мне вдруг пригрезился: его на фреске Успенского собора в Свияжске изобразили с собачьей головой. И в житии его у Дмитрия Ростовского так и сказано: будто бы он имел песью голову. Наместник Свияжского монастыря рассказывал, что есть две версии этой «песьей» головы. Первая – что он был необыкновенно хорош собой и искусителен для лиц противоположного пола, и потому молил Господа избавить его от такового искушения. И Господь услышал его мольбы, превратив голову его в собачью. А вторая версия, что он был из племени людоедов и эта нечеловеческая его голова, когда уже он принял святое Крещение, осталась ему напоминанием о той дикой его природе, которую ему нужно в христианском подвиге преобразить. Говорят, иконы святого мученика Христофора с этой песьей головой были и в Ярославле, и в Новгороде, и в Ростове, да там, на всякий случай, чтобы христиане не соблазнились, особые ревнители благочестия эти песьи головы замазали и пририсовали ему обычную, человеческую, как у всех. И вот это всегда очень смущает меня в таких «ревнителях», которые, порой пренебрегая символическим смыслом и наводя свою цензуру, хотят выставить себя благочестивее церковного предания, гуманнее Христа... Я стала задремывать, и святой мученик Христофор, окутанный плотной дымкой, тихо и печально покачивал своей головой – то человеческой, то собачьей, да тут грянул будильник.

Я вскочила, позвонила в институт, сказала, больная. И тут с тоской подумала: да ведь когда так своевольно нарушаешь ход жизни, можешь и что-то главное в ней зацепить, сломать! Нет, надо уж идти, как положено, и туда, куда тебя направляет Промыслитель, расставляя на пути указующие знаки обстоятельств и долженствований. Ну ладно – в институт я не поеду, ничего страшного, но сыночек-то мой ждет меня в полдень. Рассчитывает. Ведь я уже и предупредить его не смогу – у него как раз до половины двенадцатого служба в храме. Надо ехать. А вдруг собака не выдержит дороги? Будет у меня под ногами путаться, педали нажимать, врежемся мы с ней в столб, или прыгнет мне на руки, начнет пальцы кусать, мешать руль крутить, скатимся мы с ней по обмороженной дороге в кювет.

Встала, выпила кофе, постелила на заднее сиденье большое полотенце, которым обычно вытирала Туттины лапки, собрала в мешок ее «наследство» – коврик, миску, корм, игрушки – щеночка с кнопкой, прыгающую пчелу, свистящий паровозик, прицепила к ошейнику поводок и посадила ее на заднее сиденье. Даже и игрушечку с ней рядом положила – котика. Она послушно улеглась. Я вырулила из двора с тайной надеждой, что она начнет так скулить и метаться по машине, что я не смогу ехать и вернусь. Но она лежала покорно. Я выехала на шоссе. «А ведь она прекрасно переносит дорогу! – проплыло у меня в голове. – Так в чем же проблема? Я могла бы ее брать с собой в Москву... Да я и в Свято-Троицкий монастырь могу с ней поехать и куда угодно. И не мешать она будет мне, а наоборот, во всем помогать. Вон святой Герасим Иорданский возил воду сначала на осле. Потом у его порога оказался раненый лев, и он его исцелил. И этот

лев стал жить при преподобном Герасиме. Но тут пропал осел, которого тайком увели проходившие мимо купцы. Но преподобный Герасим подумал на льва, что это он, повинувшись лютой своей природе, сожрал осла. И сказал: раз так, теперь ты будешь мне воду возить. И лев беспрекословно таскал бочки с водой на спине. Но как-то раз он вдруг учуял, что где-то недалеко остановились на ночлег эти воры-купцы и с ними – осел. Он помчался на их стоянку, всех поразогнал и привел осла к старцу, тем самым доказывая свою полную невиновность. Так что иные звери бывают поблагороднее людей. Во всяком случае, они прекрасно чувствуют расположение их души и порой характером уподобляются своему хозяину: у святых и звери «святые». У преподобного Серафима Саровского – медведь, у преподобного Герасима Иорданского – лев и осел. Вот сейчас доберусь до ближайшего разворота и вернусь преспокойно домой». Дала мигалку на разворот, и тут меня как ударило – а если что, если все-таки неоторимые сложности с ней возникнут, я же позже не смогу ее отдать – после четырех-то месяцев! Она окончательно ко мне привыкнет как к хозяйке, и это уж совсем будет подло: или сейчас, или никогда! И – выключила мигалку, поменяла ряд, проехала мимо.

Еду, а слезы у меня текут, заливают лицо. Не вижу уже из-за них ни дороги, ни машин – ничего. Рыдаю. Вот – опять разворот – можно повернуть на мост, а там – в обратную сторону. Приеду домой, покормлю мою ласточку, уткнусь в теплую собачью шерсть, посмотрю в глаза эти собачьи – милые, обеспокоенные, преданные, и – завалюсь спать, счастливая! Сумасшедшая какая-то! Да это страсть у меня к этой собачонке – словно ничего-то мне в жизни и не нужно, кроме нее, ослепление! А ну как завтра мне придется уехать на целый день, да еще и с ночевкой... А Тутти опять останется одна взаперти – стулья погрызет, стену обдерет, краник на батарее повернет – уже примеривалась, да я не позволила. Затопит весь мой дом, а я совсем недавно ремонт сделала, пристройку воздвигла – как раз над той частью, где раньше прилюдные собаки жили. Вот-вот ко мне литфондовская комиссия придет – оформлять мои пристройки с ремонтами, оценивать, а у меня уже все порушено – штукатурка кое-где из-под новеньких обоев выглядывает, стена ободрана, плинтус обгрызен, на трубе краска облуплена. Проехала я разворот.

– Тутти, – обернулась я к ней, – ну что с тобой делать?

Лежит, смиренная, на заднем сиденье, услышала свое имя, увидела, как я на нее оглянулась, хвостиком замахала, на лапки приподнялась: мол, готова служить.

Ну все, сейчас на горку въеду, там налево – и храм, где мой сын меня ждет. А вдруг он выйдет ко мне после литургии, просветленный, и скажет:

– Знаешь, я, конечно, могу ее взять, раз уж мы договаривались, но потом когда-нибудь, не сейчас... Потом, потом... А сейчас – увози обратно ее.

А он, сыночек мой, уже на улице меня ждет возле своей машины, увидел меня – руками мне машет, показывает – вот сюда, сюда заруливай, становись. Не очень удобно – зад машины часть дороги перегораживает, но встать больше некуда – все забито.

Вылезла я – слезы у меня лицо заливают, рыдаю, уже и сдержаться не могу, в голос.

– Может, не нужна она тебе?

– Нужна, нужна, – засмеялся он. Влез ко мне в машину, взял Тутти на руки.

– Дай еще поддержку!

И целую ее, и рыдаю: маленькая моя, золотая, любимая! В горле – комок, клекот. Прохожие шарахаются – умер у нее, что ли, кто, трагедия какая-то, вон как рыдает!

– Ну все! – Он перенес Тутти в свою машину, закинул туда же мешок с наследством, захлопнул дверь и – только его и видели. И след простыл.

Вернулась я домой ни жива ни мертва. Никто меня не встречает. Тишина. Пустота. Муж мой еще со вчерашнего дня в Москве – богослужение у него вечером, богослужение с утра, так что и ночевал он там, и

дела у него днем, и вернется лишь ближе к вечеру. Везде какие-то опилки, шерсть, подтеки, прилипшая к полу грязь. Выскребла я все это, вымыла, проветрила, морской свежестью забрызгала. А на душе тяжело, словно... Словно я вырезала что-то из себя, дочку отдала в приют!

Ну, вот этого-то я и боялась! Я с этим-то, в первую очередь, и боролась. Чтобы собачка не стала мне заменой маленькой дочки. Скверно мне так! Весь организм мой плачет, стенает, болеет.

А тут поэт Петя пришел – бодрый такой, с морозца.

– Отдала собачку? У вас ведь, кажется, собаки в христианстве не воскресают? В рай она попадет или нет?

Спросил так, словно я и вправду ее только что убила.

– Нет, считается, что у животных душа – в их крови. Они не воскресают.

– Ну, это несправедливо! Животные же страдают за грехи людей. Адам и Ева согрешили, а их вместе с ними всех скопом из рая – долой! Попадет твоя собачка с тобою в рай, не плачь. Это я, агностик, никуда не попаду. А я вот тут свои стихи сидел, правил, книгу составлял и все размышлял. И подумал: знаешь, как поглядишь вокруг – все такая пошлость! Сплошная пошлость! Буквально все.

Ну вот – семья живет, муж, жена, они вместе тянут эту лямку, старятся в заботах, она что-то все трет, стирает, жарит, парит, по осени какие-то банки с консервами закручивает, экономит, копит, мечтает все о какой-нибудь кофточке; он – каждый день тащится на работу свою однообразную, скучную, чтобы подзаработать, тоже откладывает, копит на телевизор, на мотоцикл, на машину; на выходные на рыбалку отправляется, там с друзьями выпивают, расслабляются немного; а иногда они вместе с супругой в парк гулять ходят, на дачу тащатся через весь город, он – лысеет, она – тучнеет; дочь у них – на выданье, ну и так далее... Понимаешь – все пошлость, все! Я, может быть, конченный человек, вся жизнь моя – это сплошное одиночество, но выстраданное, выстроенное, сознательное. Я запер себя в нем, потому что я изнемогаю от пошлости мира! Или – не так?

– А что ты называешь пошлостью? Как бы ты определил? – осторожно спросила я.

– Да прежде всего – вот это: «плодитесь и размножайтесь». Бессмысленные потоки рода.

– Хорошо, а вот, предположим, закоренелый бездетный холостяк или одинокая женщина, которая «вся в бизнесе», «вся в работе»? Это – не пошлость? И вот он «снимает» ее где-нибудь на югах – в Крыму ли, в Турции, в Египте, и они вместе сидят в баре, ведут светский разговор, – ну, не надо тебе пересказывать, о чем он? – вычисли сам, а потом они идут «в номера»... Это – не пошлость? Или – встречаются на квартире в своем городе, пусть даже в Москве. Фоном – хорошая музыка, ужин при свечах, шампанское... Это – не пошлость? Эти чужие ноги, животы, эти разговоры, этот дешевый флер...

– Согласен, согласен. И это – пошлость, и вообще – все! Я же говорю – весь мир пошл.

– Нет, ты мне свое определение дай!

– Хорошо, – он задумался, покусывая ус. – Ну, считай, это отсутствие трансцензуса. Зацикленность на земном.

– Ладно. А вот если все то же самое: муж, жена, проблемы выживания, деньги, работа, рыбалка, дочь на выданье и т. д., но – с трансцензусом? Он ведь тоже в земном существе должен происходить. Иначе ведь это развоплощение, монофизитство какое-то... Спиритуализм, пардон.

– Не ругайся, лучше чаю мне дай. У тебя что – пост? Сыра нет? А ты что – так-таки и не можешь сырку поесть? Неужели так строго, а что тебе за это будет, если поешь?

– Да могу, конечно. Тем более что я так часто попадаю на всякие презентации, банкеты, юбилеи, поминки... Можно съесть то, что дадут. Особенно если это «в доме язычника». Или ты, например, «в дороге». Много существует... лазеек.

– И ты что – ешь?

– Нет. Могу, но не ем.

– Боишься, что батюшка накажет?

– Да не накажет – поцокает языком, головой покачает, пристыдит, но от причастия не отлучит. Но если я все-таки съем, то у меня так тошно сразу на душе делается, невыносимо. Это ведь такая малая жертва – пост, а я, оказывается, даже ее не могу принести.

– А что – батюшка может и от причастия за что-нибудь отлучить? И что это значит?

– Может. И вот я тебе скажу – это такое страшное наказание, что если б мне предложили на выбор, сидеть ли в тюрьме, но в такой, где есть Церковь и служитя литургия и где я смогу приступать к причастию, или гулять на воле, но без Церкви, то я бы выбрала первое.

– Да ну? А я-то думал, это просто так по штату вам, христианам, положено. И вы исполняете в силу послушания и аскезы. А вам, оказывается, это еще и что-то дает.

– Трансцензус, – сказала я, стараясь завершить этот разговор: Петя был крепкий орешек, не поддающийся никакому миссионерскому воздействию. Какие только асы не пытались его обратить и покрестить: и наш дорогой владыка в ту пору, когда он был еще иеродиаконом, и наместник Лавры, с которым они некогда подолгу беседовали и обменивались книгами, и мой муж, с которым они дружили еще с института. Поэтому и я сейчас лишь пыталась ответить на его вопросы, а вовсе не воображала себя «ловцом человеков».

Как только ушел Петя, вернулся наконец с работы мой муж:

– Отдала собачку?

Я уткнулась ему в плечо и заплакала. Позвонила моя старшая дочь:

– Ты что, плачешь?

– Я Тутти отдала, понимаешь? В загородные мастерские. Вот и плачу теперь.

– Так давай я тебе ее обратно привезу. Вот сейчас поеду и привезу.

– Не надо. Ты устала. Такие пробки. Это далеко. Где-то под Москвой. Я и сама не знаю где.

– Ну, так дай папе трубку. Мой муж ей и говорит:

– Хорошо, хорошо, конечно. Привезешь ее, но только не сейчас. Давай – знаешь что? Вернемся к этому разговору... через неделю. Или мы сами привезем. Но только пусть неделя пройдет. Одна только неделя.

Я позвонила сыну:

– Как она там?

– Хорошо. Все тут обнюхала, кошек всех поразогнала. Сидит в тепле. За ней ухаживают.

– Может, она не очень-то вам и нужна...

– Почему же? Хорошая собачка. Милая такая, симпатичная!

То ли дыра у меня в душе, то ли камень на сердце. Больно! Что-то важное у меня в душе эта Тутти зацепила; с чем-то кровным моим, насущным, родным, дорогим сплелась-срослась-слилась и прихватила это теперь с собой. Что-то «засимволизировала». Оставила мне дом мой пуст. Нарушила что-то в «трансцензусе».

## 14

За неделю мне нужно было выяснить, что же именно теперь так болезненно заплелось с ней. Может быть, это нечто связанное с моими родителями, с детством моим золотым, несравненным, с юностью, с отчим домом, где всегда жили собаки, порой и по две: с сенбернаром Додоном – рыженькая пушистенная шпицеобразная Пампушка, найденная на улице. Спала она всегда у него под пузом и бегала, верная, не отходя от него ни на шаг. Оба умерли чуть ли не в один день от лейкоза. Мама пыталась их лечить, нашла на Каширке онкологическое отделение для собак, устроила их туда и даже позвала к нам гости врача, который ими там занимался.

– Я думаю, что у вас район повышенной канцерогенности, – сказал он в ответ на ее вопрошания, – от

чего они могли оба заболеть.

Но мы жили в замечательном месте – в самом начале Кутузовского проспекта, напротив гостиницы «Украина», окна выходили на нынешний Украинский бульвар, а тогда это был просто парк. А оказывается, где-то там, на набережной, в нескольких километрах располагался завод, из труб которого день и ночь валил черный дым. Вот и у нас между окнами к весне всегда накапливалась какая-то чернота.

Мама переполошилась – все время ощупывала меня и моего брата, нет ли у нас набухших лимфатических узлов, все порывалась обменивать квартиру и, в конце концов, дала такой странный обет: если мы не заболеем, то она и нас покрестит, и покрестится сама. Но потом она как-то легкомысленно об этом просто забыла, и я крестилась уже сама, будучи взрослой, возила креститься и брата, а потом, когда мама заболела смертельной болезнью и уже не вставала, отвезла покреститься и ее. Она, впрочем, тогда сразу после крещения и причастия почувствовала себя лучше, встала на ноги, стала прихорашиваться, наряжаться, напевать что-то бравурное себе под нос, даже и пританцовывала при этом. Ее больничный врач, встретив меня на улице, поздоровался и скорбно отвел глаза.

– А мама уехала сейчас в Пицунду, – доложила я ему.

– Как? – смутился он. – Я был уверен, что она полгода как умерла. А вы так и не забрали ее историю болезни.

В общем, мама прожила после этого больше двадцати лет.

Потом, после Додона и Пампушки, был inferнальный ротвеллер Гелла, а потом – подгальский овчарек Гураль. При нем был еще и Бурбон, шоколадный, лохматый, я привела его со двора в лютый мороз, а потом его у нас выпросили друзья. Еще при Гурале у нас жил крошечный песик Литл – пинчер, белый в черную крапинку, с хохолком на голове. Папа купил его на птичьем рынке, когда ездил туда за кормом для рыб, которые у него на протяжении жизни жили в нескольких огромных аквариумах. Литл сразу признал в папе своего хозяина, кинулся к нему, прильнул, и папа был настолько растроган этой собачьей любовью, что тут же его и купил.

Литл, когда папа уходил на работу, прыгал на его халат, оставленный на стуле, и никого к нему не подпускал – сторожил, рычал и лаял. Папа старался брать его с собой и часто надолго оставлял в машине. Однажды он так и оставил Литлика, а сам пошел через дорогу купить сигарет. Было жарко, и окно было открыто, и Литлик, не утерпев, выпрыгнул из машины и полетел за ним. И – прямо под колеса мчавшегося автомобиля.

Потом – при Гурале, который жил очень долго, была у нас еще такса Тюфка, мамина личная собачка. Тогда же были и кот Плётчих – черный и загадочный. Еще были пять ужат, сантиметров по десять, их принес откуда-то мой брат. Они прожили недолго, поскольку вскоре уползли через дырочку в ванной в соседнюю квартиру, где жил с семьей драматург Салынский, и мы не могли понять, куда они делись. Через какое-то время жена Салынского Раиса жаловалась моей маме, встретив ее во дворе:

– Ты не представляешь, какой у нас ужас! Раньше у нас были тараканы. А теперь завелись огромные черви. Я просыпаюсь ночью, сую ноги в тапочки, а они оттуда так и лезут, так и лезут! У вас ничего такого нет?

Примерно тогда же у нас был и удав-детеныш, длиной всего около метра. Его привез контрабандой мой папа с острова Мадагаскар. Он ездил туда с каким-то авантюрным доктором зоологии, который и раздобыл там для себя и для папы парочку удавчиков и научил папу, как контрабандой перевезти своего змееныша через границу. У него были еще в Москве заготовлены узкие кожаные чехлы, вроде тех, в которые вставляют зонтики, только длиннее. Туда запихивается юный удавчик, и после этого чехол закрепляется на поясе под пиджаком или курткой. Единственная и весьма существенная сложность состоит в том, что всю дорогу, пока самолет летит из Татанариве в Париж, а потом из Парижа в Москву, сидящий с удавом на поясе не должен прислоняться к спинке кресла, но держать спину прямо, чтобы не придавить малыша. Так папа с доктором зоологии и летели много часов, сидя на самом краешке самолетного кресла,

напрягая спину и отказываясь от еды, чтобы откидным столиком не придавить невзначай малыша.

Это был чудесный ручной удавчик – милый и безобидный. Папа придумал ему имя – Удав Задушевнов. Мой брат-школьник оборачивал его несколько раз вокруг шеи и так гулял по улицам, заходя в магазины. Но магазинная публика, получившая возможность разглядеть его вблизи, воспринимала его как заграничный рукотворный предмет, импортную новинку, игрушку и, перемигиваясь, восклицала в восторге:

– Ишь, как делают! Умеют! Научились!

Прожил он у нас около полугода, питаясь кусочками мяса и молоком, а потом исчез. Просто не было его нигде – может, тоже к Салынским уполз, может, сполз из окна по стене и скрылся в парке.

Жили у нас в ту же пору или чуть позже и черепаха Пушок, и Ежик, который исправно гадил мне на учебники и тетрадки, стоило мне лишь уронить их со стола на пол, жили и длинношерстные морские свинки Пентюх и Пентюха, а потом еще и две белки – Белла и Боря: это мама назвала их так в честь Ахмадулиной и Мессерера, с которыми водила дружбу.

Но главное – была у нас обезьяна, зеленая мартышка Кика. Ее подарил папе его друг-африканист, у которого этих мартышек было множество, так что вся его квартира, по крайней мере, две комнаты из трех, была переоборудована под обезьянник. Жил у него даже павиан, который, когда гневался, распахивал холодильник и кидался в хозяина яйцами. Жена африканиста – актриса, если бывала дома, не рисковала выходить из своего будуара и запирала туда дверь, уходя. Но павиан, видимо, что-то подглядел, выследил, скумекал и все-таки туда пробрался, уселся за ее трюмо, на котором были разложены всякие там баночки с кремами, пузыречки с лосьонами, флакончики с духами и коробочки с гримом и пудрой, и тщательно этим всем загримиривался, а заодно и запудрил всю комнату. Вот после этого африканист и принялся «распределять в хорошие руки» своих питомцев. На павиана даже мой папа не отважился, а молоденькую мартышку взял.

Мы сделали ей лежбище, расширив подоконник плексигласовым щитом – там она пребывала, когда никого не было дома. На ней был пояс, к которому крепился поводочек, а его уже мы цепляли за трубу отопления. Зато когда кто-то был дома, Кика разгуливала повсюду: она восседала на столе, когда мы ели, спала на диване, прыгала по шкафам и особенно любила, примостившись у кого-нибудь на плече, встать на задние лапы и изящными черными ручками искать у него в голове. Она раздвигала волосы, что-то такое там вдруг выхватывала, вылузгивала, выщелкивала и отправляла себе в рот. Создавалось впечатление, будто голова ее подопечного кишит насекомыми, а для нее это являлось выражением высшего расположения к человеку.

Но были люди, к которым она почему-то вдруг проникалась отчаянной неприязнью. Тогда она принималась часто-часто подпрыгивать на одном месте, устрашающе высовывать язык, как бы пугая, выкатывала глаза, издавала боевой клич, и если мы не успевали вовремя ее схватить на руки и успокоить, она с диким криком кидалась на противника. Тот в ужасе трепетал и ретировался. Невозможно было определить признак, по которому она отличала «своих» от «чужих», и кто именно мог рассчитывать на ее расположение. Может быть, она мгновенно реагировала на какой-то фермент в людях, выделяемый в них невольным чувством брезгливости, трудно сказать. Но один раз от нее крепко досталось одному африканскому толстячку – то ли советнику, то ли атташе по культуре одного из посольств.

– Кика, Кика, это же твой земляк, – на ушко уговаривала ее я, цепляя за поводок, но она тряслась от негодования.

Со временем она научилась своими ловкими пальчиками этот поводок отстегивать и, войдя в сговор с остальными, законопослушными зверями, в наше отсутствие проникала на кухню, взбиралась на холодильник, на котором всегда что-то размораживалось на большом блюде – рыба, курица, мясо, делила на всех добычу, отрывая по куску и кидая стоявшим тут же в радостном, но робком ожидании собаке и коту. Если им удавалось поймать кусок на лету, она скакала на задних лапах, хлопая в ладоши и напоминая футболиста, который забил гол. Если же кусок падал на пол, она раздраженно чесала под мышкой и

издавала пораженческий стон.

Брат мой тогда, еще будучи школьником, снимался в кино, и мама возила его на съемки, иногда в другие города. Папа тоже часто уезжал в командировки, и я оставалась одна. Ко мне приходила моя подружка, с которой мы быстренько делали уроки, а потом вели всякие пространные беседы о жизни, писали стихи, сочиняли всякие сценки и веселились.

И вот как-то раз, когда родители и брат были в отъезде, мы пришли из школы, бухнули портфели на стол в родительской комнате, где жила и обезьяна, и засели за уроки. Кика, отцепив поводок, пришла к нам, расположилась возле тетрадей и с благожелательным интересом наблюдала, что это мы там корябаем на листочках. Она задела один из учебников, он упал на пол, подружка нагнулась за ним, Кика спрыгнула вниз и вдруг... Вдруг она увидела ноги моей подружки в ярко-красных колготках. Она издала возмущенный клекот, яростно запрыгала на одном месте, затрепетала своим неистовым язычком и кинулась на эти кричащие ненавистные колготки. Подружка моя завопила и убежала на кухню. Я взяла Кику, и она, дрожа всем телом, прильнула ко мне и выразительными жестами стала мне объяснять, что так – нельзя, что это – возмутительно, что она разгневана, уязвлена и оскорблена этим безобразным цветом, этими бесстыдно красными ногами, а заодно и их обладательницей. Я погладила ее, успокоила и отнесла на подоконник, пристегивая поводок к пояску. Но замок на нем был уже так расшатан, что он и сам тут же расстегнулся. Тогда я вспомнила, что со времен сокола, который тоже некогда жил у нас, на балконе хранится большая клетка, и решила, что пока мы здесь будем делать уроки – о, совсем недолго! – Кика может посидеть и в клетке. Поэтому я достала эту тяжеленную клетку, в которой мог бы поместиться и павиан, втащила ее в комнату, распахнула дверцу и с нежным лепетаньем «Кикочка, Кика» попробовала заманить мартышку туда, но она никак не заманивалась. Тогда я, недолго думая, усыпила ее бдительность, сунув ей в ручку какой-то блестящий сувенирчик, стоявший у родителей за стеклом в книжном шкафу, и единым быстрым движением попыталась запихнуть ее туда насильно. Но не тут-то было! Она мгновенно вывернулась у меня из рук, пронзительно закричала от обиды, от моего предательства и – кинулась на меня.

Когда на тебя бросается собака – это понятно, хотя и страшно. Но когда на тебя стремглав налетает, скаля зубки и делая гримасы, маленькая, величиной с кошку, зеленая мартышка, гибкая в членах, неуловимая и непредсказуемая – это жутко, это какой-то атавистический, древний ужас, ибо ты не знаешь ни чего от нее ожидать, ни как от нее защититься...

Поэтому я просто заорала во все горло и метнулась по стопам моей подружки на кухню. Мы закрыли дверь и упали на табуретки, пытаюсь прийти в себя.

И тут – в огромном стекле кухонной двери возникла она. Взор ее был хмур и безжалостен. Судя по всему, она жаждала расправы, хотя и держалась вполне спокойно. Но вот она прильнула лицом к стеклу, разглядела красные ноги, и шерсть на ней встала дыбом. Мы вдруг увидели, как дверь поддалась и маленькие черные ручки – ручки этакого убийцы – пролезли в образовавшуюся щель, заходили по ее краю, пытаюсь и вовсе ее, потянув на себя, открыть. Волосы зашевелились у нас на головах...

Я кинулась к двери и, поскольку на ней не было ручки, чтобы покрепче ее закрыть, просунула под нее пальцы и рванула к себе. Щель исчезла, черные ручки вернулись к обезьяньей груди, сложились в кулачки, и Кика выразительно потрясла ими над головой.

Так мы и просидели весь вечер на кухне, даже и заночевали прямо там же, на раскладном кресле, пока утром нас не освободила мама, прилетевшая на несколько дней со съемок.

Кика кинулась к ней, обняла, прижалась к груди и принялась бурно жаловаться, показывая головой в нашу сторону.

Мы же выбрались на волю, погуляли с собакой, собрали портфели, так и пролежавшие всю ночь на столе, и отправились в школу. Там у нас было строго: если ты не выучил урок, ты должен еще до его начала подойти к учителю и предупредить об этом, объяснив уважительную причину. Но если ты не предупредил, а тебя вызвали к доске, то какие бы резоны ты потом ни приводил, тебе непременно вкатят «двойку». И

поэтому мы подходили перед каждым уроком и говорили:

– Мы ничего не выучили, потому что нас до самого утра преследовала обезьяна, и мы просидели всю ночь, запершись от нее на кухне.

Впрочем, вскоре и моей маме пришлось пускаться в столь же дурацкие объяснения в паспортном столе, поскольку Кика разорвала ее паспорт.

– Гражданочка, а почему у вас паспорт в таком безобразном виде? Вы знаете, что за это положен штраф?

А мама объясняла:

– Так это обезьяна порвала. Какой штраф взыщешь с нее?

А потом наступило лето, и все мы разъехались кто куда. Мама с братом – на съемки, папа – в Африку, а я – к тетке. И обезьяну отдали на побывку ее бывшему хозяину-африканисту. Он с радостью принял ее на постой. Но когда мы через месяц явились к нему, чтобы ее забрать, она вдруг заметалась и прильнула к другой, точно такой же зеленой мартышке. И так они сидели, сцепивши руки, и подозрительно смотрели на нас.

– А это еще кто такой? – строго спросила мама.

– Муж, – развел руками африканист. – Я бы не разлучал их... И потом – вы умеете принимать у обезьян роды?

И мы уехали ни с чем.

## 15

Потом, после Кики и Плещиха, который убежал, спрыгнув с балкона, была у нас плодоносящая кошка Ксантиппа, как-то самопроизвольно зачинавшая детенышей, и мы вечно кого-то одаривали котятами. «Мадемуазель Кус-Кус», воспетая поэтом Вознесенским, – нашего рода. После Гуралья у родителей появились два добермана, обласканные и обцелованные и потому совершенно бесполезные для несения сторожевой службы. Я помню, как однажды на Красной неделе, сразу после Пасхи, я поехала в Переделкино (родителям тогда только-только дали там литфондовскую дачу) поздравлять моего друга-иеромонаха, который служил в Преображенской церкви. Дело было к вечеру, я постояла на службе и потом преподнесла ему пасхальные гостинцы. Он сказал:

– Ко мне приехали гости – братья из далекого монастыря, так что пошли ко мне праздновать.

А надо сказать, что праздновать с монахами – очень хорошо. Во-первых, весело – у них всегда в душе есть что-то детское, непосредственное, незадубелое от нашей житейской взрослой жизни, волочащей человека, порой мордой вниз, по праху земному. А во-вторых, они и празднуя – богословствуют.

В общем, за этой дружественной трапезой время, как говорится, промелькнуло, и я опоздала на последнюю электричку. Денег на такси – нет. А у родителей, как было мне известно, в этот день собиралось множество гостей – и мой брат с семьей, и друзья, и все – с ночевкой. Так что для меня там точно бы не нашлось «где главу преклонить».

– Ничего, – сказала я своему другу-иеромонаху. – Все же я могу там у родителей на кухне пересидеть до первой электрички.

– Вот и хорошо, а мы тебя проводим. И они пошли меня провожать.

Но Пасха была ранняя, подмораживало, и мы, обольщенные солнышком, с утра наобещавшим всем земным тварям – разнеживающее тепло, так продрогли в своей одежонке, что аж зуб на зуб не попадал.

– Ладно, – сказала я, когда мы, дрожа, остановились у родительских ворот, – пошли греться. Окна уже темны, видимо, все уже улеглись спать, но я буду не я, если родители заперли на ночь дверь.

И точно, дверь была открыта, мы вошли, расселись на теплой кухне, поставили чайник, достали из холодильника снедь и продолжили пир. Дом, со всеми насельниками, гостями и доберманами, спал

безмятежным пасхальным сном.

Так мы просидели в непринужденной беседе часов до шести утра, когда уже выглянуло солнышко и в его рассветных лучах послышался перестук далеких поездов, помыли посуду и ушли, никем не замеченные, с легким пасхальным песнопением на устах. Так никто из ночевавших в ту ночь на даче и не узнал, какие там гости пировали посреди их снов... У святых – бывало, львы возили воду на спине, а у нас, каких собак ни возьми, ни одна не охраняла дом: дрыхли себе без задних ног, что бы ни было, в ощущении полной безмятежности и блаженства, нежась в лучах любви и летая во сне...

## 16

Так вот, как только родители переехали в Переделкино, они стали обрастать все новыми и новыми питомцами. В один прекрасный день папа привез с птичьего рынка двух белых китайских гусей – Цезаря и Клеопатру. Китайские гуси – точно такие же, как наши, отечественные, деревенские, только раза в четыре больше. Когда такой гусь вытягивает ввысь шею, голова у него оказывается на уровне моего подбородка, а я все-таки не такая маленькая. А когда они распахивают крылья, то ширина размаха равна моим объятиям. У них огромные лапы, крепкий клюв и зычный голос. Когда такой гусь идет на тебя по лесной дорожке, воинственно гогоча, бесстрашно вскидывая клюв и хлопая крыльями, становится страшно – тем более что за убегающим он сразу пускается в погоню. А если за тобой несутся два таких гуся, то, конечно, никакие собаки для охраны дома уже и не нужны. Папа поселил их в сарае, свил им там гнездо, а на зиму включал для них рефлектор. Каждое утро, принося им корм, он тщательно обследовал весь сарай и ликовал, если находил снесенное за ночь яйцо. Тогда он загонял Клеопатру, красовавшуюся уже на свежем воздухе, обратно в сарай и заставлял ее высидеть это яйцо. И один раз он все-таки добился своего – из яйца вылупился гусенок, которого назвали Антоний. Вскоре он перерос папашу и развернул на наших глазах древнегреческую трагедию, принявшись ухаживать за своей маменькой Клеопатрой, а старика Цезаря побивать, пока не заклевал его насмерть.

Помимо гусей у родителей жил козленочек Пегас, который в конце концов превратился в огромного козла. Поскольку он поначалу был такой трогательный и беззащитный, родители поселили его в доме, где он сразу освоился, запрыгивал на диван, а потом и на стол, где ел что попало и пил из всех емкостей, и вообще проявлял навыки козла высокогорного. Жевал же он все, что попадалось ему на глаза – велосипедные запчасти в специальной сумочке из кожезаменителя, обувь, занавески, покрывала, коврики. У одной знатной американки, легкомысленно согласившейся попить с нами чаю, он моментально сгрыз кокетливые розочки на кожаных туфельках, пока она под столом покачивала ножкой в этой туфельке – покачивала сначала одной ножкой, потом другой.

И вот когда этот милый Пегасик постепенно сделался уже преизрядным, настоящим вонючим козлом, папа решил его переселить в сарай к гусям, но не тут-то было: он все время рвался в дом и бодал рогом дверь.

Тогда наш дорогой владыка, у которого и в Москве, и под Москвой были верные чада, предложил нам завести еще и козочку, чтобы козлы жили семьей в специальном загончике, мирно паслись на травке, коза поила бы нас целебным молоком... А такая коза «на выданье» как раз, оказывается, была у одного из подмосковных духовных детей владыки, и сам этот хозяин козы вызвался перевезти ее из-под Загорска в Переделкино. Но, как назло, в Москве у него сломалась машина, в которой сидела коза. А дело шло к ночи. А коза в сломанной машине уже мятется. И вот видит этот хозяин козы, что стоят они прямо возле дома одного благочестивого человека, составителя и редактора житий святых, старого знакомого нашего владыки. Дай, думает, зайду.

Поднялся к нему:

– Мил человек, или козу мою до утра у себя передержи, пока я машину не почию, или сам на своей

машине отвези ее в Переделкино.

Но этому благочестивому человеку было жалко своей машины для козы, и он предпочел впустить ее в дом и поместил ее в ванне. Они сена ей туда накидали, капусты, морковки. Но она от ужаса там так и померла...

## 17

Вместо козы у моих родителей появился огромный вороной конь Вамбат. За ним тянулась трагическая история, и папа отдал ему свой гараж. Конь этот принадлежал англичанам, снимавшим дачу где-то неподалеку, в Переделкине же. И с молодым хозяином случилась беда: он попал в аварию и погиб, а жена его с маленькими детьми тут же уехала в Англию и коня бросила на произвол судьбы. Его взяла себе девушка-лошадница, которая ухаживала за ним еще при хозяине. Но сама она жила в крошечной квартирке в Солнцево, и коня ей решительно некуда было деть. И вот, проходя мимо дачи моих родителей и увидев через заборную хилую сетку вольготно разгуливающих гусей, собак и козла, она, набравшись храбрости, вошла в дом и попросила приютить еще и осиротевшего бездомного коня с тем условием, что сама будет его поить-кормить, чистить и выгуливать, а кроме того – научит нас всех на нем скакать.

Ну, мою десятилетнюю младшую дочь она действительно научила – та бесстрашно вскарабкивалась на него, подставив стремянку, и, натягивая поводья, по-хозяйски прищпоривала его пятками. Вскоре и я попросилась покататься и довольно неуклюже, как-то «по-бабьи», на него взгромоздилась, с ужасом обнаруживая, что земля осталась слишком уж далеко внизу. Но девушка ласково потрепала коня по морде, сунула ему в зубы кусок сахара, и мы двинулись за ворота. Я уловила ритм его движений, забрала поводья и, плавно покачиваясь в седле, как настоящая наездница, двинулась по дорожке, сделав девушке знак рукой, что справлюсь и без нее. Тем более что моя младшая дочь шла рядом с конем и от нее исходили уверенность и сила.

И тут я увидела, что впереди, по той же дорожке, удаляясь от меня, в своем неизменно белом летнем костюме идет Вознесенский.

– Андрей Андреевич, – окликнула я его. Мне так хотелось, чтобы он (или кто-нибудь другой, кто угодно) увидел меня сейчас – непринужденно гарцующей на вороном прекрасном коне. Словно это для меня так обычно, словно это я так всегда, даже и не стоит и удивляться, а что такое?

Но он не только не обернулся на мой зов, но и свернул в калитку Дома творчества. Я поскакала за ним. Что ж, Дом творчества – для моего замысла самое подходящее место – там как раз время полдника, писатели напились чайку, теперь прогуливаются... Почтеннейшая Анастасия Ивановна Цветаева, даже по летнему времени в пальто и ботах, с подружкой Куниной, и в старости оставшейся этакой «интересанткой»... Марлен Кораллов – старый лагерник, окрепший в борьбе. Евгений Михайлович Винокуров – мой учитель еще по Литинституту. Липкин с Лиснянской – трогательная парочка. И тут я, вносящая заметное оживление в писательские будни – с развевающимися белыми волосами ниже лопаток на вороном коне:

– Как поживаете, Семен Израилевич? Что пишете, Инна Львовна?

Мы свернули с дороги, и я, пригибая голову к самой гриве, едва вписалась в калитку – так огромен был мой прекрасный конь. Проехали вальяжно по аллее к главному корпусу – хм, никого! Продефилировали к беседке – ни души. Потоптались перед крыльцом – Дом творчества будто бы вымер. И Вознесенский куда-то пропал. Так ни с чем и отправились через главные ворота: может, хоть там кто-то есть... Но и там – тишь да гладь. Что ж, придется еще раз сюда приехать – тем паче что теперь можно хоть каждый день так вот гарцевать, а там, глядишь, и скакать при луне по знаменитому пастернаковскому полю – туда-сюда, туда-сюда!

Направились вдоль этого поля к себе. Конь изредка останавливается, голову опускает к земле, травку

щиплет. Вокруг птицы щебечут. Дочь моя – десятилетняя, румяная – землянику в канаве ищет. Покой разливается в природе. Солнечные лучи пронизывают верхушки сосен насквозь... И вдруг – с поля раздалось зазывное и радостное лошадиное ржанье. Я повернула голову: вдали паслась деревенская кобыла и вот, увидев нашего Вамбата, этакое красавца, вострубила и понеслась к нему. Но и наш возмутился духом. Вскинулся вдруг, ушами запрядал, стал раздувать ноздри, копытом бить и вдруг как встанет на дыбы да как заржет ей в ответ! У меня аж в глазах потемнело, дыханье сперло, ухватила я его за шею – вот-вот сорвусь. А он опять – бах на передние лапы и снова копытом бить. Напрягся весь. Чувствую – сейчас в пампасы рванет, примериваюсь уже, как бы мне половчее с него упасть. И тут моя десятилетняя дочь хватает поводья, повисает на них, то есть попросту «коня на скаку останавливает», как заправская русская женщина, а мне командует:

– Скорее слезай, я его не удержу.

Ноги у меня подкашиваются, одна вообще в стремях застряла, кое-как я выпуталась, оставив сандалию прямо там, свалилась бесформенным кулем, с босой ногой, а конь вырвался наконец и умчался в даль. Девушка-лошадница долго потом его ловила, лишь к утру привела в гараж.

В общем, порой этот Вамбат заставлял нас потрепетать. Обычно девушка уводила его пастись на дальние пастбища, но порой просто привязывала где-нибудь на участке, и он мирно щипал траву. И вот в какой-то момент он начинал скучать и пробовать свою силушку. Ретивое в нем взигрывало. И тогда он срывался с веревки и начинал носиться вокруг дома, резвился. Собаки его панически боялись. Гуси забивались в сарай. Козел отсиживался под кустом. Ну и нам приходилось сидеть в своем убежище, пока не появлялась его девушка-лошадница и не умирляла его.

А потом папа умер, и кончилась эта жизнь. Девушка продала Вамбата новым русским, козла мы с братом отдали крестьянину с козами, а гусей – Антония и Клеопатру – селянину с гусями. Кошек, которых расплодилось великое множество, подкинули в детский туберкулезный санаторий, оставили себе только собак да белую крысу, которую моя младшая дочь отбила у злобных мальчишек. Она принесла крысу домой, сама пошла купить ей что-нибудь вкусненькое и оставила мне записку: «Мама, крысу не бойся. Она дико ративная».

## 18

Итак, неделя. Неделю всего-то мне и надо пережить, чтобы дождаться моей радости, вот уж действительно «нечаянной», моей золотой собачки. Будем считать, что я ее отдала сыну просто погостить: пусть там пообщается с людьми, с кошками, поиграет, побегает, ей же у меня скучно. Вон зашла ко мне моя соседка Людочка:

– Я пришла познакомиться с твоей овчарочкой, чтобы она с самого детства ко мне привыкла, знала, что я – своя. А то она вырастет и будет меня кусать.

– А нет больше собачки, – сказала я, чувствуя, как защемило мне сердце. – Отдала я ее. Сыну.

– Да? Ну что ж, и правильно. Ты же надолго так уезжаешь из дома, а как она тут одна? У меня у дочки такая же история – собака без нее тоскует, грызет все: провода, стулья, занавески, сапоги... Но дело даже не в этом. Говорят, у собак от одиночества развивается невроз. Заболевают они.

– Да? А я как раз хочу ее через неделю обратно себе забрать. Тоскую очень. Плачу, белугой реву.

– Ну это я могла бы понять, если бы ты была одинокая женщина... Это нормально. Но у тебя – столько деточек, столько всего!

...Что ж, вот и хорошо, если Тутти побудет несколько дней в мастерских у сына: там много людей, это ей прививка от невроза. А потом она вернется домой. Увидит меня, запрыгает, перевернется на спинку, подставит животик: сдаюсь! Я твоя! Я ее возьму на ручки, поцелую, посажу в ванну, вымою, вытру, и она уснет у меня на коленях, сладко повизгивая. И не надо тут мудрствовать лукаво! Если Господь мне через

дорогого владыку эту собачку послал, то и вся моя жизнь как-то само собой выстроится с учетом ее присутствия.

А тут опять Лилия Семеновна – вдова поэта Чичибабина из Харькова звонит:

– Ну что, вы приедете? Я хотела сказать ей:

– Нет, к этому времени уже Тутти вернется, не с кем ее оставить!

Но вдруг подумала – а если бы это я вечер памяти моего отца устраивала и второй год просила бы приехать на него какого-то человека, а он бы все отказывался и ссылался на то, что завел собаку, – как бы я была оскорблена!

– Конечно, приеду! Ждите меня!

Ну вот, снова здорово. А куда собаку? А собачий невроз? Ах, Тутти, Тутти, ты – это выбор образа жизни, выбор судьбы...

## 19

Вспомнила я ту, прежнюю, жизнь – и какой же радостью на меня пахнуло из родительского дома: вокруг советская власть, а там – рай, рай! В Поганкиных палатах в Пскове я видела икону рая: Адам и Ева разгуливают, блаженные, в окруженье домашних зверей и птиц – козы там вокруг них мирно пасутся, лошади, гуси, и Бог взирает на Свое творенье, которое «добро зело».

А Христос, Который в Евангелии поминает змей и голубей: «Будьте мудры, как змии, и просты, как голуби»; небесных птиц: «не сеют, не жнут, не собирают в житницы, и Отец Небесный питает их»; указывает на овец: и ради такой – одной-единственной, заблудшей, паршивой, можно сказать, овцы пастух бросает все стадо и отправляется ее искать – иногда в ночь, по горам, и радуется, ликует, когда найдет! Говорит Он и про осла с ослицей: «Они надобны Господу»!

Но есть и хищники, от которых Христос предостерегает Своих учеников: «...посылаю вас, как овец среди волков». Или: «Скажите этой лисице, Ироду...» И еще Он предупреждает: «Остерегайтесь же людей» – Евангелие от Матфея, глава десятая, семнадцатый стих.

А ведь как я порой отчаянно сопротивлялась, видя совсем другую картинку: с погрызенной мебелью, изодранными колченогими стульями и диванами, на которых так налипла шерсть, что она при малейшем касании цеплялась к одежде – вечно я ходила, обирая с себя волоски, будто вывалялась в собачьей конуре. Ах, как порой меня раздражал этот дом, который невозможно было убрать: как ни чисти его, как ни мой, а все равно – черный от стершегося лака паркет, отодранный от пола или потертый линолеум, заляпанные обои в жирных пятнах. После целого дня упорных трудов в поте лица, надраиванья полов, пылесоса, заделыванья дыр и маскировки лохмотьев эффект был столь мизерен, что, встречая гостей, невозможно было удержаться от сконфуженного восклицанья:

– Ой, простите, у нас сегодня совсем не убрано!

Словно обычно у нас все блестит и сверкает чистотой и порядком, а сегодня – увы! – мы все испачкали, набросали, порвали и растоптали.

В тайне, подспудно, я с подросткового возраста сопротивлялась этой родительской распахнутости и, прости меня Господи, безалаберности. Этому огульному, просто грузинскому гостеприимству: заходи, дорогой, гостем будешь! Впрочем, я и сама, несмотря на это внутреннее сопротивление, вносила сюда свою лепту: вечно у нас, еще в двухкомнатной квартире на Кутузовском, кто-то гостил, ночевал, жил из числа моих друзей. То это были мои приятели-аспиранты из Тбилиси, которых я широким жестом пригласила пожить у нас, пока они не снимут квартиру, и они больше месяца жили в комнате с моим братом, а я ночевала на раскладном кресле на кухне, то это были какие-то мои несчастные подруги, пребывавшие в конфликте со своими матерями, то поэтесса из Харькова, приехавшая подавать стихи на творческий конкурс в Литературный институт, то девочки из Ленинграда. А потом уже, когда я вышла замуж и мы стали жить с

моим мужем и детьми, с родителями и моим братом, а потом и его семьей в большой квартире в Астраханском переулке, ночевавшие гости у нас вообще не переводились: кто-то где-то у кого-то ночевал. У нас в эту пору это были в основном переезжавшие из монастыря в монастырь монахи, у моего брата, который учился в Щукинском училище, – загулявшие молодые актеры, у родителей – иногородние друзья, родственники из Ленинграда, гости из Варшавы. Порой дело доходило до того, что в ванной или на кухне можно было в любое время дня и ночи встретить абсолютно незнакомого человека и при этом не выказать ни удивления, ни подозрения. Так к нам запросто мог бы, как на свадьбу, где друзья жениха не знают друзей невесты и наоборот, затесаться какой-то совсем посторонний, чужой человек с улицы и обрести здесь на долгое время и кров и стол.

Но однажды мама сама привела в дом такого уличного бездомного человека: он исхудал, почернел, оброс щетиной, был голоден до лютой, оборван и буквально смердел. Но мама сказала отцу:

– Ты же его не выгонишь, он – фронтовик! Его кто-то преследует, надо его спасти.

И папа смирился. А мама, прямо с порога, как евангельская героиня, усадив его в кресло, собственноручно вымыла его ужасные ноги в тазике с бадузаном и – ручаюсь! – вытерла бы их длинными волосами, если бы таковые у нее имелись, накормила борщом и котлетами, налила рюмку, дала папину чистую рубашку с брюками и носками, и к ужину он, успев принять ванну, выглядел уже вполне сносно. Так он прожил у нас недели две, рассказав свою печальную повесть о том, как его родственники, позарившись на его комнату в квартире, поместили его в сумасшедший дом, откуда он сбежал, приехал в Москву, где и погибал от голода и холода, пока его не подобрала мама.

И вот, несмотря на такие потрясающие истории, что-то во мне протестовало против всего этого смерча, вихря, который постоянно крутился у нас в доме, против шатких кресел с отломанными ручками и книжных шкафов, которые кренились набок, против вырванных с корнем розеток, перегрызенной проводки, пятен, подтеков, закамуфлированных, правда, маминым роскошным зимним садом, который и по стенам и по потолку тянул свои вечнозеленые отростки и время от времени взрывался то красными цветками, то желтенькими лимончиками. Все у нас как в фильмах Чаплина: сел на стул, а ножка – бац – и ты на полу: как смешно! Или хлопнул дверью, а картинка, болтавшаяся на расшатанном гвозде, тебе на голову – хряп! – ха-ха-ха.

Мне хотелось, как бы это выразиться, – эстетизма, несмотря на то, что заходивший тогда к нам довольно часто и всегда почему-то с неизменной черемшой и перчиками наш друг Лева Рубинштейн уверял меня, что человек, имеющий детей, не может быть эстетом.

Ну ладно, пусть не вполне эстетом. Пусть просто человеком, который проснется утром в чистой, изящно убранной комнате, спокойно умоется холодной водой, выпьет в тихом созерцании чашечку кофе из тонкой чашечки, сядет за письменный стол, где аккуратной стопкой лежит писчая бумага, а рядом в стаканчике возвышаются отточенные простые карандаши и ручки, симметрично им располагается тяжелая лампа, а чуть поодаль ждет своего часа расчехленная пишущая машинка. И чтоб к этому его письменному столу никому больше не было доступа. Вообще лучше, чтобы это был отдельный кабинет, который бы запирался изнутри на ключ, и этот, в принципе, невзыскательный, неприветливый, человек там бы сидел и творил, игнорируя требовательный стук в дверь поденной заботы. Вот лично я так бы и сидела там и неделю, и две, не выходя, а пребывая в затворе.

И вот в таком подвиге отречения от всего житейского, в таком суровом воздержании и бдении я, возможно, и смогла бы восходить к творческим вершинам и создать когда-нибудь «прекрасное» из этой «тяжести недоброй».

А вместо этого я работала по ночам на кухне, дождавшись, когда наконец все кто в доме – и свои, и чужие – улягутся спать. На этом столе – и от своих, и от чужих – всегда оставалась немытая посуда – горой. Какие-то грязные кастрюли, закоптелый чайник. Я это все брала в охапку, переносила в мойку и, смахнув крошки, усаживалась писать.

Нет, конечно, бывали дни, когда и я, и мой брат, и даже мой муж, не вытерпев хаоса, выходил на бой с этим царством разгулявшихся грязных обнаглевших вещей. Но результаты оказывались столь мизерными, эфемерными и краткосрочными, а усилия столь громадными, что, казалось, и не стоило затеваться: тут же кто-то приходил, ел-пил, оставлял следы грязных ботинок, пепельницу, полную окурков, пустые бутылки, сломанный стул. Но вообще-то всегда бывало так весело! Этакая итальянская семья, где повсюду сушатся пеленки, простынки, и все говорят разом, одновременно, громко и экспансивно. Теперь уже, в принципе, и не так важно что...

## 20

Так вот – мечтала я все-таки о другой жизни. Суровой жизни в кропотливом и безмолвном писательском подвиге, совершающемся в разряженном воздухе высокогорных вершин и дистиллированной тишине: ничего страстного, плотского, человеческого – только «горних ангелов полет» да «гад ночных подземный ход».

Думаю, желание это родилось во мне не само по себе, а как некое «сопутствующее обстоятельство» в моем отчаянном сопротивлении материнской власти.

Мать моя была женщина исключительной красоты, блистательного красноречия, баснословной энергии («От тебя могла бы работать целая электростанция, которой хватило бы на областной центр», как говорил ей со смехом Давид Самойлов), которая стала иссыхать у нее только под конец жизни, могучей витальности и очевидного филологического, а может, и писательского таланта, так и не воплотившегося, что, на мой взгляд, составляло ее личностную трагедию. Это беда всякого «растекающегося», «нецентрированного» человека. Ибо неупорядоченная душа сама несет в себе наказание. Но она пыталась этот талант воплотить в самую жизнь, и это не всегда удавалось, а кроме того – в ней все равно оставался его избыток, который она расплескивала туда и сюда в силу своего бурного темперамента, и буквально ошпаривала всех, кто оказывался рядом, была током. Когда-то в юности она, бросив на четвертом курсе иняз, пошла работать в «Комсомолку» разъездным корреспондентом, писала репортажи о Крайнем Севере, ела там горячие оленьи мозги, приготовленные в расколотом напополам оленьем черепе, и даже получила журналистскую премию вместе с Алексеем Аджубеем. Потом она вышла замуж за папу, началась «оттепель», и она, бросив работу, закружилась в вихре светской жизни, ринувшись в нее от всей души.

Она любила покрасоваться – тем более что красота ее буквально «зашкаливала» на советском фоне, это была настоящая, потрясающая, «голливудская» красота. Красота уровня какой-нибудь Греты Гарбо, если угодно – Мерлин Монро, кто там еще есть? Хоть кого назовите, я готова выложить материнские фотографии той поры, она всех за пояс заткнет. Поэтому она любила и наряжаться – все было ей к лицу. Она любила рестораны – ЦДЛ, Дома кино, ВТО, любила блестящих талантливых людей – Семена Кирсанова с его раскрасавицею молодой женой, Ахмадулину с кем угодно, Евтушенко, Вознесенского ну и т. д. Поэтому и дом ее был так хлебособен, весел, раскрыт для всех: «Жизнь – это вечный праздник!» Потом брат мой стал сниматься в кино – она ездила с ним на съемки, вкладывала свою энергию в него. Он играл во многих фильмах, подчас это были даже главные роли, но запомнилась всем одна – в «Бриллиантовой руке», где он – сын главного героя (Никулина) стреляет в Миронова из пистолета мороженым. Меня тоже брали на кинопробы, и я чуть было не снялась в фильме «Дневные звезды» с Аллой Демидовой. Я должна была играть там маленькую убиенную дочку Ольги Берггольц. Но что меня особенно привлекало, так это то, что главной героине, всякий раз когда она вспоминала свою дочку, мерещился убиенный царевич Димитрий, которого тоже должна была играть я: лежать в кроваво-красном камзолчике и высокой, отороченной соболем шапке во гробе с длинной свечой в руках. Но я как раз попала с больницю с тяжелой формой аппендицита, провалялась там два месяца и чуть было сама не угодила во гроб. И на роль царевича взяли другую девочку... Меня еще приглашали сниматься, но это были уже какие-то скучные советские девочки,

пионерки, и мне не хотелось. Кроме того, я как-то отчетливо понимала, что вообще это дело – не мое.

А потом я стала писать стихи, и мама живо подключилась ко мне.

А я – что? При всем при том, обиженный, между прочим, ребенок, брошенный, можно сказать. Когда мой брат родился – недоношенный, мне было четыре года. Мама тут же принялась его выхаживать, а меня отдала на пятидневку в литфондовый детский сад, а на лето – с этим детсадом в Малеевку на все три месяца. Директриса детского сада Елена Борисовна специально просила родителей меня в Малеевке не навещать: «Так она девочка хорошая, ровная, на музыкальных занятиях у нас поет, танцует, а как вы приедете, она все плачет, плачет, не хочет с вами расставаться». И вот я с такой сиротской челочкой, в веснушках, смазанные черты лица, блеклые краски, две туго заплетенные коски, казенное дитя, бесформенное, угловатое, выпихнутое прочь с дороги, чтобы не мешало. По ночам в спальне детского сада писательские детки рассказывают друг другу леденящие кровь истории, как у одной мамы пропала дочка, а потом мама купила кусок мыла и стала им мыться, а что-то ее вдруг царапнуло. Она пригляделась и увидела, что это – ноготок ее пропавшей дочки. Или – один мужчина имел семь жен, и все у него одна за другой умирали. Пришла милиция, и выяснилось, что он их щекотал и «защекотывал» до смерти...

Этакий я лен курящийся, трость надломленная, а мать у меня – красавица, яркая, сильная, непосредственная, энергичная женщина: говорит, и всё вокруг умолкает, прислушивается к ней. Кто – я и кто – она? Но, между прочим, когда меня мой духовник отец Ерм в 26 лет отправил в Пюхтицкий женский монастырь на покаяние и я жила там на правах послушницы, этот мой давний детсадовский опыт очень мне пригодился: и пахло там так же – и возле кухни, и в умывалке, и воздух так же сиял таинственным светом, и то же было пронзительное ощущение и сиротства, и в то же время присутствия Божьего, такое явственное ощущение, что ты и беспомощен, и нелеп, и мал, а Господь видит тебя, не спускает глаз...

В общем, не хотела я, чтобы мама подключала ко мне свои электроды, боялась я, что она меня сломает вместе с моими стихами. Трость эту об коленку с воодушевлением – хрясь! Лен этот курящийся – под ее напором – пшш! – и потух. И на всех этих останках мать моя – победительница, валькирия, Брунгильда с мечом, природный огонь в глазах! И потом – она любит стихи одних поэтов, а я – совсем других...

Короче говоря, я стала сопротивляться. Окружать себя завесами тайн. Семь покровов на себя положила, пеленами обернулась: «Настоящий поэт осторожен и скуп – дверь к нему изнутри заперта».

А кроме того, я уже ясно видела, что ее трагедия в том, что она – человек такой творческой силы – не имеет для нее точки приложения, расходует куда попало: устные истории какие-то застольные, колоритные житейские эпизоды, динамичные бытовые сценки, где угодно – дома, в подъезде, во дворе, на улице, в магазине, в ресторане, в поезде, на море, даже у меня в школе. И эта нерастроченная энергия обращается порой вспять и мучает ее саму. Терзает, ломает.

И вот я в глубине сердца решила, что у меня будет все не так. Я буду сидеть и работать, сидеть и работать. С запертой изнутри дверью. Такой был заложен во мне психологический механизм.

## 21

Ну что ж, теперь я понимаю, что подобный же механизм сопротивления материнским клише был заложен и в моей матери по отношению к своей. А у бабушки, как я полагаю, было то же самое по отношению к своей. Иначе зачем она, девочка из хорошей, благочестивой (ее отец – уже при советской власти, в коммуналке, где некуда было деться от чужих глаз, молился, закрывшись газетой), добропорядочной семьи, еще гимназисткой, учившей пять языков, рванула в революционное подполье, будучи распропагандированной каким-то большевичком: листовки разбрасывала с прокламациями.

Бабушка моя была журналисткой и в начале войны возглавляла огромный отдел ТАСС, даже руководила его эвакуацией в Омск. Бабушка тоже была невероятно хороша собой, но совсем иной – не киношной красотой, которую она к тому же никогда не осознавала и не подчеркивала. Она всегда одевалась

в темную одежду – лишь белые кружева на воротничке и груди, ни тени кокетства, ни грамма косметики, никаких украшений – лишь собственные крупные кудри. Мама как-то раз, мимоходом, даже вменила ей в вину, что она так старалась спрятать свою красоту, а ведь могла же после смерти мужа снова выйти замуж, а все – скромненько, незаметненько, деликатненько.

Бабушка не одобряла маминого образа жизни – с нарядами, пирами, ресторанами и учила меня скромности:

– Хорошая у тебя кофточка, – говорила она, – скромненькая.

И вот мама, выросшая в этой аскетической бабушкиной скромности, в доме, где не было ничего лишнего, где стояла допотопная добротная тяжелая мебель, висели строгие шторы и полы были надраены вонючей старомодной мастикой на скипидаре, наблюдая ее каждодневные труды – ранние вставания на работу, размеренные будни и редкие праздничные церемонные застолья, возжелала иного – пиров, фейерверков, ярких красок, сочных фруктов, безумных нарядов. Она даже пошла играть в какой-то народный театр, и у меня сохранилась фотография, с которой она глядит этакой сценической дивой. Якобы ее там даже заметил какой-то известный режиссер и приглашал играть на профессиональной сцене. Сейчас я не могу это уточнить для полной достоверности, но вполне в это верю. А когда она заканчивала иняз с немецким языком, к ней подкатили какие-то дядьки то ли из КГБ, то ли из разведки и предложили ей поехать в Германию и открыть там нечто вроде салона для русских эмигрантов, чтобы собирать о них сведения. Маме поначалу эта идея очень понравилась, поскольку она услышала лишь слова «Германия», «салон» и «русские эмигранты». Но бабушка, узнав от нее эту историю, помертвела: «Ты с ума сошла! Кем же ты там будешь? Доносчицей!» И мама тут же забрала документы из института, бросила народный театр и укатила разъездным корреспондентом «Комсомолки» на Крайний Север.

## 22

Так вот, жизнь свою мама устраивала шумно и бурно – в пику бабушке с ее порядком, воздержанием, скромностью и незаметностью. Вот и я сопротивлялась изо всех сил этим материнским слепым природным силам, этому культу бурно цветущей сиюминутной жизни, просто – жизни, опьяненной самой собой. Для мамы она состояла в самом этом эмоциональном переживании, в напряжении всех чувств, в ликовании, в негодовании, в словах и жестах, в динамичных картинках и драматических сценках, в столкновениях и отталкиваниях, в игре воображения, в общении с другими людьми, с живыми тварями, растениями, рыбами, птицами и даже ползучими гадами.

Но на самом деле, и я это болезненно ощущала, это было и море разлитое прущего отовсюду бессознательного, захлестывавшего мой хрупкий кораблик, грозившего сломать его высокие мачты и опрокинуть в свою пучину, и затянуть. Это была чутко дремлющая до поры буря, в завихрениях которой водились демоны, плясали призраки и гнездилась роковая деменция. А под всем этим мраком психического бурлили вовсе уж непостижимые законы биологической жизни, подрагивали, что-то жадно всасывая в себя, клеточные оболочки, вибрировали чуткие мембраны и диафрагмы, пульсируя, вырабатывались ферменты, шел метаболизм липидов и белков, слал свои сигналы хитроумный гипоталамус, сердце, мощно стуча, качало денно и ночью, словно насос, тоннами горячую кровь, перегоняло ее по нежным артериям туда-сюда, плясали огнеметные гормоны, надиктовывая свой язык, от высокой луны начинало ломить в турецком седле, и хрусталик вбирал в себя весь лучевой спектр, из которого потом причудливо складывались цветные сны.

А еще ниже, там, где уже почти геенские бездны бессловесного, верховодила и диктовала свои условия химия, щелочи ее, кислоты, соли и основания, хитрая валентность, к которой причастен еще со школьных времен какой-то хватистый и пронырливый ион аммония, кальций вымывался из костей и застревал почему-то в почках, высвечивалась вообще чуть ли не вся таблица Менделеева – натрий, калий,

магний, фосфор; то вдруг непонятно как выделялись какие-то «энзимы удовольствия», то извести почему-то забивала сосуды, и образовывал бляшки неведомый холестерин, и где-то здесь брал свои истоки папин диабет. Вот что такое на самом деле была эта «сиюминутная» жизнь! Прикрытая тонкой соломкой пропасть.

Всему этому надо было противопоставить Лицо. Подчинить Личности эту темную фабрику, этот подпольный завод... «А ну, – скомандовать, – все по местам!»

Именно в силу этого сопротивления я делалась каким-то метафизическим трудоголиком, и всякий труд, который не был сопряжен у меня с литературным, казался праздным дуракавалянием. Словно это корпенье над бумагой спасало меня от хищного зева природы со всем ее хаосом, который надо было загнать в слово, гармонизировать и преобразить в нем. О, как я стремилась к своему ночному кухонному столу и, наконец усаживаясь за него, словно сразу переходила в другую реальность, которая ограждала меня от бессловесных бурь, подземных толчков и вулканических извержений. Да ну этого Фрейда, я презираю его толкования, все это какая-то ложная этимология, шизофрения. Так ко мне пристал на одной конференции один филолог и стал доказывать, что слово «человек» произошло от двух – «чело», это потому что человек думает, и «век», это потому что он живет во времени.

Мне всегда казалось, что у меня отсутствует какой-то важный рецептор, даже и не рецептор – дело не в восприятии, а какой-то жизненно важный орган осмысления жизни, и я пыталась его компенсировать словесным усилием, которое было сопряжено именно с письмом. То есть, чтобы что-то понять, мне надо было это назвать, чтобы назвать, надо было это описать, и я подчас мучалась, подыскивая это название, захлебываясь хаосом, пока и его не начинала верить Логосом и именовать. Именно поэтому, когда я подолгу не писала, я внутренне надламывалась, мир смазывал свои черты, предметы размывали свои границы. Все плыло в каком-то душном мареве, не имея ни цели, ни достаточного основания, ни судьбы. Мелким сухим смехом похохатывала бессмыслица, и уныние с анемичным лицом и бесформенным ртом повторяло на все: «Ну и что?»

Тут для меня важно было и то, что мать моя была красноречива, как Цицерон, и прекрасно выражала себя в звучащем слове. Я же, напротив, была как-то искусственно косноязычна. Это приобретенное косноязычие имеет для меня довольно забавное объяснение. В десятом классе перед поступлением в Литинститут я брала уроки у замечательного учителя литературы Германа Андреева, который прославился потом как интеллигент, и как-то мы давали с ним речевые характеристики героям «Войны и мира». И выяснилось, что все «положительные» герои – Наташа Ростова, Пьер Безухов, Платон Каратаев, Кутузов – говорят сбивчиво, синтаксически путано, как-то неправильно, косноязычно. А герои «отрицательные», малосимпатичные – Берг, Анатолий Курагин, Элен, князь Василий – изъясняются складно, четко, режут как по писаному. И это как-то так в меня запало, что я стала стыдиться говорить ловкими длинными сложноподчиненными предложениями – я их вдруг искусственно обрывала и не договаривала, запинаясь, если вдруг получалось гладко, оставляла зазубрины...

А потом – и наш владыка тоже задал мне задачу. Мы сидели как-то раз с ним и рассказывали всякие истории. И вдруг он мне, прямо посреди моего рассказа, и говорит:

– Стоп! – и сделал паузу рукой. – «Я, я, я», – медленно и назидательно произнес он. – Продолжай.

То есть в том смысле, что я все время «якаю»: я, я, я...

Ну, и все это совершенно замутило мои речевые возможности. Мне было совсем непонятно, как можно обойтись без «я». Правда, мне знаком один архимандрит, бывший наместник большого монастыря, который называл себя «мы», но это порой создавало комические ситуации. Например.

Сам он втайне писал стихи, но признаться в этом ни за что не хотел, ему было неловко: мол, наместник, а занимается такими глупостями. И в то же время ему и интересно было о них поговорить, узнать чужое мнение. Поэтому он сказал мне, что стихи эти написал некий его знакомый, человек благочестивый, прихожанин, дал мне тетрадку, исписанную стихами, и назначил на следующий день встречу в беседке, где обычно монахи встречаются со своими родственниками.

– Мы будем вас ждать, – сказал он мне напоследок.

И я, разумеется, предполагала, что он будет там со своим прихожанином.

На следующий день, прочитав стихи, я явилась в назначенный час в беседку, где меня уже в одиночестве поджидал архимандрит Нафанаил.

– А мы уже здесь, – сказал он, благословляя меня.

– А где?.. – спросила я, оглядываясь по сторонам.

– Да здесь мы, – невозмутимо отвечает он, проводя обеими руками сверху вниз по своим бокам. – Слушаем вас внимательно.

Я опять беспокойно оглянулась.

– Мы полагаемся на ваш суд. Тут мне стало не по себе.

– Стихи-то хорошие, но вот форма чуть прихрамывает, рифма тоже... «уходя – меня» – нельзя так рифмовать.

Он достал блокнот и стал что-то записывать.

– Значит, так, вот что мы записали, проверяйте: подчистить форму, рифму подправить.

– Хотя, – уже с тоской сказала зачем-то я, – Фет рифмовал же в гениальном стихотворении «огня – уходя» и – ничего.

– Так, тогда про рифму вычеркиваем... Знаете что, мы тут в отпуск в Москву собираемся, может быть, заедем к вам, а вы нам что-то по методике стиха дадите, можно так?

– Конечно. А с кем вы приедете?

– Мы? Ни с кем. Одни мы приедем, мы всегда ездим одни... Монах – это ведь от какого слова? От слова «одни».

Так вот, чтобы мне не «якать», может быть, просто о себе ничего не рассказывать? В конце концов, «я, я, я, – что за дикое слово!» Да и косноязычие мое, продиктованное тщеславным желанием быть с «хорошими героями», вовсе загнало меня в тупик. Все у меня только бэ да мэ...

В конце концов, я на это на все махнула рукой: ну с отрицательными я героями, значит, с отрицательными, и стала говорить как Бог на душу положит. И все же немалые сложности, связанные с устным жанром, у меня были. И до сих пор, если можно что-то не говорить, а написать, я предпочитаю последнее.

## 23

И вот наконец совсем недавно у меня появился свой дом. Я сделала в нем ремонт, пристройку, камин темно-зеленого цвета, возле которого стоит огромная деревянная утка, вырезанная из корня оливы, привезенная с Корфу. Есть и парящая под потолком большая деревянная птица, подаренная нашим владыкой, есть выточенные из единого куска палисандра верблюды, соединяющие шеи и держащие на них резную плоску, есть в огромных зеленых кувшинах, напоминающих греческие амфоры, всякая зеленая роскошь – пальмы, фикусы, юкки. Я живу уже почти как настоящий эстет! Есть у меня даже свой собственный кабинет, уставленный книгами, из которого я могу хоть сутками не высовывать носа. И вот я сижу одна в этом прекраснейшем доме и нет, чтобы работать, или читать, или забрать к себе если не десятилетнюю Соню, которая чуть ли каждый день поет в детском хоре Большого театра; если не восьмилетнего Ваню, который тоже занят – играет в спектакле роль самого короля Лира, появляется на сцене во время бури в одеянье доминиканского монаха, препоясанный вервием, и, простирая руки, возглашает: «Откройте тайники своих сердец, / Гнездилища порока, и просите / Помилованья свыше!», к тому же он ходит в лицей; если не шестилетнюю Марусю, которая посещает кружок, где учится грузинским танцам; если не годовалого Серафима, за его малолетством, то четырехлетнюю красавицу Лизу и трехлетнюю ангелообразную Наденьку, и вместе с ними играть в зайчиков и белочек, скакать и плясать,

петь и балетничать, репетировать колядки к святкам и примерять костюм ряженных.

В прошлом году я нарядила Лизу волхвом – красную феску ей надела, халат мой красный шелковый, усики подрисовала для интереса, в руку посох дала и фонарь на кольцо, Соня была у нас ангелом – ее задрапировали в тюлевую занавеску и в руках у нее была длинная восковая свеча, а сама я была пастухом – шкуру на себя накинула, колпак какой-то на голове, и мы отправились по Переделкину петь колядки – «Рождество Христово – Ангел прилетел». Соня поет изумительно – недаром она теперь в десять-то лет чуть ли не каждый день в Большой театр ездит. То у нее «Богема», то «Борис Годунов», то «Пиковая дама», то «Щелкунчик». «Да ладно, – сказала я ей, – брось заливать! «Щелкунчик» – это же балет!» А она говорит: «Балет-то балет, да наш детский хор все равно в оркестровой яме поет». Так вот, Наденьку бы в этом году ангелом нарядили, а мы с Лизой опять – волхв и пастух, репетировали бы, как понесем Младенцу Прекрасному, новорожденному свои дары: кадельница у нас есть, которую мы разжигаем аккуратными кругленькими угольками, туда подсыпаем афонского ладана, и окутывает нас благоуханный дым; благовония – смирну, миро, амбру, кедр ливанский, лаванду, лимонник и таинственную Византию; пение свое: «Вы, люди, ликуйте все, днесите торжествуйте все, днесите Христово Рождество!» А я вместо этого сижу и тоскую о дворняге, жду не дождусь, чтобы миновала эта назначенная мужем неделя, и я бы наконец прижала ее к груди. Вот какая я стала вдруг размягченная, сентиментальная.

А ведь было время, когда мне даже нравилось быть сухой, жесткой, язвительной. Такая у меня была защита от материнской повышенной чувствительности и эмоциональности, от которой у меня дрожали поджилки. И вот, чтобы не создавать резонанс, я сжималась, скукоживалась в твердый такой комок. Мама говорила:

– Ты – жесткая, недобрая!

Это когда мы жили в Астраханском и она притащила в дом очередного кота – старого, облезлого и огромного. А у нас жили в ту пору уже две кошки – плодоносящая Ксантиппа и ее дочка, которую мы замешкались отдать, и она успела вырасти, но так и не приручилась. Жила в стенном шкафу и всех боялась. Только эту Ксантиппу и уважала, поэтому ее условно звали Подружка. И вот эта Ксантиппа с Подружкой незадолго до появления старого кота вдруг взбесились и стали по всему дому оставлять свои кошачьи метки. Между прочим, они испортили мне пианино, папин баобаб, который он привез контрабандой из Африки в своем носке. И в доме стояла ужасная вонь. Нас научили, что надо по всем углам, где только можно, понаставить рюмочек с одеколоном, и тогда кошки почему-то сразу перестают помечать свою территорию. Мы так и сделали – везде: на столе, на полу, на пианино, на буфете, на подоконниках стояли у нас эти пахучие рюмочки. А потом к нам заехал наш старый приятель – сценарист Саша, по прозвищу Борода, человек, мягко говоря, пьющий. Мы засиделись далеко за полночь, и он явно перебрал, так что остался у нас ночевать. Разложили ему кресло в родительской гостиной, под большой пальмой, а он проснулся с утра пораньше – плохо ему, голова раскалывается, во рту сухость, в глазах песок. И тут он видит – прямо перед ним – и здесь и там уже приготовлены ему рюмочки, он все их по очереди и опрокинул. Лег и опять уснул. А потом за завтраком и говорит нам:

– Как же все-таки у вас хорошо! И продумано заранее, и устроено. И с этими рюмочками как вы все предусмотрели, я глубоко тронут...

В общем, с этим обтрюханным котом, которого принесла мама, был уже перебор. Тем более что он орал по ночам прямо под нашей дверью и гадил. Выхожу я ночью к детям, когда кто-нибудь из них вдруг заплачет, и босой ногой вляпываюсь прямо в лужу или в кучу. Ну и гоняла я этого кота – брысь, кричала, пошел вон! И проникся он ко мне какой-то мистической ненавистью, вылез как-то раз ночью на лоджию кухни, перебрался с нее в лоджию нашей с мужем комнаты и через открытое окно так-таки впрыгнул ко мне. Встал посреди комнаты с мерзким мяуканьем, глаза горят, дыбом шерсть, и напустил лужу в свете полной луны. Оборотень!

– Умоляю, отдай его кому-нибудь, всучи, отнеси, откуда взяла, выгони, не могу я с ним, – умоляла я

мать.

Она смиренно так оделась, потупила взор, взяла кота и пошла по соседям, пытаясь его пристроить.

– Хожу с ним уже три часа, как Герасим с Муму. Родная дочь нас из дома выгнала. Жесткая, недобрая, – жаловалась она.

У нее было правило, что все «слабое, беззащитное» должно обретать в ее доме приют. Это «слабое, беззащитное» был какой-то ее эмоциональный конек, и она могла так растравить мне этим душу, воткнуть в нее такое словцо, воткнуть и там три раза повернуть, зацепить таким синтаксическим оборотом и так поразить и ранить, что я, особенно в детстве, испытывала настоящие нервные потрясения. Но и потом тоже. Она так могла меня накрутить, высечь такую жгучую искру сострадания ко всем отверженным, что, если бы я поступала адекватно ее внушениям, я бы давно уже, натянув на себя вретисце и посыпав голову пеплом, удалилась бы в какой-нибудь лепрозорий обмывать язвы у прокаженных... Из мамы получился бы первоклассный миссионер, стоящий во главе крупной благотворительной организации. Она всех бы воодушевила на подвиги. Все бы у нее отправились в Индию кормить голодающих или в Зимбабве спасать бездомных детей. Но я научилась смягчать болезненные уколы ее словесных стрел.

«Нет, – порой думала я, – прочь от этой теплой природности, сентиментальной душевности – туда, туда, на ледяные метафизические высоты. К жизни духа! И там – гореть, спалить себя дотла».

Этим я чуть не угробила одну хорошую девушку из Харькова, поэтессу, которая приехала поступать в Литинститут, а поселилась у меня, еще на Кутузовском. И вот я уходила на целый день на занятия, беря ее с собой, потом мы шли или в гости к друзьям – поэтам, или на литературный вечер, или на семинар поэзии, возвращались уже поздно, засиживались у меня на кухне, она удалялась спать в мою комнату, а я тут же раскладывала блокнотик и писала стихи. Потом она просыпалась, чтобы со мною идти в институт, а я, одетая еще со вчерашнего дня, читала ей то, что написала за ночь.

Через несколько дней она взмолилась:

– Да я так умру! Не могу больше! Не спать, не есть... У меня уже от этого кофе стучит в висках, от сигарет – одурь.

А я ей:

– Помнишь, как это у Бунина: «До черноты сгори!» Стою перед ней – мне девятнадцать лет, белые волосы ниже плеч, узкие джинсы заправлены в высокие сапоги, вокруг шеи длинный небрежный шарф. Амазонка.

– Нет, – говорю, – конечно. И не надо тебе так страдать! Можно ведь жить, как все! Ничего в этом нет такого... ужасного.

И, видимо, это, как отравленное жало, так впилося в нее, что она, приехав снова, поступила в Литинститут, стала писать день и ночь стихи, то есть «гореть до черноты», тоже отпустила себе длинные волосы, надела джинсы, заправленные в сапоги, и издалека нас с ней даже стали путать.

Но потом пути наши разошлись – я вышла замуж, стала рожать детей, биться в сетях житейских попечений, а она, в итоге, вышла замуж за какого-то иностранца с другого континента и сейчас, как я слышала, торгует островами Карибского моря.

Но и друг мой поэт Петя, философ, красавец, анахорет, еще тогда, в институтские времена, вещал о творческой свободе, змей, говорил, надо для нее пожертвовать всем – семьей, бытом, привязанностями, всем земным. Тянул, закрывая глаза:

Мне невозможно быть собой,  
Мне хочется сойти с ума,  
Когда с беременной женой  
Идет безрукий в синема.

Обыденная человеческая жизнь – все эти ее расписания, хождения на службу, зарплаты, вечеринки с сослуживцами, отпуск, тихие семейные радости, заработки, вечера у телевизора, борщи с котлетами, покупка холодильника, здравый смысл и житейская польза и т. д. – казалась нам тогда чуть ли не богоборчеством. Так мы и неслись куда-то, гонимые ветром, задыхаясь от вдохновения, упиваясь строфой, и далекие скрипочки, чудилось, поют где-то там, нам и над нами, в ненастном и мутно клубящемся небе...

Дружила я в ту пору и с дочкой Инны Лиснянской – Леной. Она училась в Литинституте на прозе, была старше меня на несколько лет и относилась ко мне с чувством старшинства и покровительства. Както раз, когда она уже вышла замуж и должна была родить ребенка, я поехала ее навестить.

Она неторопливо расхаживала по кухне в халате, огромное ее пузо было прикрыто фартуком, а в руках была поварешка – она варила борщ и делала это с явным удовольствием, как-то даже священнодействовала над ним. Я остолбенела, увидев эту картину, столь не совместимую с ее недавним образом девы-писательницы, «эмансипе», в неизменных вельветовых брючках и с сигаретой меж тонких длинных пальцев.

– Ну и что ты так удивляешься? – спросила она несколько сонным голосом. Взяла доску, положила на нее петрушку и принялась тщательно шинковать. – Да-да, не лукавь. А я тебе вот что скажу, – она отправила петрушку в борщ и принялась за зеленый лук, кивая на него, – витамины! Так вот – я считаю, что писатель должен жить самой обыкновенной жизнью. Как все. Никакого декаданса. У него должен быть дом, семья, желательно – какая-нибудь профессия. Я хочу в медицинский поступить. Чехов был практикующий врач и – ничего! Неплохой писатель! Вот уж кто знает человека не понаслышке. А если ты баба – изволь рожать! – И она погладила себя по округлому животу. – А сейчас будем есть борщ.

– Я не буду. Я не ем... борщей.

– Напрасно. А я ем. А то – давай. Полезно для организма.

И она, тщательно подув в ложку с борщом, с удовольствием отправила содержимое в рот, аккуратно вытирая губы корочкой хлеба.

Я смотрела на нее с неподдельным ужасом...

## 24

Зашел Петя с большим чемоданом: – Слушай, я на всякий случай – вдруг ты сегодня в Москву поедешь? Может, меня захватишь? А то у меня тут чемодан с книгами...

– Хорошо, – говорю, – поехали. Я прямо сейчас в Москву собираюсь.

Втащили его чемодан в багажник, глядь – а из-за сарая собака какая-то приبلудная, да еще с щенком. Смотрят так испуганно, но с надеждой: а ты не прибьешь нас? Не выгонишь? Хвостиками повивают. Как будто дразнят меня.

Уселись мы с Петей в машину, поехали.

– А у меня вчера ночью так сердце прихватило, я думал – всё, каюк! И – никого вокруг. Лежу в своем номере, продохнуть не могу. Чуть не помер.

– Так ведь это не в первый раз! И в любую минуту это может опять произойти, а ты – один. Друг мой, вот бы тебе жениться! На хорошей женщине... Может быть, даже с ребенком. Ну, хорошо, пусть без ребенка...

– Ты с ума сошла! – Петя даже присвистнул. – Чего придумала! Я и в молодости-то не женился, даже на женщинах, которых безумно любил, не женился, а теперь – на тебе, стану искать какую-то там «хорошую женщину», да еще мать-одиночку. Мне вообще хорошие женщины никогда не нравились, я всегда выбирал таких – с изломом, с червоточиной, с огнем в глазах. Да и вообще мне моя свобода дорога. Я хочу делать то, что хочу, а она мне будет мешать.

Вот как она мельтешит, щебечет там чего-то, как сидит, молчит, дышит. Нет. Да и потом она обязательно начнет что-то требовать. Зарботков, это уж непременно. А я не желаю быть связанным ничем,

никакими обязательствами. А лучше – знаешь что? – если эти приступы учащаются и примут совсем уж угрожающий характер, я уйду... в дом престарелых.

Я даже закашлялась от неожиданности, хохотнула.

– Ничего смешного. Напротив, есть в этом что-то романтическое и мистическое – такой уход от мира к нищим духом. Кенозис. Знаешь, какие они трогательные бывают, эти старички, какие милые! И я буду среди них со своим Шопенгауэром, Хайдеггером и Бубером. Мы будем играть там с ними в шахматы, гулять в парке, я им стихи буду читать. Наверняка туда много мудрых и талантливых людей попадает – не все ж одни неудачники.

– Петя, – почти закричала я, – что ты говоришь! Ты хоть раз бывал в домах престарелых, ты хоть знаешь, о чем ведешь речь? Это же все блеф какой-то, литературщина, вшивый какой-то романтизм! Ты ведь даже не представляешь, что это такое, как эти старички смотрят на всякого, зашедшего к ним с воли, что там у них в глазах – какая боль! какая тоска! И – мольба: «А ты меня к себе не возьмешь?»

«Смотрят, прямо как моя мама, когда я приходила к ней в больницу, как моя Тутти, когда я с ней расставалась!» – подумала я, и в глазах тут же зашипало, комок поперек горла встал.

– Ну, это еще не сейчас. Сейчас я еще не собираюсь, – примирительно сказал Петя. – А сейчас я, наоборот, с девушкой из Майкопа, двадцатилетней, на пять дней в санаторий еду. Познакомился с ней летом – милая такая, провинциальная. Так что в дом престарелых я как-нибудь уж потом.

«Нет, – подумала я, – это уже патология какая-то. Помрачение. Духовная болезнь – то собака у меня с какой-то дочкой сливается, то с умершей матерью».

Высадила Петю с его чемоданом и поехала в храм к игумену, у которого обычно исповедовалась. Но проходивший мимо совсем молоденький иеромонах сказал, что он уехал на несколько дней, и тогда я попросила его дать мне совет. Мы сели на скамеечку в храме. Я начала рассказывать, опуская подробности и тут же чувствуя, что слова становятся как-то не так, выходит какой-то идиотизм, в глазах юного батюшки светится полное недоумение и что надо именно что начинать с архиерея. Как только он услышал слово «архиерей», тут же благожелательно кивнул и приосанился. Рассказываю, а все равно у меня получается какой-то «анамнез»: ну, подарили мне собаку – между прочим, далеко не все священнослужители, мягко говоря, в восторге от того, что собаку впускают в дом: она считается нечистым животным, и многие полагают, что после нее вообще надо освящать жилище, – а я не смогла ее держать у себя по обстоятельствам моей жизни, отдала – выхоленную и здоровенькую – моему собственному сыну, которому как раз такая собачка и нужна, а теперь плачу по ней как по собственной дочери и матери одновременно: ты чего голову священнику морочишь, дурью маешься, делать тебе нечего! Тут люди с настоящими трагедиями к нему идут – со смертями близких, с болезнями, с разводами, а ты что!

– Вы не знаете, почему я так страдаю? – уже плача спросила я. – Ну, может быть, я тем самым отвергла... любовь?

– Да, – серьезно ответил иеромонах. – Вы отвергли любовь. Вам ведь кто ее подарил? Епископ!

– Архи, – зачем-то поправила его я, – архиепископ.

– Тем более. Архиепископ ничего так просто никому не дарит.

– А я очень хорошо понимаю, почему ты так тоскуешь, – сказала моя подруга Анна. – Я тоже так металась и сокрушалась, когда мимо живой еще, раздавленной собаки проехала и не остановилась, не подобрала ее. Торопилась куда-то, потом она была вся в крови, и я подумала, что мне все сиденье измажет. И уехала. А потом, часа уже через два, до меня дошло. И так мне скверно стало, так тошно, я просто места себе не находила. Села – уже ночью – за руль, поехала туда, где она лежала, но там уже ничего не было. Так что я очень хорошо тебя понимаю.

– Но я не понимаю. У меня ведь много людей близких умерло. И я по многим из них так не убивалась, как по этой живой и благополучной собачке. Что это? Может, просто у меня какая-то беда сейчас творится, а я об этом не знаю, но душа моя это уже чувствует. Чувствует, но не понимает, что за беда. И вот она

просто нашла подходящий образ для этой скорби, имя ей нашла – Тутти.

– Может быть, – вздохнула Анна. – Но только что за беда? А может, ты тайно любишь кого-то, тоскуешь и не можешь себе признаться, так прямо по имени и назвать, и потому облакаешь тайну эту в символ – Тутти?

Ну вот: Тутти – это еще и «тайная любовь».

## 25

Боже мой! Действительно, сколько людей я хоронила, сколько умерло, порой с запозданием посылая вести о своей смерти и повергая меня в какое-то отсроченное страдание. А ведь это, кажется, и есть невроз? Ну да, «отложенное страдание» – невроз и есть.

Какие странные эти подспудные сюжеты жизни, протекающие с разной скоростью, – одни движутся еле-еле, другие стремительно разворачиваются, сталкиваются, пересекаются, обгоняют и настигают, когда уже вроде бы все позади... Что-то по поверхности скользит, а что-то в глубинах проистекает. Давнее, прожитое машинально, наспех, но в этих глубинах не перемолотое, не переваренное, вдруг просыпается, сгущается, уплотняется, ворочается под спудом болезненно да как встанет, как поднимется ниоткуда, словно в фильме ужасов, в полный рост. Дядька Черномор такой из темных вод, а с ним – все тридцать три богатыря. В принципе, можно жизнь свою с любого ее сюжета начать разматывать, с любой из ее подземных рек обозревать: все равно в каких-то точках все начнет переплетаться со всем.

Или вот эти «потоки рода»: «Фарес родил Есрома; Есром родил Арама; Арам родил Аминадава; Аминадав родил Наассона...», – катятся себе последовательно: прабабушка-бабушка-мама-я-дочери-внучки... Но в какой-то момент дочь по возрасту настигает мать, нагоняет отца, и тут они заново открываются ей, и она начинает так чутко все слышать и чувствовать, и обостренно видеть, и отчетливо понимать. Вот сейчас бы и поговорить, и прильнуть, но – поздно уже, опоздала, ибо они соскользнули уже с этого круга жизни, они уже – там, там, за чертой. И тогда уже, томясь в разлуке, с ними, умершими, начинаешь общаться, и так живо чувствуешь их, укорененных в самом бытии.

Удивительно, что чаяние «воскресения мертвых» – это не педагогика, это не психология, это ни много ни мало мистика и догматика. В Символе веры – не просто «верю» или даже «верую», но – «чаю». То есть нет у верных никакого сомнения в том, что мертвые – во плоти оживут, но – непреложное желание и радостное есть ожидание, что это непременно произойдет. «Чаю воскресения мертвых и жизни будущего века. Аминь». Буди, буди!

...А скрипочки какие-то деликатно все пиликают-пиликают себе, ведут свою тему, а виолончель где-то там, еле слышным фоном, на задах – свою, а у гобоя другая какая-то, отдельная партия, а у рояля – своя, а ведь и ударные погромыхивают, и орган звучит вдалеке, и вдруг они как пустятся в аллегро виваче, как сойдутся все в одном контрапункте, каждый принес свое, и – форте, фортиссимо! – дирижер так палочкой и трясет в вышине, черный фрак его аж дрожит. Прядь волос падает на потрясенное лицо.

Дочь моя старшая Александрина все эти сюжетные потоки, движущиеся с разной скоростью, замечательно раскопала у Пастернака – и в стихах его, и в прозе, даже выступала с докладом на пастернаковской конференции в Милане: «Образ поезда у Пастернака» – как-то так. Все даже встали, когда она закончила, и хлопали стоя. Она вообще такая – закрытая, сдержанная, интеллектуальная. Мне до ее умозрений не долететь. Если бы она не была так хороша собой, стала бы точно книжным червем, синим чулком: все бы ей по читальным залам сидеть, тонким скальпелем распутывать психологические колтуны, развязывать тугие метафизические узлы. Тоже ведь как-то от меня свои кордоны выставляет, и там, где у меня – только догадка, порой совсем завиральная, у нее – точная научная аргументация. Там, где у меня – сумбурное эссе, у нее – выверенная статья.

Так вот – эти потоки, омуты, завихрения, подводные течения, временные пласты... Сколько поэтов –

тех, с которыми я дружила, училась в Литинституте, сидела на семинаре Слуцкого, на вечерах поэзии – умерло, погибло еще в юном возрасте, сгинуло неизвестно где. И я узнавала об их кончине порой с опозданием, когда все это уже быльем поросло. Весть нагоняла меня, когда я была уже далеко, волна накрывала меня с головой, сбивала с ног и утаскивала в открытое море – туда, назад... Так в детской игре двигаешь себе свои фишки по клеточкам – то на три вперед, то на пять, а потом попадешь на какую-нибудь черную клетку и оттуда уже скатываешься назад: давай снова начинай свой путь. А то – на красную, и тогда вылетаешь вперед, минуя засады, сразу через пять клеточек перескакиваешь, через семь!..

Сколько было талантливых, блистательных молодых людей – одна сорвалась с балкона, другая уснула с сигаретой и сгорела, третий повесился, четвертый утонул, пятый – в психушке доживает свой век, шестой – попал в тюрьму и, отмотав срок, остался бомжом: жена развелась, брат приватизировал их общую квартиру и продал, и концов не найти.

Этот несчастный сиделец – поэт Сережа – иногда приходит к моему мужу в храм:

– Володька, дал бы денег.

– Что с тобой приключилось?

– Как есть я – человек презренный и бездомный. Подрабатываю сторожем в подмосковном храме. Дай хоть сколько, а? Вместе ж учились. Литинститут помнишь?

– А стихи пишешь?

– Пишу, еще как пишу.

– Ладно, держи деньги, но в следующий раз приноси стихи. Ты же талантливый человек! Мы их в журнал какой-нибудь отдадим.

– Принесу, принесу.

Через какое-то время он появляется вновь:

– Володька, подкинул бы денег, а?

– А стихи принес?

– Не принес, но принесу, принесу...

Как-то раз стою я в рождественский сочельник в храме, где служит мой муж, и подходит ко мне испуганный охранник:

– Там какой-то страшный бомж сидит перед входом в храм на диване. И уходить не хочет: я, говорит, с отцом Владимиром учился, я его жду. Вы не можете посмотреть, кто такой, а то уж больно страшный. Может, милицию вызвать?

Я подошла к дивану, на котором сидел, развалившись, огромный, страшный, грязный, обросший седыми волосами мужик. Он повернул голову в мою сторону и наставил на меня бессмысленный немигающий глаз.

– Дорогая моя! – засмеялся он. Но глаз продолжал смотреть, не мигая, бесстыдно и бездушно, как смотрят из преисподней: он был мертвый, он был искусственный, он был вставной, этот ужасный глаз!

– Узнала, ну? Или не узнала? Глаз-то у меня, поняла ты? – вставной. Ладно, слушай, чтобы мне Володьку не ждать, подкинула бы мне денег, а? Ради праздничка! Я ведь тоже – при храме.

– А ты стихи принес? – спросила я, доставая кошелек.

– Стихи? Да я их засунул куда-то, не могу найти. Потерял, наверное. Ну да ничего, я новые напишу, еще лучше. Принесу тебе их, принесу!

Взял деньги и побежал, радостный, но вдруг остановился и воскликнул:

– С Пасхой тебя!

– В смысле – с Рождеством?

– Ну да, с Рождеством, с Рождеством, но и с Пасхой уж – заодно.

Я вспомнила вдруг, каким он был в институте – талантливый, экстравагантный, красив безумно. Глаза на пол-лица, живые, любопытные, с куражом. Стихи он читал превосходно, чуть-чуть притопывая в такт,

жестикулируя, очень получалось... суггестивно. Костюмчик на нем был всегда один и тот же – коричневый, из которого он вырос – узок в плечах, рукава короткие, брючки коротковаты... Было видно, что он из очень бедной семьи. Тем самобытнее и ярче казался его поэтический дар: просто так, ни за что, ниоткуда, с небес. Пил он, правда, много – все время под хмельком. Но не пил-то тогда – кто? Только презренный мещанин да обыватель, который копейку копит к копейке и хранит в носке, чтоб стенку купить, – вот кто не пил. Карьерист советский, партийный, хотя карьерист тоже пил. Но я с ним, не с карьеристом, а с этим Сережей, честно говоря, дружбы никакой не водила, потому что была зла на него. Он все время устраивал какие-то провокации. Звонил мне поздно ночью, видимо, из веселой подгулявшей компании – всегда был этот фон: смех, ор, пьяные выкрики. И говорил, громко называя меня по имени:

– Дорогая моя, прости, что сегодня к тебе не пришел. Я тут с друзьями. Ну, ничего, не плачь – я завтра приду.

Я ему:

– Какой же ты гадкий мистификатор! Перестань делать вид, будто у нас роман.

А он:

– Так ты хочешь, чтоб я прямо сейчас к тебе приехал? Ночью? Ну хорошо...

– Негодяй! – срывалась я, бросая трубку.

А потом он куда-то пропал на множество лет, чтобы вынырнуть вдруг вот так – со стеклянным глазом.

А некоторые – просто тихо спивались в своем углу или, затаившись, умирали от рака. А кто-то просто переставал писать стихи. Поэты – они, как шизофреники, находят друг друга, образуют незримые сообщества и пронизывают собой, как щупальцами, весь социум.

В принципе, я эту мощную социальную прослойку рифмующих людей с некоторых пор побаиваюсь, недолюбливаю – люблю только нескольких, на пальцах можно пересчитать, поэтов: «лично» люблю «штучных». Не люблю, как они «врубаются», аж душу готовы заложить, сходят с ума, «сгорают до черноты», чадят... Ходят такие, уже сгоревшие, испепеленные, стихотворных своих уродцев ведут за собой – у кого недостает гена, у кого лишник – целых два. Я тоже когда-то в юности так «врубалась»: «одна – из всех, за всех, противу всех!» Ночевала с Цветаевой под подушкой. Даже и установка у меня такая была – противу всех! Я и в компанию не могла прийти, чтобы там что-нибудь не отчебучить, фортель какой-нибудь поэтический не выкинуть. Как бы даже и обязана была что-то этакое сказануть, жест сделать. Мол, «вы – с трюфелем, я – с дактилем!». Как бы это – *noblesse oblige*. Это потом лишь я поняла, что надо мне от Марины Ивановны спастись, а не то – погубит, спалит, сожрет...

А что – это очень даже типичная такая картина, когда сам образ любимого поэта расставляет свои доминанты, начинает влиять на твое собственное поведение, под себя переиначивать твое «я». Потом уже, когда я уже в качестве преподавателя сидела на собеседовании в приемной комиссии Литинститута и слышала, что поэт-абитуриент любит Рубцова, я уже заранее точно знала, что будет – пить. Беспробудно, грязно, со скандалами, мордобоем и, может быть, даже с потугами на суицид. А если любит Бродского – пить будет тоже, и сильно, но – иначе: как-то более мрачно, замкнуто, метафизично, сползая в депрессию и цинизм.

Ну, и вот – не люблю я с тех пор, как сбежала от Марины Ивановны, все это волнение в среде рифмующих (и нерифмующих), копошенье, возню, тусню, вызнатье секретов поэтического успеха, тайны славы, придумывание поэтических манифестов, создание имиджей, скидыванье «с корабля современности», все это «позиционирование», объяснение своего «дискурса», не люблю у «патриотов» их «босоногое детство» возле «невзрачной речушки», а у либералов – затасканную с прошлого века монотонную абракадабру без запятых.

Вот очень характерно для нашего времени: один критик написал книгу эссе, одно из которых построено на цитате из Блока. Только цитата эта – столь известная, что он не утрудился ее уточнить, была им перевернута: такая типичная оговорка, по Фрейду, и звучала она у него так:

Ташитесь, траурные клячи!  
Актеры, правьте ремесло,  
Чтобы от истины ходячей  
Всем стало больно и СМЕШНО.

Это ему показал «нос» и спутал все карты, конечно же, хрестоматийный шалун, пушкинский дворовый мальчик, который устроил такой забавный перформанс, «в салазки жучку посадив, себя в коня преобразив», и при этом «заморозил пальчик». Вот ему-то как раз «и больно, и смешно», к тому же и «мать грозит ему в окно».

Но даже не так важно, на чем поскользнулся этот критик: симптоматично само это новое веяние: «свет» заменить на «смех».

– А что, если начать писать рифмоидами, как вы думаете, это будет круто? Это же будет что-то новое, – спрашивает меня сорокалетняя молодая поэтесса. Ее черненькие волосики подстрижены под «тифоз», в ноздрях блестит пирсинг. Она бросила мужа с двумя детьми и ушла к любовнику, чтобы «они не мешали творческому горению, вдохновению, полету, размаху – ну, вы же понимаете, о чем я!». Стоит с «русским йогуртом» в одной руке, шейк у нее – в другой.

– А ничего, что вы вот так – с утра?

– Это я не с утра, это со вчерашнего вечера.

И все время это унылое беспокойство в глазах, которое так часто принимают за воодушевление:

– Ты сегодня будешь на биеннале читать?

– Я сегодня буду читать! А ты?

– И я сегодня буду читать! Мы все сегодня будем на биеннале читать!

– Нет, ну все-таки, скажите, вот если в белый стих такую легкую рифму впустить ненавязчивую – это новая форма или уже старье? Это как?

– Никак, – пожимаю плечами я и, щелкнув по банке в ее руке, приближаюсь к ее уху с серьгой, словно хочу сообщить секрет. – Круто – это когда форма растет изнутри, а не пришпандоривается снаружи! Ищите ее, как Царствие Небесное, внутри, внутри.

– Ага, значит, внутри? – И заглядывает в пустую банку, где только что был шейк.

Слава Богу, что я дружу в основном с монахами!..

## 26

Когда-то один из них, монах Лазарь из Свято-Троицкого монастыря, – правда, он сам писал стихи, и замечательные, – прислал мне письмо. Вообще-то он написал мне много писем, но все они были в стихах – у него даже получился целый цикл «Письма О.», потом он был напечатан в его книге. Но книга вышла в середине 90-х, когда собственно поэзией никто не интересовался, и прошла незамеченной. Он написал мне целый цикл – а я ему в ответ только одно. Там есть такое:

Вот и ты, мой друг, заразился этой —  
расшлепанной на широкую ногу,  
безалаберной, взбаламученною строфою,  
распахнутой, как объятья,  
навстречу ветру, музыке за забором, горю-злостью,  
Богу...  
Сколько же вольнодумства, однако, в складках

ее широкого платья!  
Сколько прихоти и капризов в ее черных штапелях,  
сиротских ситцах!  
Даже когда она прикрывается облаками,  
в недомолвках туманных – как не оговориться?  
Как не выболтать даже больше, чем было, – обиняками?  
Вот и ты теперь можешь, что Бог – на душу,  
что луна – полю,  
что прямая речь не выдержит, спрячется, как улитка,  
и, ломая синтаксис, язык прикусит, пока в крамоле  
света лунного плещется рифма – то кокетка,  
то кармелитка.

Но это его письмо было в прозе. Он писал, что находится под впечатлением рассуждений одного священника, правда, из раскольников, который утверждает, что творчество – удел демонический, и человек, забредающий в эти области, тем самым уже попадает под власть лукавого, а тот уж заставляет платить ему дань – пьянством, дебошами, случками, чуть ли не свальным грехом.

И тут он принимался возражать, ссылаясь именно что на Святых Отцов.

Святые Отцы, писал он, говорят, что способность к творчеству изначально заложена в человеке и она есть то «подобие Божие», по которому он сотворен. Бог – Творец, но и человек – творец, и на то, чтобы человек мог творить, Бог отпускает ему сугубые силы, особые энергии, благодать, которую мы, пишушие, поющие, рисующие, ваяющие, называем вдохновеньем. И дальше у него шел поэтический текст. Что-то такое: о, этот дивный избыток – не знаешь, откуда пришел он и куда исчезает. Настигает тебя внезапно, порой не ко времени – что делать с ним? Покидает непредсказуемо: вот было и ушло, и уже нет его – как не бывало совсем. Но когда приходит – душа наливается светом, соком жизни, полнится звуками, изнемогает от любви. Человек может и обольститься этим своим Богоподобием, красотой и могуществом своей души. Так ведь и Люцифер, когда был еще Денницей – первым из ангелов, пал, искусившись и вообразив себя равным Богу.

И вот поэт, продолжал он, побродив в сладком самозабвенье, в упоении от своей власти безымянным сущностям и явлениям давать имена, помечать своею печатью и присваивать их, опьянев от невещественного этого напитка, вдруг, очнувшись как бы от дивного сна, опустившись на землю как после полета, попав в тенета дольных уз после как бы неограниченного самовластия, чувствует тесноту в собственном теле, темноту вокруг, ибо Свет – погас; глухоту, ибо не слышно райских мелодий. Он живет среди людей, но знает, что он – не такой, как все.

– Я не такой, как все вы! – кричит он, забираясь на пиршественные столы. – Признайте меня! Мне доступно то, что вам не дано! Мне дозволено то, что запрещено вам! Мне ненавистна ваша полнотелая сытая трезвость!

Словом, гордость кипит в таком избраннике Муз, как только в нем убывает благодать, тщеславие вопиет в любимце гармонии, как только его покидает самозабвенный творческий порыв, гнев клокочет, осуждение, депрессия находит, как тать, как только эта таинственная сила оставляет его. Да, утверждал монах Лазарь, я убежден, что происходит-то это именно, когда ушло вдохновение, когда покинула его благодать, остановился творческий порыв! Не само же творчество повинно, а, напротив, угасание его. Пустота, которая образовывается вдруг в душе. Зияющая дыра, которую теперь и пытаются заткнуть, заполнить куражом, загулом, пьянством, блудом, обидами на судьбу, на ближних, на целый мир, завистью к более успешным собратьям.

В такую клоаку – ни солнце не заглянет, ни ветерком не повеет, продолжал он. Ни радости, ни

упования, ни веры, ни вдохновенья. Гибель таланта, крах души. Ропот на Бога:

– Зачем Ты меня обнес? А потом:

– Зачем Ты противишься мне? А потом:

– Вот Кто соперник мой!

В чем корень такого банкротства? Святые Отцы писали: не в творчестве, а в узурпации его. Не в таланте, а в гордости. Может быть, я пересказываю не вполне точно, но смысл – таков.

Сам отец Лазарь трагически погиб, но не от бурных обстоятельств, которые столь часто сопровождают творчество, а просто от случайных лихих людей. Он был гениальный проповедник и проповедовал всегда и везде, где только мог: в монастыре – в монастыре, в поезде – в поезде, на улице – улице. И вот сразу после Пасхи он оказался у Останкинского пруда и стал проповедовать там двум лысым браткам. А им от этих «ходячих истин» вдруг стало смешно. Они решили: дай-ка посмотрим, что там у этого попа внутри. Повалили его на землю и так избили ногами, что им пришлось, отойдя в сторонку, мыть бутсы от его крови в этом пруду. Их за этим мытьем и поймала милиция, а отец Лазарь лежал, умирая, в кустах – его не сразу и заметили. И потом – кровь на черном подряснике совсем не видна...

Весть о его гибели я получила чуть ли не через три дня. Дело в том, что он позвонил мне в самую пасхальную ночь:

– Христос воскрес!

– Воистину воскрес! А приезжай к нам праздновать!

– Приеду, меня как раз наместник на неделю отпускает из монастыря. Через три дня буду у вас. Так что ждите меня.

Приехал он в Москву и пошел в Рождественский монастырь повидаться с братией, а потом решил заглянуть к друзьям, которые жили в Останкино, а уж на следующий день – к нам, в Переделкино. И проходя возле Останкинского пруда, обратил внимание на этих лысых, стоявших столь же празднично, сколь некогда стоял под смоковницей Нафанаил, тот еще, евангельский, когда его там увидел Христос. И Лазарь остановился с ними – просто поговорить.

Почему-то у него не оказалось при себе документов – обворовали они его, что ли, поэтому милиция не могла так сразу узнать, кто это, что это за монах. Потом братию монастыря вызывали в морг на опознание... И вот звонит мне из Рождественского монастыря друг мой игумен Филипп – через три дня, то есть как раз в назначенный день, когда мы ждем Лазаря, и говорит:

– Лазаря убили... Три дня назад. На Останкинском пруду.

– Да бросьте вы, он сегодня ко мне собирался! Это не он...

Наутро я поехала на его отпевание в монастырь.

Но этот новый – «четверодневный» Лазарь теперь повсюду со мной. Все я с ним мысленно разговариваю, спрашиваю, а то вдруг вступаю в спор.

## 27

Позвонили из поэтического журнала и предложили сделать со мной беседу о поэзии.

– Хорошо, – сказала я, – спрашивайте. Только отвечать я вам буду письменно.

Вопрос: Считаете ли вы, что поэт должен жить какой-то особенной жизнью? Что он должен путешествовать? Или, напротив, сидеть на одном месте и углубляться в себя? Что лучше для творчества – не связывать себя семейными узами, пожертвовав семьей ради искусства, или, напротив, окружить себя людьми, быть со всеми, чувствовать дыхание времени?

Удивительно, когда-то я знала об этом все: надо так, так и так. А теперь ни в чем не уверена. Может быть, поэту должно идти на пользу все, происходящее с ним: доверие к собственной судьбе. Что она посылает, то и должно быть словесно преображено. Причем даже внешние события и впечатления не столь

важны – что может быть скучнее и беднее этими событиями, чем жизнь Иннокентия Анненского? Директор лицея, потом – смотритель училищ... И вообще, судя по фотографиям, лицо у него вполне обыкновенное, в меру упитанное, приятный такой дядечка. Плотного телосложения.

А поэт – изысканнейший, уникальный, который создал, сам того не подозревая, целую поэтическую школу: весь акмеизм из него вышел, сколько у Мандельштама с ним переключек, сколько у Ахматовой...

Блок – поэт, несомненно, более значительный, великий поэт, но он никакой школы не создал. Да и невозможно быть его поэтическим последователем.

Или – Фет. Жил себе в своем поместье – крепкий хозяин, хороший помещик, крепостник. Замечательная история, как они с Львом Толстым, с которым соседствовали их поместья, решили создать монополию на пеньку. Лев Николаевич пишет Фету:

Афоня, мол, попридержи в этом году пеньку, и я попридержу, цена на нее и повысится, а мы по новой цене на следующий год ее выкинем...

И вот так придерживает он пеньку, хитрый кулак, а сам пишет божественные стихи:

Истерзался песней  
Соловей без розы.  
Плачет старый камень,  
В пруд роняя слезы...

Вообще для поэта важна, как это называл Константин Леонтьев, «сила интенсивности жизни». У Толстого, пока он был великим писателем и не стал плоским моралистом, эта сила бурлила: как он земли ездил скупать по дешевке в Самарской губернии, как лошадей сторговывал у местных башкир, чтобы устроить у себя конный завод, а пока суд да дело – скачки затевал прямо там, в степях, эти башкиры наезжали со своими кибитками, разбивали свои станы, а кони скакали, страсти кипели, костры дымились, красное солнце садилось, пахло ковылем, полынью, конским потом, навозом, жареным мясом, паленым волосом, свежим хлебом, луком и мятой, молоком матери, сырой землей...

Или как он ездил смотреть в Тулу пленных турок, еще и сыновей своих брал. Турки пленные – красивые здоровые парни в красных фесках, белых рубахах, синих шароварах – залюбуешься! Так им граф Толстой чай привозил, сахар, деньги подкидывал, подначивал их устроить друг с другом борьбу, делал ставки, и они с азартом боролись, он смотрел – наслаждался, потом подбил русского солдата побороться с пленным турком, тоже – боролись, сходились, топтались на месте, скалили зубы, ловкими движениями перехватывали руки, упирались ногами, тела напрягались, мускулы дрожали, глаза сверкали, прерывалось дыханье, блестели потом оголенные торсы... Все стояли вокруг – болели, языками поцокивали, кулаки сжимали, потрясали ими в воздухе – целый огненный столп энергии поднимался ввысь! Вот это жизнь!

А потом в нем этот огонь стал угасать, и он сделался плоским моралистом. Даже, великий художник, красоты никакой в Евангелии не увидел! Художества там не узрел! В Церкви не обнаружил бессмертной поэзии, где слились реальность и смысл!

Про него, каким он стал в этот период жизни, еще тогда ходил анекдот. Едут люди на пассажирском поезде. Им объявляют: проезжаем Ясную Поляну. Они – к окнам: хотим поглядеть, как пашет граф Толстой. А им: его сиятельство к пассажирскому не выходит, он, только когда курьерский, идет пахать.

Между прочим, у меня есть догадка, почему он отринул Церковь, но это уже совершенно другая тема, другой рассказ. Монах Лазарь когда-то все меня теребил: ну и что у тебя за догадка такая, скажи, скажи. Я и сказала:

– Было время, когда он, после башкирских земель и коней, совсем к ним остыл, стал захаживать в церковь и водил туда детей. А потом вдруг очень резко отвернулся от нее. Ну вот, как ты думаешь, почему?

– Ну, наверное, она показалась ему какой-то слишком уж... синодальной.

– А я думаю – у него был какой-то неисповеданный грех, который ему было очень стыдно назвать на исповеди. И этот неназванный, неисповеданный грех ужасно его тяготил, мучил – он ненавидел его. И спроецировал эту ненависть на Церковь. Отвернулся и ушел навсегда.

– Так просто? – разочарованно протянул он. – Нет, это даже вполне может быть, это очень частый случай, почти хрестоматийный, почему человек не может в Церковь войти. Но когда речь идет о таком великом художнике, кажется, что эта ловушка слишком уж примитивна для него.

– Зато надежна: действует наверняка.

– Ну, если уж так, то у меня тоже есть предположение. Кажется мне, что грех этот неисповеданный был прелюбодейного свойства: слишком уж он надрывно обличал его в своих героях, пережимал, что-то в этом было личное, мучительное для него самого, непреображенное: именно то, как он в своем праведном гневе по этому поводу перестарался, уже даже в ущерб художественности, что-то и «выдает».

Но вот что поэту крайне вредно, так это – «позиционирование». Когда он начинает работать на публику, становиться в позу, говорить специально для экранных, выдумывать себе образ, судьбу. Вот как я, например, верхом на этом черном коне...

Тот же монах Лазарь признавался мне, что при всей своей любви к Ахматовой, к Поэту, он испытывал некую неловкость, когда, читая воспоминания о ней, порой восторженные и как бы очень лестные для нее, вдруг отчетливо видел эту позу. Когда она, уже старуха с грудной жабой, с зобом, продолжает так интересничать, выдумывать какие-то «метафизические романы», все эти бесконечные ее «встречи-невстречи», эти ребусы в «Поэме без героя»... Ему хотелось это как-то пропустить, не заметить, перелистнуть, отвести глаза. Это как если бы очень приличная, очень достойная во всех отношениях женщина, к тому же и очень пожилая, пришла в публичное место и вдруг бы там напилась, стала бы пересказывать свои эротические сны, задирать ноги и кривляться... Уважающие ее люди предпочли бы этого не заметить, а то и прикрыть, и уж во всяком случае – забыть...

Вообще, если вот так посмотреть Петиним глазком, то все действительно сплошная пошлость и есть. Как я люблю Пастернака, но ведь и у него... Сначала была у него одна жена – он писал ей потрясающие стихи, письма о своей любви. Потом сменил адресата. На кого? На жену своего друга. «Зина с мощной спиной и толстыми руками», по многим воспоминаниям. Ладно. Женился, написал гениальные стихи, родил сына и – нашел себе молодку-редакторшу с дочкой: обе называли его нежно: «классюша».

Что ж, как говорила Раневская, провинциально все, кроме Библии. Но ведь и пошло, кроме Библии, все!

А может, все как раз наоборот? Может, и нет ничего пошлого самого по себе, что не могло бы быть словесно преображено? В конце концов, какое нам дело, какая разница – «Зина» там или не «Зина», и какие у нее руки, и откуда он ее взял...

Кто-то, может, и погигикает над кривыми ногами царицы Савской, а я так лучше буду читать «Песнь Песней»: «Положи меня, как печать, на сердце твое, как перстень, на руку твою: ибо крепка, как смерть, любовь; люта, как преисподняя, ревность».

## 28

Мама тоже, когда я вышла замуж и у меня один за другим стали рождаться дети, глядела на меня таким отчаянно-разочарованным взглядом: мол, вот ты какая самка оказалась, прощай стихи! Ей тоже казалось, что я впала в пошлость – пеленки-кашки-прививки-прогулки-ползунки-соски. Махнула она на меня рукой – не оправдала я ее надежд. Так, покуражилась, покуражилась на рассвете дней и – отяжелев, припала к земле. Была амазонка с луком на узком бедре, Диана-охотница, стала «многодетная мать» с талончиками на покупку продуктовых заказов: гречка, российский сыр, курица, сгущенное молоко, шпроты.

Мама тогда от расстройств за месяц написала киносценарий, поставила соавтором отца, у которого

был литературный статус, к тому же сценарий был о войне на территории Польши, и отвезла на Горьковскую киностудию. Его довольно быстро приняли, тем более что в некотором отдалении уже маячило 35-летие Победы, и надо было его отмечать. Мама отправилась в командировку в Польшу (постановка должна была быть совместной) и там перезнакомилась с лучшими польскими режиссерами и актерами. У нас постоянно потом звучали в доме эти имена: Анджей Вайда, Ежи Кавалерович. Встречалась она и с Барбарой Брыльской – с ней они, правда были уже давно знакомы, и та даже, когда она снималась в «Иронии судьбы», привозила моему мужу, у которого отродясь не было ничего, кроме джинсов и растянутых свитеров, модный костюм на свадьбу. Костюм этот, честно говоря, был просто ужасный: он олицетворял собой все, что мы с моим тогдашним женихом считали «мировым мешанством». Он был шит для типичного такого самодовольного «среднего европейца». На моем грациозном и изящном женихе, которого профессионалы принимали за «балетного мальчика», он болтался, и если брюки еще можно было хоть как-то ушить, то с пиджаком – фиолетовым в черную клетку – сделать было ничего нельзя. Со страданием мой прекрасный жених надел на себя этот пиджак лишь однажды перед походом в загс, и потом его долгое время носил мой брат, когда ему хотелось казаться старше и солиднее.

Итак, мама перевернула всю Польшу, приглашая в свой фильм режиссеров, актеров, художников и вообще всех добрых людей, а также выбирая натуру, хотя это уж точно не входило в ее обязанности. Но, вернувшись в Москву и кладя на стол директору киностудии список лиц, которых она уже пригласила для участия в фильме, она, в свою очередь, получила перечень замечаний, по большей части – цензурных, которые она должна была в срочном порядке учесть, иначе картина так и не будет запущена. И мама разгневалась.

Она пробилась на прием к министру кинематографии, кажется, фамилия его была Баскаков, и горячо убеждала его срочно запустить картину, без всяких изменений. Даже удивительно, как это он не пошел у нее на поводу: мама вообще-то могла своим огненным красноречием – с риторическими фигурами, эллипсами, метафорами – уболтать любого... Ну, например, когда у нас КГБ вздумало отнять квартиру в Астраханском, потому что из нее, оказывается, были хорошо видны окна политического беженца Луиса Корвалана...

Действительно, эти его окна без занавесок прекрасно просматривались из наших. Каждый вечер нам можно было наблюдать, как там собираются его товарищи по подполью, усаживаются за длинный стол, на котором стоят только стаканы да графин с водой, и ведут долгие разговоры.

Друг наш Гена Снегирев, восседая по вечерам у нас на кухне и вглядываясь в происходящее у Корвалана, с пониманием констатировал:

– Ишь, провинции делят!

Ну, в общем, чтобы не растекаться мыслью по древу, скажу только, что КГБ решило нас, поторопившихся вселиться в новый дом, из этой квартиры выселить на четыре этажа ниже в квартиру нерасторопного Левитанского, который замешкался с переселением, а в нашей устроить наблюдательный пункт и явочный штаб для стукачей. Но не тут-то было. Мама сказала: «Что – получится, что мы отнимем у Юрки квартиру, которую он так ждал?» Она достала пишущую машинку и настроила такие потрясающие по своему пафосу, драматическому накалу и иезуитской шантажисткой интриге тексты, которые она разослала всем – и Брежневу, и Косыгину, и Подгорному, и Андропову, что вскоре от нас все отстали.

А вот с министром кинематографии – не справилась.

Недели две прошло под знаком обсуждения этого ее неудачного похода, как она говорила, «к цензору». Приходило много гостей, все остряли, ерничали, придумывали обходные пути, ели, пили и веселились. Мама была в ударе – казалось, это и есть истинное поле ее деятельности: жизнь, просто живая жизнь! А потом они все разошлись кто куда, и она сразу как-то сникла. Сценарий забросила, никаких изменений в него не внесла, при одном упоминании о нем болезненно морщилась. Все это ей наскучило, ибо требовало поденного ремесленного труда, а как иначе ты заштопаешь дырку, сделанную цензурой, в тех сюжетных перипетиях, которые связаны с варшавским восстанием? Папа сам рассказывал, как он, пока

немцы уничтожали поляков, стоял со своей артиллерийской батареей на другом берегу Вислы, и наши бойцы плакали оттого, что не было приказа поддерживать восставших. Так и смотрели на это зарево, на эту бойню.

А у мамы после этого какое-то странное появилось увлечение. Она стала всю свою одежду... перешивать. Из жакетов и кофт делать безрукавки, выпарывая рукава, из пальто – куртки, из платьев – юбки, из брюк – бриджи. А поскольку она патологически не умела и не любила шить, то в конце концов все это, лихо распоротое и разрезанное, так и осталось не востребуемым валяться в шкафу. Таилась за этим некая мамина могучая идея перекроить саму жизнь. Слава Богу, что – неосознанная.

## 29

Родители мои дружили с писателями. С Давидом Самойловым, с Юрием Левитанским, с которыми мы в Астраханском переулке жили в одном подъезде, с Фазилем Искандером, с Булатом Окуджавой, с Ахмадулиной и Мессерером, в честь которых были названы наши белки. Но было множество не столь известных, но замечательных людей. Мама вообще любила «светскую» жизнь, в том числе застолья, посиделки, истории, диалоги, сценки. Ну, в своих историях она была очень демократична.

Было какое-то время, когда она, сама мучительно не любившая ни убирать в доме, ни мыть посуду, но с большим воодушевлением готовившая для гостей всякие трудоемкие блюда – гусей в яблоках, уток, индеек, ноги изюбря, рябчиков, нанимала домработниц. К нам приходили то неповоротливые девушки без московской прописки, то ловкие тетеньки с железными зубами, то матери-одиночки с малолетними детьми и производили уборку. Но мама, проникавшаяся к ним с порога состраданием за их такую бесцветную и неинтересную жизнь, все время, пока они что-то скребли, мыли, чистили, рассказывала им потрясающие истории из своей жизни, рассуждала на всякие общечеловеческие темы, выходила на глобальные обобщения и, когда чувствовала, что разговор будет долгим, брала табуретку, садилась на нее около того места, где происходила уборка, и уже вместе с ней передвигалась по квартире вслед за переменной объекта. В результате она уставала так, словно и сама вместе с ними трудилась весь день в поте лица своего. Дело кончалось тем, что эти добрые слушательницы либо ее обворовывали, либо она сама раскрывала шкаф, вываливала все из него и набирала им кучу вещей, в основном моих, чтобы скрасить им их такое скудное, неинтересное существование.

Эти забавные сценки она разыгрывала даже и на закате дней, когда, немощная, она еле передвигалась на своих тонких ножках. И вот она ходила в ближайший переделкинский магазин, по зимнему скользкому времени вооружившись лыжной палкой. Это было ее великолепное ноу-хау, поскольку любая трость и сама может соскользнуть с ледяной тропинки, увлекая за собой хозяина, а лыжная палка так цепко фиксируется, врезаясь в лед, что становится надежнейшей реальной опорой. И в то же время мама понимала, насколько странное впечатление она должна производить, шагая по снегу в своих сапожках, с одной лыжной палкой в руке. Поэтому она со смехом рассказывала мне, как, встречая кого-то из знакомых, поднимала эту палку вверх, трясла ею в воздухе и как ни в чем ни бывало спрашивала:

– Здесь наши не пробегали?

И действительно, я слышала, как кто-то из переделкинских знакомых уважительно говорил:

– Надо же, какая молодец твоя мама! До сих пор на лыжах бегают.

Мама не просто любила своих талантливых друзей – она преклонялась, она благоговела перед ними, она гордилась их успехами, и когда видела кого-нибудь из них – неважно, «живьем» или по ТВ, вся светилась от радости и нежности.

– Белка, – говорила она, расцветая от счастья оттого, что видит ее по телевизору, – она – добра, добра! Она – не из этой жизни! Она – как подбитая птица!

А в какой радости пребывала мама, в какой эйфории, когда кто-то из них приходил к нам в гости или

приглашал ее с папой к себе! Ну, с Самойловым, а особенно с Левитанским мы виделись часто, а Ахмадулина с Мессерером приезжали к нам довольно редко – сначала на Кутузовский, потом – в Астраханский, а потом – и в Переделкино. В свое время мама даже настояла на том, чтобы я привела моего мужа, а тогдашнего жениха «к Белке на смотрины» и потом пригласила ее с Мессерером на нашу свадьбу.

Вскоре в издательстве «Советский писатель» готовилась к изданию моя первая книга «Сад чудес», и ее дали на оформление художнику Мессереру. Там большими буквами так и написано: художник Б. Мессерер.

Последний раз мама виделась с ними незадолго до папиной смерти, когда они, проходя мимо дачи, решили зайти – прямо так, без звонка – и счастливо миновали гусей.

Так же, без предупреждения, зашел критик Лесневский, и мы сели за огромный стол, стали есть, пить, веселиться и даже, разделившись на две партии – мужскую и женскую, петь народную песню «Миленький ты мой».

А потом папа умер, мама слегла и больше не вставала. Целыми днями она сухими страдальческими глазами вглядывалась в телевизор и оживлялась только тогда, когда вдруг показывали кого-то, кто был ей дорог, как она говорила «еще в прежней жизни». Как-то раз показали и Ахмадулину.

– Белка, – закричала мама радостно, даже привстала с кровати. Лицо ее вдруг стало совсем детским – было видно, какой она была в девочках.

– Что такое? – испуганно вбежал на ее крик в комнату мой брат.

– Подожди, – отмахнулась она. – Белка, дорогая, прекрасная Белка, – со слезами любви повторяла она.

## 30

А потом с мамой случилась беда – у нее стала болеть стопа, ее отвезли в больницу, обнаружили закупорку сосудов и начавшуюся гангрену.

– Выход один – ампутация ноги, – невозмутимо констатировал молодой врач с холеным лицом.

– Но она не выдержит, у нее был инсульт. Она такая слабая, почти ничего не ест, худенькая, хрупкая, да она умрет!

– Ам-пу-та-ци-я! – по слогам произнес он.

Я позвонила своему другу профессору Кротовскому – гениальному хирургу, специалисту по замене сосудов, и через два часа он был уже в кабинете врача.

– Заткни уши, – попросил он, выходя оттуда, – я сейчас матом ругаться буду. У него на все один ответ: ам-пу-та-ци-я. Я спросил – а если полечить? А он заладил свое. Ладно, забираем мать, везем в мою больницу. Есть одно лекарство, чтобы остановить гангрену. Но оно... убойное. Все может быть от него – инфаркт, инсульт. Порвется там, где тонко. Но шанс есть. Рискнем?

И я решила, хорошо зная маму, что ей, по всему ее характеру, если уж умирать, то лучше с ногой, чем без ноги. А если жить, то тем паче. И потом – шанс-то все-таки есть – остаться и с ногой, и живой...

Перевезли ее в больницу на Каширку возле онкоцентра, я добыла лекарство, поставили ей капельницу... Сознание у нее мутилось, она путала сон и явь, живых и мертвых, видела то ангелов, то демонов, говорила то с бабушкой, с отцом, а то вдруг с Белкой – «она добра, добра!». Мы с братом по очереди сидели возле нее, на ночь нанимали сиделку. Через две недели стало очевидно, что мы победили. Но надо было еще одолеть и последствия лекарства, которое омрачало сознание.

А тут вдруг попал в больницу мой муж, и больница эта находилась в противоположном от Каширки конце Москвы – на самой окраине, возле Дмитровского шоссе. А через день туда же, только на скорой реанимационной машине – прямо на операционный стол попал и муж моей старшей дочери, у которой на руках, помимо семилетней Сони, была еще и полугодовалая Лиза. И – ни гроша в кармане. Есть нечего.

А я, буквально накануне маминой гангрены, взяла себе срочную денежную работу – перевод с французского богословской книги Ларше «Преподобной Максим Исповедник – посредник между Востоком

и Западом». Ради денег в основном и взяла. Долго перед этим колебалась – французский я с институтских времен забыла, а тут надо будет по пять страниц в день сложнейшего богословского текста переводить, значит, писательство мое – по боку, да и смогу ли я? Даже к старцу Кириллу пошла в Патриаршее подворье в Переделкино. Отец Кирилл – уже совсем больной, немощный, а я к нему со своими проблемами, в том числе и с этой – брать мне эту работу или не брать. И он мне сказал:

– Берите. Вам это будет очень полезно.

И вот заключила я договор с монастырским издательством на драконовских условиях – если я не сдаю в срок, то за каждый день просрочки у меня уменьшается гонорар. Только села переводить, обложившись словарями и богословской литературой, тут мама в больницу попала. Но я все равно – приезжала с Каширки и усаживалась за работу. Переведу положенное за день и – спать. Встану с утра пораньше – и к маме на Каширку. Так что когда уже мой муж попал в больницу, а муж моей старшей дочери – в реанимацию, я этот перевод почти доделала, оставалось только цитаты из Святых Отцов, которые я переводила с французского, отыскать в старых изданиях и заменить на переводы с оригинала – с латыни и древнегреческого. И всё! Работу сдаю – деньги на бочку. В тот же день. Так у нас по договору.

И тут у нас в Переделкине что-то намудрили с электричеством – выключили его, а потом включили, врубив такое высокое напряжение, что погорели все электроприборы, стоявшие на режиме готовности – телевизор с приставкой, электрочайник, но главное – компьютер! Мой компьютер вместе с уже сделанной работой – до ее сдачи оставались считанные деньки. Плакали мои денежки! Вот так – Великий пост на дворе.

В тот же день дочь моя младшая, голубица беловолосая – подходит и заявляет:

– Я выхожу замуж!

– Да за кого?

– Он воспитателем в Троицке работает.

Поехала я к мужу в больницу, где он под капельницами лежал, а его в палате и нет. Оказывается, он подземными переходами ходит каждый день к мужу нашей старшей дочери, в реанимацию, и ухаживает там за ним.

Поехала к маме на Каширку, а она спрашивает:

– Ну что, когда мы уже полетим?

– Мама, куда полетим? Зачем?

– Как куда? Конечно на юг!

Ладно. Пошла я в наш переделкинский храм, там у нас две иконы чудотворные – Казанская и Иверская. И так упала при входе на железном пороге, что аж зашлась от боли. Ни охнуть, ни вздохнуть, ни пошевелиться, ни слова вымолвить, так меня шандарахнуло, сотрясло... Так и лежала ничком без признаков жизни, загораживая проход: то ли нищая, то ли юродивая, то ли запощеванка, лежу себе и лежу. Наконец, богомольцы меня оттащили чуть в сторону, и я продолжала лежать просто на ледяном крыльце, на снежке. Казалось, все, сейчас умру, прямо на пороге храма, в Великий пост! Вроде – если с духовной точки зрения посмотреть – не такая уж плохая кончина.

Как-то летом мы заходили с моим другом Андрюшей Витте сюда, в этот храм, и нас дружественный иеромонах пригласил к себе на трапезу. Но он тогда интересовался сыроедением, и у него за трапезой ничего не было, кроме свекольного и капустного соков, а еще был отвар из листа лопуха. И он принялся нас всем этим потчевать. Андрюша выпил всего по чуть-чуть, а я отказалась. Тогда иеромонах, который очень верил в целебную силу земных плодов, налил мне пол-литра свежего и густого отвара из лопуха и сказал:

– Выпей за послушание!

И вот ради послушания я и влила в себя это зелье, чувствуя, как глаза у меня, по мере вливания, вываливаются из орбит и реальность как-то сдвигается, глуше звучат голоса. И вообще – хочется тихо лечь на коврик у двери и, свернувшись калачиком, в позе зародыша так и уснуть навек...

Вышли мы с Андрюшей за монастырские ворота, и тут опять мне захотелось – просто припасть к

матери сырой земле, и всё.

– Умираю, – кажется, сказала я.

– Ничего, ничего, – стал взбадривать меня он с православным юмором, в котором всегда есть доля правды, – не беспокойся, тут тебя на месте всем монашеским клиром и отпоют.

И вот, лежа на замерзшем крыльце, я и припомнила эту мысль. Но Господь меня спас – костей не сокрушил, и через десять минут я уже отползла, поднялась на ноги и кое-как доковыляла до паперти, сев на скамейку. Посидела там до конца службы и – домой.

– Ох, матушка, чем-то вы разозлили врага! – сказал мне раб Божий, гениальный компьютерщик Гриша, приехавший забирать у меня компьютер на починку. – Вот и лютует. Поститесь, наверное, зело.

А сам – щедушный, бледный, еле ноги передвигает, ничего не ест, не пьет, весит 45 килограммов.

– Или на Максима Исповедника он так зол, что уничтожил ваш перевод. А вот мы его и достанем с диска, соберем по кусочкам...

И уехал с компьютером. Деньги мои, деньги!

Ну, что ж, так ведь это и положено: в Великий пост победствовать, пострадать. Отец Александр Шмеман вообще писал, что Великим постом сам враг рода человеческого выходит навстречу постящемуся. Тут – он, а тут – ты. Так ведь и когда Сам Господь постился сорок дней и сорок ночей и напоследок взалкал, тут-то, как сказано в Писании, «и приступил к Нему искушитель». Но то был Сам Господь, а что касается человека, то силы, конечно же, не равны. И если бы не помощь Божья, если бы не Его защита, то бес одним когтем мог бы перевернуть мир, так утверждают подвижники. Сам Господь держит это скользкое блюдо, по которому ты туда-сюда перекатываешься, вот-вот сорвешься, и нету у тебя, жалкого, чтобы удержаться, никаких зацепок, да и никаких сил.

На следующий день на меня напали борсеточники. Я остановилась у аптеки на Кутузовском, и, когда дала задний ход, они сымитировали аварию – подкатили к моей машине свою серебристую BMW и, показывая царапины на крыле – мол, это я долбанула, выманивали из машины. Но ангел-хранитель мой сделал так, что хотя я их не видела, когда подавала назад, все же почему-то резко тормознула, словно кто-то мне шепнул: «Стоп! Стоп!»

Тем не менее громила из BMW стал ломиться в мою машину, откуда-то понабежали свидетели, которые якобы «все видели своими глазами» и что они мне сейчас все объяснят, если я открою машину, «а то плохо слышно». Но я им почему-то не открывала, и это, оказывается, было правильно, потому что они тут же схватили бы мою сумочку с деньгами и документами. А вместо этого я рванула вперед на тротуар и села пузом на высокую кромку. Так и сидела на ней, пока борсеточники не сорвались с места и какие-то дядьки не столкнули меня с нее. Я подумала: сколько им заплатить? Вспомнила давнишнее наставление старца Кирилла: «Если жалко денег, то дай». Мне было ужасно жалко, и я отвалила им тысячу.

А через несколько дней мой муж прочитал в «Известиях», что как раз в этот день у борсеточников был рейд именно в это время и именно на Кутузовском, и они очень даже успешно для себя обчистили Лию Ахеджакову и главного редактора – женщину – журнала «Крестьянка».

А на следующий день за мной погнался по переулкам сумасшедший на «Москвиче», которому показалось, что я, выезжая на Никитскую, его «подрезала». Он стал мне сигналить, потом обогнал и остановился, перекрыв дорогу. Выскочил из машины и пошел ко мне. Я спокойно его ждала, думая, что сейчас мирно объяснюсь, и все. Но он, квадратный, в спортивной шапочке с помпоном, в каком-то физкультурном костюме с олимпийским мишкой на животе, так яростно вращал глазами и размахивал монтировкой, что я в самый последний момент дала газку, объехала его и свернула в ближайший переулок. Но он погнался за мной – если можно назвать погоней стояние в пробке. Наконец, я выехала на Воздвиженку и увидела праздно гуляющего и даже как бы скучающего гаишника, лениво поигрывающего своей полосатой палочкой, которую еще торжественно называют жезлом.

– За мной гонится сумасшедший! – закричала я, останавливаясь подле него и открывая на ходу дверь.

Он лениво и презрительно посмотрел на меня и сплюнул. Но из подкатившего сзади «Москвича» уже выскакивал тот ужасный физкультурник с ломиком и уже заносил его прямо на глазах стража порядка над моей машиной, и тут я рванулась с места, машина аж завизжала, и мститель остался один на один с гаишником.

И так было каждый день – что-нибудь этакое. Я даже стала думать – ну что, в конце концов, лукавому меня с таким упорством преследовать? Достаточно ведь просто оставить меня наедине с самой собой – такая у меня начнется «духовная брань», раздвоение воли: одна часть говорит – хочу то, а другая – хочу се, прямо противоположное. Как писал кто-то из Святых Отцов: «Неупорядоченная душа сама несет в себе наказание». И вообще – где у меня те, условно говоря, «красные колготки», которыми когда-то моя подруга раздражила бедную Кику? Никуда я уже давно не лезу, духовных высот не штурмую – какие уж тут высоты! Мне бы хоть элементарные требования, предъявляемые к среднестатистическому члену Церкви, выполнить, и то было бы уже хорошо.

Монахи из издательства Рождественского монастыря, куда я ездила каждый день, чтобы некоторые оригинальные греческие цитаты перепечатать на их компьютере греческими же буквами, зная о моих злоключениях, встречали меня вопросом:

– Ну, что такое там у тебя еще остросюжетное за последний день приключилось?

Так ведь непременно что-то приключалось, и я рассказывала, а они слушали с волнением и интересом, заключая каждый сюжетный поворот вздохом: «Искушение!» Наконец, игумен Филипп сказал мне:

– Знаешь, я где-то читал, что не надо лукавого так... ругать. Не надо, не обостряй. Лучше вовсе его... не замечай. Говори себе, как благоразумный разбойник: «Я осуждена справедливо, потому что достойное по делам своим приняла». И помни, так Святые Отцы утверждали, что никакое зло не может приключиться с человеком, если Господь не претворит его потом в нечто благое, и причем это будет не одно какое-нибудь благое последствие, а несколько, может быть, даже множество. Он, как тот евангельский хозяин, который все равно соберет Свое даже там, где не сеял, не рассыпал!

И вот в самый разгар этих злостраданий и злоключений, в разгар этой какой-то «охоты за головами» мне вдруг звонят – и один человек, и другой, и третий, и даже четвертый – и сообщают, что мне присудили Пушкинскую госпремию. «Новый мир» выдвигал меня на нее уже несколько лет подряд, первый год, когда это было в новинку, я еще как-то интересовалась, но потом – просто выбросила из головы, ибо каждую весну повторялась одна и та же история: выезжаю я из своих ворот, а на шоссе стоит поэт Кублановский и голосует.

– Садись, подвезу!

Он садится, свежий, радостный, весенний, и сообщает мне:

– Слушай, а тебе опять Пушкинскую не дали. Такой-то в этом году получил.

И так каждый год, одна и та же картинка: Кублановский на шоссе, «садись, подвезу», «а тебе опять не дали...». Просто «День сурка» какой-то. Удивительно! И ведь не то чтобы я то и дело – летом там, осенью, зимой, да той же весной – Кублановского вот так вижу, с поднятой рукой, вовсе нет. Забежит он к нам на огонек – увидимся с ним, а нет – так месяцами даже и не ведаю, где он.

И вот таким манером я и узнавала о том, что, собственно, ничего не произошло, все тихо-спокойно.

Ну, не произошло и не произошло, я уже и не вникала, даже и не знала, кто там в этой комиссии заседает, что за народ.

И вдруг – удалось. Тут, конечно, я порасспросила, кто там заседал, потому что пошла и заказала благодарственный молебен и всех – неважно, кто был против, кто за, записала по именам.

– Ну, – подумала я, – вот как Господь приободрил меня в моих скорбях. Слава Богу, есть еще люди, которые помнят обо мне!

Небо посветлело сразу. Солнышко апрельское выглянуло. Птичка запела. Мама стала приходить в себя. Мой муж домой вернулся. Дочка забрала из больницы своего страдальца. Гениальный компьютерщик

Гриша, просидев неделю над моим компьютером, восстановил всего «Максима Исповедника», и цитаты мне позволили вставить прямо так – в переводе с французского, поскольку оказалось, что многое из Святых Отцов, в том числе и кое-что процитированное Ларше, вообще никогда не переводилось на русский. И денег мне отвалили за этот скорбный труд сполна. И Пасха уже не за горами. Воистину: «Вечером водворился плач – а завтра радость». Я даже написала Псалом избавления.

А меня все поздравляют и поздравляют с Пушкинской премией.

– А это уже точно? – спрашивала я.

– Да конечно точно. Все уже решено. Комиссия проголосовала, выбрала. У тебя – восемь голосов, у Рейна – три. Там только какая-то маленькая формальность осталась. Сейчас все это утвердят в президиуме, куда имена всех лауреатов из разных областей культуры и искусства стекаются – музыки, балета, архитектуры, изобразительного искусства и т. д., но это пустая формальность. Так что через месяц примерно тебе уже и вручат.

### 31

И вот прихожу я как-то раз в институт и встречаю Евгения Рейна. И так он всегда бурно меня приветствует, а тут посматривает искоса, губы кривит, и лицо у него хитрое-хитрое, даже глумливое какое-то. Такое лицо, что меня будто облако черное накрыло – влажное такое, тревожное, искусительное, что говорить – бесовское облако: брр! Душа заметалась, загоревала, сжалась болезненно.

– Что такое? – думаю. – Почему? Ну, Рейн и Рейн...

А внутренний голос мне явственно говорит – даже сквозь облако это муторное слышно: «Да не получишь ты ничего. Не дадут тебе получить...»

А у нас в институте как раз в это время вел семинар один из членов комиссии по госпремиям, и я просунула голову в его аудиторию, вызвала его на минутку:

– Так ты мне скажи – дали мне эту премию или нет?

– Ну конечно дали! Что ты все кокетничаешь!

– А когда у вас заседание этого президиума?

– Сегодня, кажется, в четыре часа, а что?

– Так вот они мне и не дадут...

– Ну, ты с ума сошла! Это же будет скандал! Не было никогда такого, чтобы комиссия присудила, а они отказали. И потом – с какой стати?

– А кто там сидит?

– Да там каждой твари по паре. Дизайнеры, балеруны, художники. Боря Мессерер там всем заправляет...

Ну, думаю, раз Боря, ничего дурного не произойдет. Он нам еще на свадьбу такую икону чудесную подарил – Святители Московские – Иона, Алексей, Филипп и Ермоген. Это, между прочим, была первая наша икона.

А облако-то черное все чернее, все гуще, клубится, смердит...

Позвонила мужу:

– Миленький, помолись сейчас за нас. Я чувствую – что-то нехорошее творится, а что именно, не пойму. Президиум этот сегодня заседает, и вот мне кажется... Я сердцем чую!

– Да ладно. Что это ты такая мнительная – все тебе дурное мерещится.

Кончился у меня семинар, звонит мне по мобилке мой чудесный друг – игумен Василий «пер Базиль», француз. Он служит в далеком монастыре и в Москву приезжает редко.

– Пер Базиль, – говорю, – поехали к нам в Переделкино. Я за тобой заеду.

– Не откажусь.

И вот взяла я отца Василия, заехали мы с ним в магазинчик, закупили того-сего, устроили пир, сидим, истории друг другу рассказываем, он уже по-русски совсем свободно изъясняется: научился там, с бабульками – даже облако это проклятое чуть-чуть развеялось.

И тут – звонок. Звонит мне тот член комиссии, которого я утром в институте пыталась:

– Не знаю, как тебе и сказать. Ты была права.

– Да ладно, – говорю. – Я и так это знаю. Даже и подробности у тебя не выпрашиваю, ты ведь давал обязательство ничего не рассказывать? Вот и не говори.

Муж мой расстроился ужасно. Он только сказал:

– Я все-таки не могу понять, что в духовном плане это может означать?

– Ах, – сказал отец Василий, – у меня вот тут тоже была скорбь, и я тоже в духовном плане этого никак не пойму. Вы знаете, я восстанавливал женский монастырь. Мои родственники давали на его восстановление деньги, потом я ездил в Москву на разные ток-шоу выступать, про монастырь наш рассказывал, чтобы нам деньги жертвовали, потому что он весь был разрушен. Фонд культуры тоже нам деньги переслал. Восстановили мы монастырь. И тут матушка игуменья решила: все, отец Василий нам больше не нужен. Все, что мы могли от него получить, у нас уже есть. И стала интриговать перед владыкой, чтобы меня оттуда убрали. И владыка переводит меня в другое место и дает мне разрушенный храм при сумасшедшем доме. Там даже купола нет – вот какое разрушение. И денег у меня – ни копейки. Хорошо. Пошел я к матушке этой игуменье на поклон. «Матушка, говорю, может, хоть сколько-то дадите мне денег из тех, которые нам Фонд культуры прислал? В монастыре ведь уже все есть, а храм мой разрушен, хоть бы купол нам возвести. Может, поможете?» А она: «Конечно, помогу, отец Василий, как не помочь? Возьми-ка ты, отец Василий, нашего козла и иди с миром!» «Какого козла? А мне он зачем?» «Вот и я говорю – зачем он мне, так что забирай его и считай, что мы в расчете».

## 32

На следующее утро мой муж служил у себя в храме утреню с литургией, и мы поехали туда к половине восьмого утра. После службы попили кофейку и отправились домой. Стоим в пробке, и тут звонит ему по мобильнику прихожанка:

– Отец Владимир, я сейчас такое узнала, такое! Я просто потрясена! Ваша жена с вами? Включите, пожалуйста, громкую связь, чтобы уж и она услышала. Позвольте я вам все расскажу. Звоню я одной своей старой приятельнице, а она работает в президиуме по госпремиям, секретарь, что ли, не знаю, как это называется. А у меня муж несколько лет назад госпремию по архитектуре получил, в общем, знакомы мы хорошо. Итак, звоню я ей – просто так, как дела, спросить, а она мне и говорит: «Не могу с тобой долго разговаривать, у нас тут такой скандал, такой скандал. Комиссия присудила премию одному, а наши мафиози из президиума отняли ее и отдали другому. Но только это не наша комиссия, не архитектурная, а литературная».

«Да, – спрашиваю, – а кому присудили и кому отдали?»

«Вообще-то я не имею права разглашать, но поскольку ты писателем все равно не знаешь, то тебе могу сказать: присудили, – и тут она, отец Владимир, назвала фамилию вашей жены, – отметила прихожанка и продолжала, имитируя чужую интонацию, видимо, этой своей приятельницы из президиума, – а отдали Рейну. Это было невооруженным глазом видно: заговор, хотя я ни эту поэтессу не знаю, ни этого Рейна. И вообще мне все равно, это не по нашему ведомству. Ой, это был такой спектакль! Станиславский отдыхает! «Не верю, – кричит, – не верю!», а сам – все равно отдыхает. Все было разыграно заранее, по готовому сценарию, как по нотам. В общем, когда человек из литературной комиссии объявил нового лауреата, тут встал Мессерер – ну это муж Ахмадулиной, если ты не в курсе, и сказал вроде того, мол, слушайте, кто такая эта поэтесса? Я, например, не знаю, кто она такая. Никогда даже не слышал, – говорит он. – Ну, что

мы будет давать премии кому попало. Давайте лучше дадим премию известному поэту Рейну, он уже у нас получал госпремии, он учитель Бродского, это будет солидно. Ну, я, конечно, не слово в слово тебе передаю, это понятно, но смысл такой. И его люди давай поддакивать: Рейну, Рейну дадим.

А этот «литературный» человек им резонно говорит: позвольте, да ведь комиссия несколько раз собиралась, в несколько туров голосовала, в результате поэтесса эта получила восемь голосов, а Рейн – только три. Это будет неуважение к литературной комиссии. А Мессерер гнет свою линию: знать я ее не знаю. Хотя, согласись, при чем тут – знает он или не знает, его кто спрашивал? Он что – каждую балерину знает – из Кировского театра или Мариинки, которым премии присуждают, или – каждого архитектора, или что – в музыке он так сечет? Эта комиссия специальная потому и заседает, что там – эксперты. А его дело – сторона. Сиди, собирай результаты. Ну да он так надавил! Но с утра уже – сумасшедший дом. Эти из литературной комиссии названивают, скандалят, жаловаться грозятся – Путину, во как».

Вот, отец Владимир, пересказываю вам все, что от моей приятельницы услышала, – перевела дух прихожанка. – Надо же, а я ведь и не знала, что вашей жене премию присудили... Если б выказала личный интерес, то моя приятельница ничего бы мне и не рассказала. А так – Господь открыл. Все тайное становится явным. Но ведь и этой приятельнице я тоже как-то вдруг позвонила, ни с того ни с сего, как бы что-то подтолкнуло меня: позвони ей, позвони. Полгода не звонила, а тут – на тебе.

Некоторое время мы ехали с мужем в полном молчанье. Потом я сказала:

– Ну и потеряли мы эти виртуальные деньги, и ладно. Владыка наш говорил когда-то, что есть мистика денег – деньгами распоряжается Сам Господь. Если надо, не через этот канал пошлет, так через другой. Утратила я этот новый возможный литературный статус – тоже можно смириться. Я же не режиссер, для которого это важно в плане завлечения спонсоров на его новый фильм. А на мои стихи это никак не повлияет: как писала, так и буду писать. И вообще мне отец Ерм всегда говорил: «Если что-то не получается по не зависящим от вас обстоятельствам, значит, Господь приготовил вам кое-что получше».

Но вот что отвратительно – так это то, что я никогда на эти премии не рассчитывала, в расчет не брала и держалась в этом смысле совсем независимо, а тут искушение состоит в том, что меня-таки вовлекли, заставили об этом думать, волноваться... Словом, мир ловил, ловил меня и... поймал. А что меня поразило в этой истории, так это то, что Господь нам так неожиданно и молниеносно открыл все эти тайные механизмы, ведь мы бы могли так ничего об этом и не узнать до скончания дней. Даже и наверняка не узнали бы, потому что – а как? В принципе, это все засекречено, все держат язык за зубами. А тут – так элементарно: звонит твоя прихожанка своей приятельнице, а та ей как непосвященному человеку выкладывает все. А теперь скажи мне – в промыслительном плане это – зачем? Ведь все могло бы быть, как всегда – выкатилась бы я за ворота, встретился бы мне голосующий Кублановский, сел бы в машину, свежий, улыбающийся, сказал бы нормальным голосом человека, который знает, что это меня вовсе не узавит: «Опять тебе пушкинскую не дали... Рейн получил».

И жизнь пошла бы дальше своим чередом – ни всплеска, ни холодка... А тут я начинаю перебирать подробности. Вот, думаю, Рейн, тоже мне друг! Сколько с ним было связано, и в Париж мы с ним ездили, и в Кельн, и Новый год вместе встречали, и когда он жил в доме творчества, каждый день, а иногда и по два раза приходил к нам читать стихи. А теперь я сижу и думаю, что тогда, когда я увидела его лицо в институте, он уже заранее был посвящен... А о Мессерере я уж и не говорю – сколько раз мы выступали с Ахмадулиной на поэтических вечерах, он всегда после этого раскланивался, подходил... Конечно же, это и есть губительная литературная жизнь!

Вот она-то и губит творчество, затаптывает его, закатывает в прах. Вот она-то и есть – грех. Помнишь письмо, которое писал мне монах Лазарь? Стихи писать – не грех: в них любой плач с мелко подрагивающими плечиками вырастает в великую Песнь Плача. В ней разлука поет псалмы, в ней печаль играет на цитре, – это уже я принялась цитировать саму себя. – В ней проступает библейская первооснова жизни, в ней Царство Небесное открывается, дышит прямо у тебя в груди – какой же грех? Сам Господь

возвещает нам через пророка Иеремию: «Извлеки драгоценное из ничтожного и будешь как уста Мои». Это же и есть формула творчества, вот я и силюсь извлечь... А литературная жизнь, эта игра масок, силиконовые страсти, синтепоновые небеса, клюквенный сок, – вот иллюзия, обман, губительный, губительный обман, конкурс тщеславий, грех! Понимаешь, я даже маме не посмею об этом рассказать, так это все стыдно, она не поверит... Или она скажет: «Белка? Да она добра, добра!» Точно не поверит, еще и обругает меня, обвинит во всем: приняла, скажет, достойное по своим делам! А может, та действительно ни при чем?

Муж молча слушал меня.

«Действительно, – подумала я, – она вообще об этих Бориных делишках может ничего и не знать – сидит себе, печальная, взаперти. Подбитая птица! Недаром же ее с таким трепетом любит моя бедная мать!»

И я, ни с кем не советуясь, даже с самой собой, не просчитывая последствий, а просто – по импульсу, по мановенью души позвонила Белле. Я хотела... ну, пожаловаться ей, что ли, на Боря, спросить это свое: «как же так?».

– Белла, – сказала я, – представляете, Боря заседал вчера на каком-то президиуме по госпремиям и сказал, что он и знать меня не знает, и слыхом не слыхивал... Как же так, неужели же ничего, что было у нас с вами связано в этой жизни, не важно, не имеет значенья, вменено в ничто: растереть и забыть?..

Ведает Бог, мне не нужно было от нее ничего, кроме слабого лепета о ее неведении, что это – недоразумение, что она не может понять, как так вышло, что «может быть, он подумал, что это – какая-то другая поэтесса, однофамилица», мало ли, ну, что-нибудь такое...

– О, – по обыкновению растягивая слова, скопившиеся за нижней губой, и чуть придерживая их верхней, – запела она. И потом она очень возвышенно стала говорить о том, как ей жаль меня, бедное-бедное дитя, ибо я так пекусь о премиях, а поэт (она выговаривала скорее «пуэт», и «пэ») глухо лопалось у нее на губах, как пузырик) – весь в упоении творчеством, в блаженстве... И что Рейн достоин, этот прекрасный Рейн. И что она сама – о, как она от этого далека, это все ей так чуждо, вся эта тщета...

И все слышалось это со стиснутыми зубами – «пуэт», «пуэт»...

Я положила трубку.

Передо мной проплыли картины всех наших встреч, начиная с той, когда я в семнадцать лет пришла к ней в лоджию в Коктебеле читать стихи – так тогда было принято, чтобы начинающие поэты читали стихи уже признанным. Там был ее тогдашний молодой муж Эльдар и Искандеры – Фазиль, Тоня и их дочка. И вот я стала читать стихи, и вдруг у меня полились слезы. Я читаю, а они текут и текут по щекам, текут и текут. То ли я была настолько стеснительная, что мне приходилось себя преодолевать, то ли сами стихи были связаны у меня с какой-то душевной болью – не знаю. Но как только я дочитала, все кинулись меня утешать, обнимать. Белла сказала: «Если бы я так писала в семнадцать лет, я бы сейчас была уже Гёте», потом написала стихотворение:

Пришла. Стоит. Ей восемнадцать лет.  
– Вам сколько лет? Ответила: – Осьмнадцать! —  
Многоугольник скул, локтей, колен,  
Надменность, уголоватость и косматость.  
Так и сказала: «Мне осьмнадцать лет.  
Меня никто не понимает в доме.  
И все равно я знаю, что – поэт!»  
И плачет, не убрав лицо в ладони.

Еще я вспомнила, как я ездила в Переделкино на дачу к Евтушенко просить, чтобы он заступился за «метропольцев», с некоторыми из них я дружила. Он очень долго объяснял мне, по каким веским причинам

он не станет этого делать, и уж, конечно, не будет ни сам писать, ни подписывать никакого коллективного письма в их защиту... В противовес этому он принялся мне подробно рассказывать, как он заступался за Бродского и даже подарил ему брюки, и тот отплатил ему черной неблагодарностью. И о том, как он заступался еще за кого-то, и еще, и еще... Я вполне верю. Потом уже, через несколько лет, я имела возможность в этом убедиться. То какие-то люди стучали у родительских ворот, пугаясь гусей и не осмеливаясь войти, и выяснялось, что они ищут Евтушенко, чтобы он заступился за них, потому что они «отказники»; то он подписывал письмо в защиту Павла Проценко, диссидента-религиозника, которого посадили в Киеве в тюрьму за сбор материалов о новомучениках, и я пришла к Евтушенко с просьбой о помощи.

Словом, на электричку я опоздала, дачи тогда у моих родителей еще не было, и тут я вспомнила, что вся честная метропольская компания как раз пирует в эту ночь у Беллы, куда, кстати, звали и меня. А там есть люди с машинами, кто-нибудь меня да и захватит в Москву. И вот я пришла туда, и мы еще пировали и пировали, и это был конец мая – самое блаженное время, когда уже соловей пробует голос и набухает сирень, и Белла вещала что-то велеречиво, и Боря ревниво следил, чтобы никто ей больше не подливал, а потом все поднялись, и кто-то – то ли Битов, то ли Ерофеев – отвез меня прямо домой. Ах, да что теперь вспоминать!

### 33

– Слушай, – сказал мне Андрюша Витте. – Мессерер это сделал, потому что был абсолютно уверен, что об этом никто не узнает и наказания не последует. А кроме того – даже если предположить, что ты все-таки узнаешь, это ему ничем не грозит – ведь твой муж не может же ему набить морду, как сделал бы любой другой мужик на его месте, он же священник. Ну, так я набыю.

– Да брось ты. Вот еще. Он – старик, а ты, добрый молодец, удалец, пес-рыцарь, можно сказать, дашь ему легонько, а его кондрашка хватит.

– Тогда ты сама его... выпори. Плеткой. К тому же его почтенный возраст будет вполне соразмерен твоей телесной мизерабельности. За такие вещи положено пороть.

Надо же, а у меня как раз есть... плетка для верблюда. Я купила ее у старого бедуина, жевавшего бетель, у подножья горы Синай. И так мне все это понравилось: бетель, бедуин, подножье горы Синай, что я сразу живо себе это представила: выйду на круг – черные галифе, белая блуза с жабо, широкий пояс с огромной пряжкой на талии, может быть, даже и полумаска – щелкну хлыстом: «Алле!»

И вообще это «выпороть» было очень созвучно настроениям моей прабабушки – польки, по духу – лютой крепостницы. Даже и в советские времена, это я помню, она частенько, глядя в телевизор и увидев там какого-нибудь чиновника с надменным и тупым лицом, говорила: «А этого холопа я бы отправила выпороть на конюшню». Она и до смерти сохранила это польское «эль», произносимое скорее как «у», получалось: «хоуопа», «отправиуа».

Весть о том, что я собираюсь в публичном месте высечь Мессерера синайским бедуинским хлыстом для верблюдов, разнеслась на удивление быстро. Воистину то, что нынче шепнешь на ушко в подвале, завтра будут говорить на кровлях. Во всяком случае, уже через два дня после того, как первое слово было произнесено, мне сказал редактор литературного журнала:

– Слушай, а что за аутодафе ты собираешься учинить Мессереру? Мне тут звонил прозаик Пе, очень обеспокоенный, и спрашивал про тебя: «Что она с ума сошла? Говорят, она повсюду подлавливает Мессерера, чтобы высечь его бедуинским хлыстом!»

Да ладно, все это так, игра. Походила я с этим пижонским кожаным хлыстом в золотых колечках и заклепках, поюродствовала, покрасовалась среди своих. И, как это у Достоевского, стусевалась. Вспомнила я эту белку Борю, которая жила у нас несколько лет, чуть что прыгала в колесо и неслась куда-то, неслась.

Белочке своей подкладывала орешки, шерстку вычесывала, шептала что-то такое нежное по-беличьей ей на ушко. Вот и человек Боря – тоже так. Также ведь свое рыцарское служение возле Беллы несет – стережет, оберегает и обихаживает, тоже ей всякие орешки в золотых скорлупках подкладывает, разгрызть помогает. Да я сама, может, если б у меня такой Боря был, уже как Гёте писала! Как он о славе ее печется, смотрит, чтобы никто и косога взгляда на нее бросил, словечка непочтительного не обронил. И ведь, по большому счету, он по-своему прав: зачем еще к какой-нибудь там поэтессе внимание привлекать, Беллы Ахмадулиной, что ли, для этого нет?.. Я бы, если бы у меня муж был поэт, а какие-то чужаки мельтешили бы перед глазами, тоже бы их начала разгонять-расталкивать: кыш! – кричала бы, – ишь, налетели! кыш! Ну, так пусть все и смотрят на нее, не отвлекаются, не отводят глаз. А еще лучше, чтобы было объявлено в государстве всем, прямо указ такой: «Дамы и господа! Русская поэзия давно закончилась на Белле Ахатовне». Всё!

А тут в «Литературке» выходит открытое письмо членов комиссии по госпремиям Путину, где они выражают свое возмущение тем, что их решением пренебрегли. Потом мне рассказывали, что это письмо посылали президенту двумя путями. Первый – легальный – через экспедицию. А второй – блатной – через некоего знатного человека, который имел доступ к путинскому референту. Но тут произошел облом: референт якобы затребовал такую сумму за передачу письма, которая превышала сам размер премии. Не знаю, дошло ли письмо первым путем, то есть «обычным ходом», но вскоре после этого всех разогнали – комиссию упразднили, президиум распустили, а саму Пушкинскую премию отменили вообще.

## 34

...И вот однажды вышла я за порог, а там – весна, весна! Шиповник у моего крыльца после зимы охорашивается – зимой на него весь снег с крыши валился – накопится критическая масса снега и со страшным грохотом на этот шиповник – бух! А тут он уцелевшие ветки расправил, листочки выкинул, прямо хоть в объятия к нему иди. И стала я с ним, как некогда молодой Андрей Болконский со старым дубом, все разговаривать: сяду ночью на ступеньку к нему лицом и: «Я тоже неважно перезимовала, – ему говорю. – За целую зиму так ничего и не написала сама, даже навык такой утратила, всю себя отщетила в литературных страстях, обнищала вконец, надо теперь все начинать с нуля».

Так все лето и просидела ночами на ступеньке возле него, пока загорались на нем цветы и тугие крепкие ягодки повисали то тут, то там. Просидела во тьме до первых птиц и лучей, пока плоть не изнемогла, пока ветер не выдул весь хлам из души, весь прах. Просидела весь мрак, все часы росы, пока не открылись, наконец, небеса, пока не выпросила себе блаженства, уготованного всем нищим духом. Размышляла почему-то о том, как иные безумные и дерзкие богоборцы все пытаются оправдаться Иаковом: мол, они, как и праотец, борются до зари с Богом, и этим утверждают и возвышают себя и находят себе похвалу. Но он-то боролся совсем не так, совсем не за тем, и когда взошла, наконец, заря, Иаков сказал: «не отпущу Тебя, пока не благословишь меня».

## 35

А мама моя через год после этого умерла. Я ее, конечно, не посвящала во все эти литературные истории, потому что какой в них для нее прок? И вообще – мы с ней как будто бы вдруг поменялись местами: она стала как бы моя дочь, а я как бы ее мать, и я говорила ей: «А теперь давай я тебе почитаю Евангелие» и читала вслух, беря ее за руку, когда она отвлекалась. И она виновато, по-детски опускала глаза.

А перед смертью сказала, худенькая, беспомощная, почти слепая, с детским доверчивым и наивным лицом:

– А знаешь, я рада, что все эти страдания, испытания и даже болезни послал мне Господь. Я бы ведь никогда не узнала того, что мне открылось, когда я все это претерпела и пережила.

Что-то такое она там узрела – в самой своей глубине...

## 36

Ну вот, мир разделился на две части, но в этом не было манихейства, и граница проходила вовсе не между материальным и идеальным, а между живым и мертвым, поэзией и всем остальным. Живого было много, с избытком, с перехлестом, оно было художественно, и сердце изнемогало от страдания, от красоты и любви. Оно было там, где архангел Рафаил вел Товию с его собакой сватать ему жену и изгонять Асмодея – злого демона, на брачном ложе умертвляющего молодых прекрасных мужей. И оно было там, где мама разбивала свой сад, городила свой огород, и папа заселял туда зверей, птиц, рыб и мудрых змей, как на иконе рая из Поганкиных Палат. Там было изобилие форм и вольность в порядке слов, там Фет рифмовал, вопреки всему, «огня-уходя», а Блок – «снизошла-ушла», там вдруг возникал гоголевский казак Кукубенко из «Тараса Бульбы», гибнущий на сечи, и говорил: «Благодарю Бога, что довелось мне умереть при глазах ваших, товарищи! Пусть же после нас живут еще лучшие, чем мы, и красуется вечно любимая Христом Русская Земля!», но – главное – гениальный и дерзновенный Гоголь продолжал: «И вылетела молодая душа. Подняли ее ангелы под руки и понесли к небесам. Хорошо будет ему там. «Садись, Кукубенко, одесную Меня, – скажет ему Христос, – ты не изменил товариществу, бесчестного дела не сделал, не выдал в беде человека, хранил и берегал Мою Церковь»».

Там бегала моя Тутти, там моя Соня нянчила ночь напролет на груди щенка, и Лиза в костюме волхва несла младенцу Христу дары, а Наденька бежала за ней, и волосы ее на солнце были белы как снег. Там дочери мои с прекрасными лицами – сами рисовали себя в этом раскладе рода, в череде сильных женщин, и наш владыка вел нас с мужем куда-то, мы и не спрашивали куда.

– Почему вы не спрашиваете, куда мы идем? – загадочно поглядел он на нас.

Мы приехали к нему неожиданно, просто ехали из Свято-Троицкого монастыря в Москву и решили сделать крюк.

– А куда мы идем? – спросила я.

– Мы тут опекаем колонию для преступников-малолеток и уже построили прямо на их территории храм. Хочу вам все показать.

Действительно, мы приблизились к зоне, и нас встретил взвод охранников.

– Наша колония – для очень страшных преступников, – стал нам объяснять вертухай с полным ртом золотых зубов. – Тут – только убийцы и насильники. Тяжелый такой контингент.

– Ну, проведите их, покажите, где они спят, где учатся, а я пока с начальником зоны улажу дела, – попросил его владыка. – А тебя, отец Владимир, я очень прошу – скажи им небольшую проповедь.

Пока мы ходили по коридорам зоны и заглядывали в камеры в сопровождении двух охранников с автоматами, под окрики: «Руки за голову! Лицом к стене!», пока осматривали классы, где у малолеток проходят школьные годы, заключенных уже собрали в актовом зале, и когда мы туда вошли, он был набит битком. Повсюду – вдоль стен, возле рядов, между проходами стояли автоматчики и взирали на этих таких маленьких, плюгавеньких, страшеньких детей. У многих была уже на лицах какая-то страшная печать – вырождения ли, проклятия... И все они, низкорослые, низколобые, с близко сдвинутыми к переносице глазками, испускали жуть.

– Ну вот, – сказал тот, с золотыми зубами. – А теперь мы послушаем, что скажет нам небесный отец.

И он сделал жест рукой в сторону моего мужа. Он встал перед ними в своей широкой греческой рясе и взялся рукой за наперстный крест.

– Вы знаете уже о Христе? Вы знаете, что Он – Бог, пришел на землю, чтобы всех спасти, всех ввести в

Царство Небесное. А вот скажите, кто первый вошел в рай?

Они загудели.

– Начальник лагеря! – крикнул один.

– Вертухай! – крикнул второй.

– Кум вошел, ясное дело, кум, – крикнул третий.

– Николай-угодник, – потянул четвертый, по-видимому, «продвинутый».

– А вот и нет, – сказал отец Владимир. – Не вертухай, не кум и тем более не начальник лагеря. И даже не Святитель Николай. Первым в рай вошел... разбойник, получивший «вышку».

Зал ахнул и загудел.

– Пургу гонишь, да не может быть, начальник! – раздалось с мест.

– Разбойник! – повторил он. – Этот разбойник признал в Христе Бога, поверил и обратился к Нему. И Христос – только поэтому – сказал ему: «Сегодня же со Мною будешь в раю!»

Тут началось такое смятение, что конвоирам пришлось срочно усмирять зал. Но откровение, которое принес им священник, было так кардинально, что разом меняло и весь мир, и все, что в нем.

– Вот у вас, на зоне, какие тут есть самые страшные статьи, по которым вы сидите?

Они стали наперебой выкрикивать:

– 105, пункт д... 131 – прим., пункт б... 132, пункт в... 162... 214...

– А я вам расскажу, какие у нас в христианстве есть статьи, за какие смертные грехи их дают...

Малолетки замерли, вслушиваясь в Божественный закон.

– Ну, как там? – спросил владыка, когда мы вышли, потрясенные, на белый свет.

...А ведь как просто, всего-то лишь: «Помяни мя, Господи!» – где бы то ни было, где угодно, в любой момент, всегда, везде... Поминование Божье – уже бытие.

Как бы сказал мой друг-агностик Петя:

– Трансцензус!

В другой половине было мертвое – там жили призраки, какие-то скорлупы, видимости людей. Они тоже – как бы говорили, как бы думали, но внутри их была пустота и таилась смерть. И я подумала: скажу Пете, что такое пошлость. Пошлость – это видимость, лишенная сущности. Это дыра в том месте, где реальность и смысл разошлись.

Но граница меж ними была зыбка, все можно было еще изменить и соединить, можно было еще извлечь драгоценное из ничтожного... Взял Господь Бог прах земной, создал из него человека, вдунул в лицо его дыхание жизни, и стал человек душою живой. Сам сделался человеком – и стал Воплощенный Смысл.

А что же такое Тутти? А Тутти – это отложенное страдание, которое все равно настигнет и возьмет тебя в оборот. Одушевленная ходячая истина, от которой внезапно – непонятно, каким образом, почему, – и больно вдруг, и светло.

А может – это тайное новое имя на белом камне, и лишь побеждающий получает его.

## 37

– Слушай, – сказал мой муж, – не хочу тебя пугать, но у меня уже несколько дней болит сердце.

– Как, именно сердце?

– Именно сердце и именно болит, как у Пети. Тянет, ноет – сил нет, я просто не хотел тебе раньше говорить – думал, как-нибудь само рассосется. Но сегодня у меня исповедовался кардиолог. И я после службы к нему подошел, спросил – что делать, может, капли какие-то пить. А он выслушал меня и говорит: что вы, это все нехорошо, какие капли, вам надо срочно в госпиталь. Это может быть что угодно – предынфарктное состояние, ишемия. А, может, и нет. Он сказал – это может быть и невралгия. Просто

мышца какая-то тянет, и всё.

– Это я тебя своей собакой до этого довела! Конечно, надо срочно в больницу, но куда, куда?

– Этот кардиолог мне предложил завтра же лечь к нему. Сказал, мы вас всякими датчиками, аппаратами увешаем, сразу диагноз поставим, подлечим, ну что, лечь мне?

– Конечно, ложись!

«Вот оно, – подумала я, – та неведомая беда, которую я уже чувствовала, но не знала. Несчастье, до поры сокрытое, но ведомое душе. Так вот почему она так томилась и тосковала!»

К вечеру позвонил мой сын:

– Ну что, завтра собаку тебе везу.

– В Переделкино?

– Прямо в Переделкино и доставлю. Только у нас тут трагедия. Все уже к ней привыкли, обцеловали, обкормили. Знаешь, просто страшно переживают. Женщины даже плачут. Такая веселая собачка, такая ласковая! А главное – она уже и не помнит тебя – так ластится ко всем, так радуется!

– Как – не помнит?

– Нет, ну, может, вспомнит еще... Действительно, поначалу она все плакала, все к тебе рвалась, искала, ждала... А сейчас привыкла, полюбила тут всех. Хорошо ей. Может, у тебя будет теперь скучать...

– Да? Так мне что, может, не забирать? – растерялась я, и дрогнуло сердце. Качнулось, как мятник, туда-сюда.

Вот оно, порочное двоящееся произволение, исчадие всех грехов! Именно здесь коренится зло – в непостоянной, неустойчивой, противоречивой, превратной человеческой воле.

– Ну, как хочешь, тебе выбирать. Но ей здесь хорошо. Она счастлива.

– Нет, ты мне скажи: да или нет? – жалобно пролепетала я. – Как скажешь, так и будет. Тут еще папу кладут в госпиталь с подозрением на инфаркт.

– Слушай, – сказал он, – смотри на это прагматически. Нужна тебе собака – я привезу. Не нужна, не можешь ты за ней ухаживать, папу кладут в госпиталь – я с радостью ее оставлю себе. Ну, подумаешь, прибилась к владыке эта собачка, он думал: кому бы ее отдать? – и отдал тебе, а ты отдала ее мне. В чем проблема?

Проблема в том, подумала я, что Тутти – это сокровенность, с которой приходишь на Страшный суд. Тутти – это то, как мы когда-то шли с моей бабушкой к половине восьмого утра в детский сад через мост с Кутузовского в Девятинский переулок, где сейчас храм Кизических мучеников, и было еще темно, и мне пять лет, и валил косой снег прямо в лицо, и ветер задувал с реки, аж свистел, гремел, и мы обе были еще сонные, и бабушка, такая хрупкая, в черных ботиках, которые кнопкой застегивались на тонкой щиколотке, в легком демисезонном, песочного цвета пальто, придерживала рукой поднятый воротник, и ветер сорвал с нее шапочку, и куда-то понес, поволок, но она не побежала за ней, потому что другой рукой крепко держала меня, и было пустынно, таинственно, и не было вокруг ни души, и снег был синеватого цвета, как будто все было заколдовано, мерцание какое-то вдаль, и так не хотелось расставаться с моею бабушкой; и что-то мучительное было в этом движении – вперед, вперед, и в то же время сладкое, ведь бабушка все еще шла со мной, и опять мучительное, потому что уже показывался купол недействующего этого храма, где детский сад; и все еще блаженное, потому что бабушка все еще была здесь... И я шла рядом с ней и думала: «Вот я такая маленькая, а у меня уже так много было всего!» А потом – словно порвалась пленка, и я не помню уже ничего.

## Человек в интерьере

### Рассказы

## Касьян

Вообще-то я знаю двух Касьянов: естественно, оба родились в високосный год 29 февраля. Оба они – немцы, чьи предки чуть ли не с XVII века укоренились в России, только одни вышли из Голландии, а другие из Пруссии. Оба потомка – ни тот, ни другой – немецкого языка не знают. Одного зовут Андрей Витте, и он дальний родственник того самого графа Сергея Юльевича, царского премьер-министра, хотя и не по прямой линии – у того своих детей не было, и Андрюша – правнук кого-то из его братьев: то ли Александра, то ли Бориса. Другого зовут Александр Берендт, и он тоже дворянского происхождения. Оба они – православные, оба покрестились в монашеских скитах (разных). Оба они хороши собой, стройны, артистичны, аскетичны, талантливы. Оба – эстеты, но не снобы. Оба пробовали себя на литературном поприще и в самых разных жанрах, и оба печатались, и не без успеха, так что имена их могут быть вполне знакомы читателю, но ни один из них не отдавался литературе как своему призванию.

Один, впрочем, закончил Строгановское училище, а другой – Литинститут. Добавлю еще, что с одним из них я училась в школе, а с другим подружилась, едва-едва ее закончив, и с обоими я в духовном родстве, ибо один – мой крестный сын, а другой – крестный отец моих детей. При этом они, часто встречаясь у меня, церемонно раскланиваясь и упражняясь в острословии, не то чтобы недолюбливали друг друга, а испытывали нечто вроде смутной ревности и держались на расстоянии.

Впрочем, один из них – Александр – женился на француженке и уехал во Францию, родил дочку и счастливо укоренился там, а вот Андрея Витте, о котором и речь, на семейном поприще ожидали тяжкие испытания и разочарования.

Начнем с того, что еще в весьма даже юном возрасте он страстно влюбился в Лилию Злоткину – настолько, что сделал ей предложение, на которое она откликнулась пылким согласием. В этом он точно следовал по стопам своего двоюродного прадедушки Сергея Юльевича – тот тоже страстно влюблялся, причем еще и похлеще своего правнука, потому как влюблялся он исключительно в замужних дам, потом разводил их с мужьями, применяя к тем подкуп или просто административные меры, и преспокойно женился. Так вот – второй раз он женился как раз на еврейке Матильде Ивановне, урожденной Нурок, взял ее вместе с дочкой от первого брака и заплатил ее мужу за нее большие деньги. Но как раз у Андрюши все так гладко не получилось: напротив, как пишут в старинных романах, судьба приготовила ему печальный сюрприз.

Оказалось, что родители Лили подарили документы на отъезд в Израиль, и уезжать они собрались непременно с дочерью. И Лилия, пригрозив родителям, что непременно отравится от несчастной любви, уговорила их взять с собой и Андрюшу. Но Витте совершенно не хотелось ехать в Израиль, хотя он Лилию очень любил. И вот он пошел на крайние меры и предложил, по примеру своего предка, родителям за нее выкуп: это была прекрасная картина кого-то из малых голландцев «Мальчик с петухом», чудом уцелевшая в их доме во время революционных бурь. Но Лилины родители не проявили к этому произведению искусства никакого интереса, мама Лили даже посетовала, что изображение для комнаты «мрачновато» и «простовато», и вообще при чем тут этот петух, а кроме того, они, несмотря на то, что оба были бухгалтерами и, значит, знали счет деньгам, совершенно не могли себе представить ее стоимости, а Андрюша намекнуть им на это постеснялся. Так что обмен и не состоялся. Лилия билась в истерике, а Андрюша выпил какое-то безумное количество седуксена, от которого его постоянно мутило и потом он ходил целую неделю как стеклянный. В общем, эта история их расставания была совершенно душераздирающей, и в конце концов каждый остался при своем: Лилия уехала с родителями, а он прильнул к исторической родине и даже уговорил меня взять его к старцу Серафиму в Ракитное, чтобы он там мог покреститься и вообще «приложиться к своему народу»... Андрюша вообще всегда считал себя патриотом.

После этого душевного потрясения с Лилей у него то ли вдруг разыгрались дворянские амбиции, то ли включилось чувство самосохранения, и, рассуждая о своей будущей избраннице, он отмечал: «Прежде

всего, она должна быть дворяночка, пусть даже захудалая. Но, понимаешь, все-таки женщина – она должна быть... со статью. Такая, чтобы можно было ею просто полюбоваться». И тут он читал свои новые стихи, над которыми мы с моим мужем долго потом подтрунивали. Впрочем, он посмеивался вместе с нами, да и вообще – стихи не были его коньком. Впрочем, он на них никакой ставки и не делал. Там были такие строки:

Пусть серый день встает, и гнет, и давит,  
Но кто из нас – слагателей стихов —  
Вдруг женщину прекрасную представит  
Без платья – рюмочкой и одуванчиков духов?

Мы дружно возражали против этого дурацкого «платья – рюмочкой»: что за рюмочка еще такая? Что за платье? Как это можно себе представить? И наперебой предлагали ему всякие варианты: то это было «без взоров – бабочек», то «без пенья ласточек», то попросту «без шубки норковой», пока это не превратилось в хроническое насмехательство... Причем «одуванчик духов» оставался незыблемым.

Наверное, Андрюша предпринимал какие-то шаги, чтобы добыть себе для любования такую дворяночку с одуванчиком, потому что время от времени он мне вяло рассказывал про каких-то самозванок – одна заманивала его тем, что якобы вела свою родословную от Мнишков, и сама Марина приходилась ей прапрапра...бабушкой. Но Андрюша, который интересовался в русской истории конспирологическими сюжетами, в том числе и самозванцами, а в первую очередь, конечно же, Лжедмитриями, тут же пресек на корню эту явную фальсификацию. А другая, пытаясь прельстить красавца Витте, заливала ему о том, что на самом деле ее фамилию Печник надобно произносить «фон Печник» с ударением на первый слог.

А с другой стороны, его рассказы полнились и сведениями о неких даже и весьма родовитых молодых особах, к которым не подкупаешься, но все они были какие-то не такие – хоть вроде бы и «дворяночки», но без «взоров-ласточек»: то одна оказывалась, по его словам, как-то уж очень по-плебейски чванлива и злобна, то другая – неряшлива и непомерно толста, в общем, это было «все не то».

– Понимаешь, мне ведь дворяночка нужна, потому что подлинная аристократка – проста. Она естественна, она скромна, в ней есть честь, в ней самой по себе есть достоинство. Она самодостаточна. Ей никому ничего не надо о себе доказывать, искать себе места под солнцем – оно у нее изначально есть. И потом – она православная. Это для нее органично – без кликушества, без неофитства. Она и мужу может интеллектуально скрасить досуг, и жизнь украсить собой, и гостей принять, с ней можно и на богомолье отправиться, и на какой-нибудь великосветский прием... Слушай, может, у тебя кто есть, подруга какая-нибудь – пусть бедная, но – с родословием, милая, немного старомодная, изящная...Только чтоб не Тома и не Зина. И еще – не Галя, не Рая, не Света и не Лара. Лучше чтоб – Александра, Екатерина, Елизавета, Мария, Анна, Анастасия. Можно – Елена.

В общем, понятно, «скромненькая», «старомодненькая», «захудаленькая», а все царские имена назвал.

Жалко мне стало Андрюшу, но и ведь сводничеством не хочется заниматься. Но все сложилось как-то само собой: приехали ко мне две мои подружки из Ленинграда – две сестры, княжны, то ли внучки, то правнучки знаменитого Бадмаева, который был врачом царской семьи. А как раз приближался мой день рождения. Так что встреча и без моего умышленного посредничества была неизбежна.

И тем не менее я все-таки подала ему знак.

– Андрюша, это очень достойные девушки, действительно чуть старомодные, церемонные, они из моих друзей почти никого не знают, так что я тебя посажу между ними, ты уж их развлекай. А зовут их – Анна и Мария. Тебе в самый раз.

А им сказала:

– Я посажу вас с потрясающим Андрюшей Витте. Витте – ну, понимаете, тот, министр финансов,

аграрная реформа...

И сделала неопределенный, но красноречивый жест, который должен был отослать их к фамильным истокам моего друга.

Они заулыбались, закивали, тут начали приходить гости, много гостей, я всех усадила, но стол был такой большой, что общего разговора не получалось, все сидели группками и лишь время от времени произносили тосты, к которым все примыкали. За Андрюшей и княжнами я и не следила, а когда вдруг выхватывала их взглядом, видела, что все трое беседуют, а Витте – так даже что-то серьезное им вещает, – столь глубокомысленным и сосредоточенным показалось мне его лицо.

На следующий день после дня рождения мы зашли с ним выпить по чашке кофе в кафе, и я не удержалась и спросила его:

– Ну как? Как тебе мой день рожденья? Он сказал:

– Честно говоря, такие зануды эти твои княжны – что одна, что другая. Тоска зеленая от них.

– Но ведь княжны же... Не анекдоты же им тебе травить.

– Княжны, может, и княжны, но уж больно, – он покрутил кистью в воздухе, изображая нечто причудливое, – «софистикейтид». Заумные больно... И воображали. Никакой простоты. Весь вечер такие специфические разговоры со мной вели, в которых я ни бум-бум... Полный аут...

– Например?

– Ну что, например... Например, та, что справа сидела, все выпрашивала про экономику: прибавочная стоимость, финансирование, темпы роста, всякая такая мура. А вторая – та, что слева, вообще посежными замордовала. Представь, силосом интересовалась, нечерноземьем. Замучили они меня.

Я рассмеялась, вспомнив, как однажды меня в артистическом грузинском доме посадили за длинный пиршественный стол рядом с каким-то здоровенным грузином, и хозяйка шепнула мне на ухо его фамилию, многозначительно подмигнув: «Пловец!» Я понимающе кивнула: понятно, любой спортсмен может в такой непривычной компании стусеваться. Поэтому я начала разговор с наиболее близкого ему предмета: «Вам как больше плавать нравится – брассом или кролем?»

Не знаю, что это – гипертрофированная вежливость или откровенная глупость – считать, что твоему соседу по застолью будут интересны исключительно те разговоры, в которых он сможет проявить свою профессиональную компетентность. По этой логике, если уж тебе выпало сидеть на пиршестве рядом с урологом, подобает завести с ним беседу об особенностях мочеиспускания, а если со священником, то вступить с ним в какой-нибудь спор о духовности.

Так я и напрягалась весь вечер, выказывая весь свой политес и демократизм, изрядный запас которого исчерпался как-то слишком уж быстро. И я стала сникать. Да и мой сосед лишь мрачнел и мрачнел, отворачиваясь, и я решила, что спортсмены – это вообще народец для меня темный, и в конце концов переключилась на своего визави – грузинского поэта.

Вдруг поэт поднялся с бокалом в руке и произнес великолепный витиеватый тост, облеченный в притчу.

– А теперь, – завершая его, сказал он, – мне бы хотелось выпить за замечательного режиссера, создателя фильма «Пловец».

– Пловец! Пловец! – раздалось со всех сторон.

– Пловец! – крикнула хозяйка дома. И все зааплодировали.

– Знаешь, Андрюша, – как-то раз сказала я Витте, – мне кажется, ты слишком многого хочешь от своей будущей избранницы – и чтобы дворяночка, и чтобы скромница, и чтобы светская, и чтобы богомольная, и чтобы пирожки могла испечь, и лицом была как Флора Боттичелли, и чтобы с ней о Спинозе поговорить... Тебе все-таки нужно тут чем-то пожертвовать. Или она – домовитая, или «с одуванчиком», или уж – со Спинозой: выбирай. Вообще-то, хочу тебе просто напомнить, что и крестьянки любить умеют.

– Я уже и сам об этом думал, – с грустью признался он. – Да и вообще я решил пересмотреть свои

требования к жизни. Снисходительнее надо быть. Принимать то, что есть. И все-таки мне жаль, что я тогда Лилю не похитил, не спрятал где-нибудь в подвале. Родители бы погоревали, да и укатили бы в свой Израиль, а я вывел бы ее на свет Божий и любил бы, как Иаков свою Рахиль. Дорого бы я дал, чтобы увидеть ее сейчас хоть краешком глаза.

Так мой друг и грустил, и тосковал, и даже, как это теперь принято говорить, полностью переменял имидж. С юности он слыл большим франтом, а теперь облекся в мешковатый свитер и простые черные джинсы, отрастил бороду и волосы и, будучи уже сам замечательным живописцем, пошел брать уроки у реставраторов.

Примерно в это время приоткрылись границы с Израилем, и в Москву приехала его бывшая невеста Лиля Злоткина. Она позвонила Андрюше и предложила встретиться на нейтральной почве, поскольку в Тель-Авиве у нее остался муж, тоже эмигрант из России, и она бы не хотела подавать ему повода для ревности, а кроме того – у нее есть к Андрюше важное поручение. Андрюша так разволновался, что не спал всю ночь, ожидая свидания, перечитывал Книгу Бытия и со слезами произносил вслух себе самому: «И служил Иаков за Рахиль семь лет, и они показались ему за несколько дней, потому что он любил ее».

Они встретились в кафе, и Андрюша поразился, как Лиля из нежной трогательной девушки с тонкой нежной голубоватой жилкой на виске превратилась в холеную, деловитую и предприимчивую женщину. Он даже хотел спросить ее: «Лиля, ты где?», но передумал, потому что она, быть может, могла бы на это и обидеться.

– Витте, договоримся сразу: о чувствах – ни полслова, – начала она. – Во-первых, это непродуктивно, а во-вторых, неперспективно. Я только не понимаю – неужели у вас все так плохо? Ты так опустился! Не брешься, одет кое-как. Ты что – бедствуешь? Давай я тебе денег подкину. У меня, правда, с собой не так много – всего двадцать долларов, но для вас здесь это сумма колоссальная. Пол-Москвы можно купить. А теперь я тебе изложу дело. Поскольку ты стал шибко православным, я тебя попрошу передать пакет отцу Александру Меню. Знаешь его? Ну, если не знаешь, то узнай. Там у нас в Израиле есть достойные люди, которые к нему в свое время ходили. Они и попросили меня привезти ему кое-что. Но у меня времени нет его разыскивать, я скоро уезжаю, а дел здесь позарез. Так что – сделаешь, а?

– Ну, хорошо, – сказал он. – Я, правда, тоже ним не знаком. Но постараюсь его найти... А двадцать долларов все равно меня не спасут – так что оставь себе.

– Без проблем. А с Менем ты постарайся! – И Лиля, наскоро выпив кофе, помахала ему ручкой.

– Ну вот, – сказал он самому себе, – Лили-то больше и нет!

Через какое-то время Андрюше удалось раздобыть телефон отца Александра, и он ему позвонил. Тот назначил ему свидание в библиотеке иностранной литературы и на всякий случай попросил дать ему номер своего телефона, если они вдруг почему-либо разминутся. Но все прошло благополучно – отец Александр пожал Андрюше руку, Андрюша передал ему Лилин пакет и отправился восвояси. На следующее утро, как известно, отца Александра убили. А еще через три дня к Андрюше явился следователь прокуратуры и стал его допрашивать: что да как, да какие у него были дела с убиенным. Андрюша честно ответил, что никаких дел у него не было, разве что он передал ему пакет из Израиля.

– Что было в пакете? – бдительно вскинулся следователь.

– Я не знаю, я лишь послужил рассыльным.

– Кто передал вам этот пакет?

И вот на этот вопрос Андрюша не стал отвечать. Он представил себе, как они явятся допрашивать Лилю, и решил – да ну. Ему пригрозили уголовной ответственностью, и он решил нанять адвоката с говорящей фамилией Баксов, заломившего такую цену, впрочем, в пандан своей фамилии, что у Андрюши свело челюсти, но он согласился. Адвокат за эти деньги (две немецкие гравюры XVIII века, правда, без рам) хитроумно подучил его сказать всю правду, но не упоминать имен – просто какая-то женщина позвонила, попросила встретиться, а там уж всучила пакет. И про Израиль ничего не говорить: не знаю откуда, может,

из Израиля, а может, и нет. Как ее зовут? Пожать плечами: не запомнил. Что его связывало с отцом Александром? Ничего. А откуда у того в записной книжке оказался телефон Витте? Терпеливо объяснить. В конце концов подняли его досье, допрашивали еще раз пять с тем же результатом и отстали. Он продал гравюры, заплатил Баксову его баксы, словно отдал кесарю – кесарево, и думал, что все кончилось.

Но все только начиналось, потому что этот вопрос теперь мучил самого Андрюшу – что он там такое-этакое передал священнику? Он все допытывался у меня:

– Нет, я понимаю, что ты не знаешь, но все-таки, что там могло быть?

– Да исповедь какая-нибудь. Лиля же тебе сказала – там, в Израиле, у него много духовных чад... Мало ли что – личные письма, жалобы на жизнь, просьба разрешить перейти в иудаизм...

– Нет, ну все-таки... Вдруг там что-то такое было секретное, из-за чего его и убили? А я с этим пакетом как-то косвенно виноват? Ну, например, план создания еврейской национальной Церкви? А что – вполне это может быть. Я об этом от кого-то слышал. Меня выследили, а его убили. То есть получается, что Лилия нас подставила! Знала, что я не мог ей отказать. Вот правильно в Библии говорится: «Не бери себе жены из дочерей Ханаанских; встань, пойдешь в Месопотамию, в дом Вафуила, отца матери твоей, и возьми себе жену оттуда».

Вскоре Андрюша уехал в Свято-Троицкий монастырь, где, поначалу поселившись в моем доме, а потом и в общей келье для послушников, прожил полгода, восстанавливая древние фрески и не гнушаясь простых монастырских послушаний.

Как-то раз, приехав в Троицк вскоре после его переселения туда, я была поражена тем, что Витте побелил мой дом, сколотил мне прекрасный стеллаж для книг, починил ворота и вообще встретил меня в духе народности – с молотком и стамеской в аристократических руках, чуть ли не с газеткой на голове.

– Живу у тебя, как в раю, – сказал он. – В полном согласии с собой. Где мой народ, там и я. Ты ведь знаешь, здесь были родовые имения моих предков. Не исключено, что и твой дом стоит на нашей семейной земле. Ну, ничего, как только произойдет реституция, я тебе тут же его подарю, так что ты ничего не потеряешь.

– Спасибо тебе, Андрюша, благодетель мой, – поклонилась я.

Но он, не почувствовав иронии, воодушевленно продолжал:

– Я тут молюсь, тружусь, Святых Отцов читаю, и поверишь ли – я встретил здесь ту, которую искал.

– Как, здесь? В Троицке? Да ну? Неужели дворяночку?

– Не совсем, – замялся он. – Но, знаешь, очень похожа. Тихая такая, благовоспитанная, изящная. Сама же говорила – и крестьянки любить умеют... В храме вижу ее каждый день. Давеча даже и познакомился...

– И что? Имя как – тоже подходит?

– Имя, как у греческих принцесс. Евдокия.

– Так что же – Дуня Витте?

– Как же ты любишь все пересмеять! Дуня Витте – подумайте, как смешно! Это у меня дело жизни, а ты... Потому что я понял: если у тебя есть тяга к одинокой жизни, иди в монастырь. Но если ты по складу своему не монах, то у тебя должна быть семья. Семья – это тот островок аристократизма, который не удалось даже совдепии уничтожить. А если тебе уже за тридцать, а твой дом пуст и, когда ты приходишь, дети не кидаются к тебе с криками радости и жена не выбегает, распахнув объятия, то ты – пустой, эгоистичный, несостоявшийся человек. Плебей. Даже если ты при этом неплохой художник, старательный реставратор, профессиональный литератор и вдумчивый историк. Несостоявшийся человек, вот как! Неудачник.

Я пригасила улыбку, ибо друг мой сейчас не теоретизировал, а говорил о себе самом.

Вернувшись в Москву, я с волнением ждала от него вестей и подумывала, что вот-вот Андрюша объявит нам о своем венчании. Но он куда-то пропал – вернул мне через монаха Лазаря ключ от троицкого дома, передал на словах, что перебирается в Мирожский монастырь, куда его пригласили реставрировать

иконостас, а после этого отправляется на Соловки.

– А ты не знаешь, он женился? – спросила я Лазаря.

– Что? Женился? В монастыре? – Он хохотнул.

– Нет, но у него же там была какая-то девушка на примете. Богомольная, похожая на дворяночку. Евдокия, кажется?

Лазарь замахал руками:

– Если ты ему когда-нибудь об этом напомнишь, он просто подумает, что ты решила над ним поиздеваться.

– Это еще почему?

– Потому. Ладно, я тебе расскажу, если ты сама – молчок. Ни гугу ему о том, что знаешь, ни словечка. Дело было так. Все он за этой Евдокией ходил – в том смысле, что становился к ней поближе во время службы, да она все у паперти держалась, даже и за порог храма не переступала, потом имя ее выспросил – это когда они воду вместе доставали из святого колодца, несколько раз норовил ее вечером домой проводить, но она с мамашей была, а мамаша у нее боевитая, все его шугала.

И вот обе они вдруг пропали: нет и нет их несколько дней подряд – ни утром, ни вечером, ни в храме, ни в пещерах, ни у колодца, ни на Афонской горке.

Ох, он прямо лицо потерял, такое на него искушение нашло. Хотел все начатые работы бросить и бежать из монастыря. Напился даже. А дней через пять около полудня вдруг видит – идут и дочка, и мама куда-то по монастырю, он сломя голову – за ними, и тут они поворачивают за угол и входят в храм. Он – туда же. А в храме уже полно народа – стоят, переговариваются, свечки друг другу передают. И в этот момент дверь в храм закрывают два послушника на засов, выходит батюшка в облачении и начинается служба. А народ – мятется. Кричит, рычит, ногами сучит, кто-то вовсе бьется в падучей. А он все поближе к своей девушке протискивается. Почти вплотную придвинулся, а она как изрыгнет басом ужасное ругательство, да как начнет плевать по сторонам. Уж ее и мамаша ее свирепая пытается удерживать, за руки схватила, тянет к себе, рот затыкает, а она вырывается и кричит, как хищный зверь. Он перепугался, ибо – согласись – это шоковая ситуация, стал он ее успокаивать, и тут у нее изо рта как пена пойдет... В общем, попал он на вычитку бесноватых, а когда наконец-то понял, долго пытался засовы отодвинуть, чтобы на волю вырваться, да послушникам не велено было никого выпускать. В общем, это его так травмировало, что он после этого из твоего дома в монастырь перебрался, стал на клиросе подвизаться – все только для того, чтоб с этой Евдокией больше нигде не встретиться. Впрочем, она скоро и уехала.

Прошло весьма долгое время, прежде чем я вновь встретила с Андрюшей – слышала, что он стяжал репутацию первоклассного реставратора, – во всяком случае гениальный иконописец игумен Ерм очень его ценил, – что он редко появляется в Москве – все переезжает из монастыря в монастырь, при этом мне время от времени попадались какие-то его любопытные статьи в газетах и журналах, исследование о Лжедмитрии, в котором он пытается доказать, что это был никакой не Гришка Отрепьев, а сам царевич... А в «Независимой газете» я наткнулась на его ироническую статейку, которая называлась «Дежа вю», с разоблачением нашего первого «перестроечника» и ректора РГГУ Юрия Афанасьева: Витте уличал его в плагиате. Он доказывал, и очень убедительно, сопоставляя тексты, что какая-то его работа полностью списана у некого Лёзова. Самое удивительное, что в последующих номерах на странице, где печатались читательские отклики на публикации, стали появляться реплики, авторы которых выражали свою полную солидарность с позицией моего друга и жаловались на маститого демократа, что он и их писания «приватизировал» точно таким же манером. Что говорить, я была горда своим другом! Что-то было в этом его поступке такое даже... родовое, ведь его прадедушка Сергей Юльевич тоже, было время, горячился, что Столыпин украл его идеи по проведению аграрной реформы и сильно их при этом подпортил. Словом, я вдруг почувствовала, как я соскучилась по Андрюше.

И вдруг мы встретились с ним в тридцатиградусный мороз нос к носу на крыльце переделкинского

храма.

Он обрадовался, отвел меня к свечному ящику:

– Как живешь? Приглашай в гости.

– Всегда тебя приглашаю, хочешь – сегодня и приходи, но только у меня так холодно! Дом у меня такой ветхий, что этого мороза не выдерживает. Трубы замерзают – я их то и дело обкладываю пластмассовыми бутылками с кипятком. Везде у меня рефлекторы, ветерки, порой даже фен пускаю в ход. На кухне постоянно горит плита: открыта духовка, кипит вода. Наверху – пар, внизу – едва ли не лед. А посерединке – ну хоть ты тут все окна одеялами завесь, двенадцать градусов.

– Да у тебя, наверное, воздушные пробки в батареях! Я приеду – выпущу воздух, заполню систему водой, сразу батареи запыхнут жаром! Я в монастырях много чему научился! С народом поговорил. В общей келье с паломниками много раз ночевал. В бане со всеми парился. Со старцами общался. Много видел святых чудес! Да я тебе все расскажу. Вот только днем у меня есть одно дельце в Москве – я сделаю, а вечером – к тебе. Я ведь теперь – на машине! Рулю!

Действительно, зима в том году выдалась такая лютая, что в некоторых кварталах вырубалось электричество, птицы падали замертво, таксисты замерзали насмерть, как некогда ямщики в степи. И все Переделкино – писательский городок с оседающими щелястыми стенами, обветшалыми кровлями и допотопными батареями рисковал вот-вот сгинуть во мраке и холоде.

Каждый спасался как мог: кто растапливал камин, таская дрова, кто, как я, устраивал дополнительные батареи из бутылок с кипятком, везде горели рефлекторы и духовки, угрожающе мигали лампочки, выскакивали то и дело электропробки, а насельники расхаживали по дому в валенках, счастливо купленных на Одинцовском рынке, свитерах и пледах.

То ли от холодов и сквозняков, то ли от таскания дров начинало ломить спину – прокатилась волна радикулитов, прострелов – все охали и стонали и, встречаясь в сельском магазинчике, укутанные, как французы во время их позорного бегства из Москвы, почти хвастаясь своей стойкостью и смекалкой, делились опытом борьбы и невзгод. И вот по поселку пронеслась весть, что есть некий чудодейственный врач-костоправ – между прочим, врач уже во втором поколении, очень известный, по фамилии Касьян, и он так мастерски знает свое дело, что может и лежачего поставить на ноги за один сеанс – стащит его, почти уже парализованного, с кровати на пол, помнет, поломает, помассирует, да хотя бы и побьет, а потом так крепко сожмет, что у больного тут же все становится на свои места, и тот тут же начинает двигаться, ходить, приседать – да что угодно! Единственное, что для закрепления эффекта может потребоваться второй сеанс, но это если случай особо тяжелый. Нет, ну конечно, за эти один-два сеанса он только на ноги поставит лежачего, а если ты хочешь совершенствовать свое здоровье, то тебе нужен курс, а потом повторный, а вообще это необходимо проделывать регулярно, но это, повторяю, для тех, кто уж ищет полного совершенства.

И еще что необходимо усвоить в этом деле раз и навсегда: здесь надобно хорошенечко потерпеть, поскольку методы его весьма и весьма болезненны. Ну, если честно сказать, просто – гестапо, подвалы НКВД. Такая боль, когда он вкладывает тебе между позвонками свои персты, что хочется уже даже не кричать, не стонать, а, чуть пискнув, просто изойти в безмолвии предсмертной гримасой жертвы. А уж когда он после этого начинает жать на сам воспаленный позвонок, тут уже начинаются даже сладостные какие-то галлюцинации, почти блаженство, как бы в предвкушении скорейшего избавления и кончины... А надо потерпеть! Потому что, оказывается, все наши болезни от позвоночника. От костяка. Ибо если кости у нас расположены неправильно, то есть вся опорно-двигательная основа нарушена – как-то там смещена или деформирована, то и все остальное тоже повреждено – система кровообращения, пищеварения, мочеиспускания, да все, все! А эта опорно-двигательная система на самом деле нарушена у всех, буквально у всех – у кого-то, как выясняется, была родовая травма, у кого-то на поверку оказывается одна нога короче другой, а у кого-то ребра слева длиннее, чем ребра справа. Поэтому все мы, люди, на взгляд такого

уникального специалиста, – сплошные перекошенные уродцы. А после его сеанса сразу все становится на свои места, и даже цвет лица улучшается, и депрессия проходит, но только очень, очень это больно...

И такой врач выезжал к нам той зимой в Переделкино на своей «Тайоте Камри», ставил нас на ноги, да еще и просвещал, все разъясняя об индивидуальном устройении организма.

И вот моя соседка по Переделкино Катюша, страдавшая от сильнейшего радикулита, полулежа на диване в гостиной в окружении рефлекторов, в тот вечер ждала к себе этого знаменитого доктора. Муж ее сказал ей, что он с ним твердо договорился и тот непременно приедет. Она перебирала в уме все сказанное ей о его методах и очень боялась, потому что она была очень трепетная, а ей и так было невыносимо болезненно каждое шевеленье. На ней было три свитера, красный шарф поперек поясицы и шерстяная накидка, в которую она была замотана до самого подбородка. Муж ее, условившись с врачом на семь вечера, открыл для него ворота, оставил незапертой дверь, чтобы Катюше не надо было ползти к двери, и еще днем уехал по своим делам в Москву.

А как раз в это время мой друг Андрюша Витте въезжал на своем автомобильчике в городок писателей. По старой памяти он вписался в поворот по основной дороге, проехал несколько дач, оставшихся по левую руку от него, и повернул в открытые ворота. Выйдя из машины, он поразился этой морозной свежей тишине, спокойному, как бы спящему небу, сверкающему снегу, слюдяному воздуху, какой-то всемирной первозданной чистоте природы, в которой от холода впадают в спячку все греховные страсти, и, подняв воротник меховой куртки, в несколько прыжков оказался на крыльце, толкнул дверь и вошел в дом.

– Я так вас жду! – раздался милый женский голос, и Андрюша увидел на диване полулежащую темноволосую молодую женщину, закрытую до подбородка платками. – Я так страдаю! Вы – Касьян?

– Ну, можно сказать и так... Что – неужели настолько все плохо?

– А я Катюша! Не то, что плохо, а ужасно! Все меня покинули, у всех свои дела, я в доме абсолютно одна, совсем беспомощна... Только вы можете спасти положение... Я жду вас как избавителя. Мне так много рассказывали о вас!

«Ну вот, – подумал про меня Андрюша, – она, видно, всерьез взялась за дело с моей женьбой. Насплетничали ей, небось, что тогда у меня в Троицке все провалилось. Ишь, даже из дома ушла куда-то, чтобы не мешать. И меня не предупредила. Тонкий такой маневр. А подружку здесь оставила, как бы невзначай, лежит она, мерзнет, умоляет – спасите! Это она ее так подговорила. Катюша! Екатерина! Ну, театр! Конечно, эта подружка сейчас будет прикидываться, будто она в полном неведении, зачем это ее здесь оставили меня ждать. А сама – ничего, хорошенькая. Можно им и подыграть – дескать, я ни о чем не догадываюсь – чиню себе отопление, и всё!»

– А какая сейчас температура? – довольно сурово спросил он, стараясь делать вид, будто ничем он здесь не удивлен. «Вообще надо вести себя естественно, – мелькнуло у него, – только в этом случае никогда не попадешь впросак. Приехал отопление исправлять – так исправляй!»

– Температура? А что – надо? Я не знаю, я не мерила, но сейчас могу померить, хотя, честно говоря, чувствую и без того, что все очень-очень плохо.

– А вы не знаете – тут нет чего-нибудь грязенького, замурзанного – вроде старого халата? Или хотя бы фартука. А то я боюсь испачкаться. Работа все-таки грязная.

– О, конечно, – сказала она, смутившись, – надо там, в ванной, порыться. Но у меня все должно быть чисто...

– Какое! Это так, одна видимость. А только тронешь, там такая грязища пойдет. И потом есть такие места, потайные уголки, куда никаким мытьем не достанешь. Застоявшаяся такая грязь. Впрочем, ничего, я сейчас рукава повыше закатаю и – вперед. Сначала здесь все сделаем, прямо в этой комнате. Прежде всего, выпустим весь воздух, – стал объяснять он.

– Воздух? – побледнев, переспросила Катюшка и даже приподнялась на своем диване.

– Конечно! Если его специально не выпускать, он скапливается, все там забивает и образует пробки. А

от этого нарушается вся циркуляция: система застопоривается.

«Пусть знает, что я – человек дела, – подумал Андрюша. – Это никогда не повредит».

– А откуда же там воздух, вроде никакого вздутия... Воздуха там, кажется, у меня никакого и нет, – жалобно пискнула Катюша.

– Это только так кажется на первый взгляд, а вот я как крутану, вы сразу услышите: сначала будет такой звук – «пу-уф, пу-уф», потом все зашипит, засвистит, потом раздастся громкое урчание, а следом – как частые выстрелы: тра-та-та-та-та, пулемет такой.

– Ой! – воскликнула Катюша и вытерла невольную слезу...

– А что у нас с тазом?

– С тазом? У меня на нем шарф... Боюсь, что таз у меня совсем плохой. Самое слабое место.

– Это плохо... А что он – подтекает? Прохудился совсем?

– Не-ет, просто искривленный, перекошенный.

– Старый, что ли, совсем? – буркнул Андрюша. Катюша ему положительно нравилась.

– Нет, не то чтобы такой уж старый. Но – знаете, тяжести приходится таскать.

– Ладно, посмотрим, что там у вас за таз такой. Может, сгодится еще.

– Так что – снимать шарф?

– Да уж шарф мне совсем ни к чему. Но если таз пришел в полную негодность, тогда можно – ведро.

– Как ведро! Ведро-то – зачем?

– Лишь только весь воздух выйдет – тут же и вода забулькает, закапает, а потом как ливанет.

– А откуда же вода?

– Как откуда? Их тех же отверстий. После воздуха сразу же и вода. Она может быть и желтая, и мутная, и грязная... Целая лужа может натечь. Но эту воду обязательно нужно прокачать и спустить. Но она весь пол может залить. Так мы ведро подставим, – деловито объяснял Витте. Катюша нравилась ему все больше и больше.

– Я и не предполагала, что это такой трудоемкий и кропотливый процесс! А где вам удобней этим заниматься? – уже обреченно спросила Катюша. – На диване или на столе? Или прямо на ковре?

– Да зачем на ковре-то? Ковер отогнем, чтобы не залило. Так и будем двигаться по всем комнатам. В подвал, в котельную спустимся...

Катюша, ни жива ни мертва, проговорила сдавленным от ужаса голосом:

– В подвал?! Может, не надо? Туда ступеньки крутые, свет тусклый. Там вообще приткнуться негде, пол вообще бетонный, ледяной.

– Это ничего, – подбодрил ее Андрюша, – место-то всегда можно найти, можно устроиться и на бетонном полу. А что я не увижу, там на ощупь. Простучу все как следует, подкручу все сочленения.

– А как вы думаете, за один раз – получится?

– Конечно! Как вода пойдет, так сразу все протоки и рукава наполнятся, а система и разогреется. Совсем другая жизнь начнется! Котел, кстати, как? Котел – всему голова. Исправен?

Бедная Катюша, которая все это переводила на язык лютого костоправа, почему-то решила, что котлом он иронически называет ее голову, и потому ответила, даже и не без самоиронии:

– Варит пока. Хотя, может, с вашей точки зрения, и не вполне исправно.

– Плохо, – вздохнул Андрюша, – тогда надо и его подкрутить, чтобы зафурычил. А не капает? не подтекает?

– Бывает, – Катюша шмыгнула носом. – Особенно если сильный мороз.

– А шумит?

– Иногда шумит, – грустно призналась Катюша.

– Это хорошо, значит, огонь там все-таки горит, – обрадовался Витте.

– Да какое горит! Так – еле теплится, тлеет: то потухнет, то погаснет.

– Вот этого я и боялся, – вдруг вскинулся он. – Как бы не пришлось его вообще откручивать и менять.

– Это как? – ахнула она. – Совсем менять?

– Ну да, эту рухлядь долой на свалку, а новый вместо него.

– Так где я вам новый-то возьму? – Бедная женщина залилась слезами.

– А это уж пусть другие позаботятся. Вам-то что? Сегодня вы – здесь, а завтра – вы уже там.

– Вы намекаете, что все настолько уж плохо?

– Конечно, если газы там скопились, так запросто может в любую минуту рвануть, – беспощадно констатировал Андрюша, который был уже почти совсем влюблен. – Ну ладно, приступим.

И Андрюша открыл свой портфельчик и вытащил из него большой разводной ключ.

Катюша, которая начала было разматывать на себе накидку и шарф, вдруг замерла:

– А это еще зачем?

– Ну, не все же одними пальцами можно сделать! Там есть такие местечки, куда без инструмента и не дотянешься. К тому же и заскорузло, небось, все.

И он, отвернувшись, опять принялся рыться в своем портфельчике.

А Катюша тем временем, постанывая от боли, дрожа и ежась от холода, сняла с себя свитера и брюки и осталась в трусиках и бюстгальтере.

– А лифчик – что, тоже снимать? – стыдливо пискнула она.

И тут Андрюшка повернулся к ней. С разводным ключом в руках. Человек чистый и целомудренный. И, увидев ее вдруг в таком срамном виде, от неожиданности закричал, почему-то трясся в воздухе этим огромным ключом.

Но и она, когда он так внезапно и пронзительно закричал, размахивая страшным ключом, тоже принялась голосить. И так они стояли друг против друга и вопили безумными голосами...

И в этот самый момент вернулся Катюшин муж.

...Нет, ну все, конечно же, выяснилось, все даже пробовали обратить это в шутку, Катюшин муж показал Витте горящие окна моей дачи, до которой мой друг не доехал всего-то каких-нибудь три десятка метров, и Андрюша, уступая дорогу «Тайоте Камри», потрясенный и угнетенный, пришел ко мне. Сил у него на повторное открывание чемоданчика с инструментами уже не было, воздух спускать он был не в состоянии, равно как и осматривать котел. Поэтому мы просто сели ужинать в холодном сумрачном доме, выпили с моим мужем коньяка, добились от Андрюши, чтобы он все-таки как следует посмеялся, оставили его ночевать, и на следующее утро он уехал с миром, чтобы опять пропасть на полгода. И все-таки, мне кажется, где-то в глубине души у него осталось ощущение, что все знакомства, не только устроенные ему мной, но и как-то, хотя бы даже косвенно со мной связанные, не сулят ему удачи в личной жизни. Поэтому он решил действовать самостоятельно.

И вот примерно через полгода звонит мне Андрюша, радостный, умиротворенный:

– Представь себе – я женюсь.

– На дворяночке? – не выдержав, съехидничала я. – На Екатерине или Елизавете?

– Перестань издеваться. Я ее сам выбрал. Ее зовут Валентина. Скромная девушка. Из Тулы. Я с ней в поезде познакомился. Хочет учиться на менеджера или на модельера. Сирота. У нее на свете есть только дядя. Дядя Боря. Мы с ним уже встречались – хороший мужик, надежный. Народный такой, простой. Обещал взять на себя организацию свадьбы в «поплавке». Я ему только деньги дал, а так он все сам устроит. А пока я хочу тебя с твоим мужем позвать... на смотрины. Ну, родители же у меня умерли, а ты моя крестная мать, муж у тебя – священник. Как хорошо – невеста, жених, дядя Боря, крестная мать и батюшка. А потом твой муж нас и повенчает. Валентина даже готова покреститься. А я уже ей кольцо подарил – фамильное, с бриллиантом.

...Муж мой заболел сильнейшим гриппом, мне пришлось идти на смотрины одной. Валентина оказалась именно той – «девушкой мечты», прозревая которую, еще совсем юный Витте слагал ночами

стихи. На нее можно было полюбоваться. У нее было все – даже это непонятное «платье рюмочкой»: вроде бы иррационально – ибо как это можно себе представить? – а я поразилась – как точно: «платье рюмочкой» и «одуванчик духов». Ресницы огромные, глаза полуопущенные, полуулыбка, легкий румянец, волосы узлом, скромно уложенные на затылке. И – все время молчит. Легонько тронула мою руку при знакомстве, и – роток на замок. Зато дядя Боря – душа-мужик, морда красная, чуб такой задорный возвышается на голове, то ли завгар, то ли военрук бывший, сразу – с порога мне:

– Ну, сели-поехали!

Хлоп! – одну рюмку коньяка, хлоп! – другую. И все меня почему-то «сватъей» величает.

Ну, короче, часа полтора просидели мы тихо-мирно, правда, он все порывался спевать песни, да никто не подхватывал, тогда он вдруг весь надулся всей своей нерастроченной энергией и как тыкнет мне пальцем в нос:

– У вас, попов, особая музыка! А почему вы, попы, кровь не сдаете?

Я, конечно, опешила, что он меня, во-первых, причисляет к «попам», и это мне, признаюсь, даже польстило, а во-вторых, кипятится, что мы, видите ли, «кровь не сдаем».

– Да, да, я вот только что с Сургута. Так там на больнице черным по белому написано: крови нет! Граждане, проявляйте сознательность: сдавайте кровь. А вы, христиане, не сдаете! Вот вы какие – лицемеры. Вам бы только простой народ обирать да обманывать.

Я, честно говоря, тоже уже выпила под его неумолкаемые тосты несколько бокалов шампанского, и потому его повышенные тона не показались мне особенно подозрительными. Я честно сказала:

– Так мы, христиане, сколько крови уже вам, атеистам-безбожникам, за время вашего режима сдали, что вы нашей кровушкой христианской должны были, словно в бане, омыться! А вам что – мало еще?

– И чем вам советская власть не угодила? – поставил он вопрос ребром. Морда красная. Глаза мутные. Дышит тяжело. Надо было сразу догадаться и – ну, до скорого!

Но Валентина сидит себе в прежней позе, кольцом на пальчике любуется, никакого ряда волшебных изменений милого лица. Ничего такого не происходит. То есть дядя Боря в привычном своем колорите.

И я полезла отвечать. Да и Андрюша, у которого на словосочетание «советская власть» аллергия, тоже стал горячиться, руками махать.

А Валентина сидит себе, глазки полуопущены, нежный румянец на щеках, полуулыбка на нежных коралловых губках, кольцом с фамильным бриллиантом поигрывает – то к самым глазами его поднесет, то отведет руку – издали полюбуется.

И вдруг дядя Боря поднялся из-за стола да как стукнет кулаком:

– Шалишь!

– Что это вы, дядя Боря, матроса Железняка изображаете? – нежным голосом произнесла я, пытаюсь все свести на шутку, смягчить ситуацию. – И вообще объясните мне, как это он – шел на Одессу, а вышел к Херсону? Что это значит? Там расстояние – не одна сотня миль. Может, это как-то символически трактовать надо или он – того, с сильного бодуна был?

И тут дядя Боря схватил со стола тяжелую хрустальную рюмку – я думаю, она принадлежала еще тому славному Витте, министру, или его брату, или даже его отцу, который покупал ее примерно в то же время, когда переходил из лютеранства в православие, – и как метнет ею в меня.

Каким-то чудом я увернулась, а она со всего размаха ударилась за моей спиной аккурат в раму, в который был «Мальчик с петухом», мальчик там благодушный, а петух грозный, и картину перекосило.

Андрюша попытался схватить его за руки, но не тут-то было. Дядя Боря выдернул моего худошавого друга из-за стола, швырнул его на пол и всем своим мясистым телом навалился сверху, принявшись душиТЬ.

А Валентина все сидела с легкой полуулыбкой на нежных губках, вертя на пальчике бриллиантовое кольцо.

– Вызовите милицию, – крикнула я ей.

Но она улыбнулась так безмятежно, и так мило вспыхнул румянец на ее щечках, что я даже и устыдилась собственной паники.

Меж тем дядя Боря продолжал сжимать свои корявые пальцы на певческом и родовитом Андрюшином горле. Я с ужасом увидела, как глазки моего друга стали закатываться, кинулась на могучую спину душителя и буквально оседлала его. Кажется, он этого даже не почувствовал. Тогда я с силой схватила его за уши и рванула к себе. Дядя Боря сделал волнообразное движение спиной и отряхнулся, так что я свалилась на пол, силясь не выпустить его противных ушей. Он крикнул, разжал руки на горле жениха, и тут я закричала так громко: «Пожар! Пожар!», что он, освободив свои уши, тут же отпрянул.

– Где? Где? – наконец вскинулась невеста.

– Горим! Горим! – продолжала вопить я. – На вас платье горит! Вся голова в огне! Туфельки полыхают!

Она судорожно заметалась по комнате, подпрыгивая, ощупывая себя, выгибая спину и тряся головой.

Наконец, вскочил с пола и Андрюша. Крикнув, поднялся на ноги дядя Боря.

Валентина подхватила сумочку, висевшую на спинке стула, сделала выразительный негодующий жест плечом и засемила к дверям.

– Стой! – крикнул ей вслед дядюшка и заторопился за ней.

А Андрюша сел за стол и закурил. Несколько минут мы провели с ним в полном молчанье.

– Как ты думаешь, они еще вернутся? – наконец спросил он.

Меня это поразило – я и предположить не могла, что они могли вот так – взять и уйти навек.

– А что, – сказал он, – они ведь получили, что хотели. Она – старинное кольцо с бриллиантом. Он – деньги. Все путем. Я сам им все отдал. Так что они в своем праве. И я получил свое.

– По шее или урок?

– Это одно и то же.

– Что ж, ты хочешь сказать, что они заранее планировали... такой скандал? Сам подумай – если они такие уж мошенники, они бы и вовсе могли бы тебя обчистить. У тебя же ведь – квартира, картины, иконы, старинная мебель... Один только «мальчик с петухом» чего стоит!

– А, – поморщился он, – это хлопотно и опасно. То журавль в небе, а то синица в руке. Что смогли взять, то и унесли, – добавил он глубокомысленно, – вот он – одуванчик духов!

Помолчал немного, а потом сказал таинственно:

– Я уж думаю, что вся эта, прости Господи, бесовщина – от моей прапрабабушки по боковой линии.

Я думала, что он намекает на Матильду Ивановну, но он пояснил:

– Понимаешь, все эти Витте – ну, мой прадедушка, Сергей Юльевич и т. д., всего их было пять детей, – по материнской линии Шереметевы, а стало быть, их двоюродной сестрой являлась Елена Блавацкая. Та самая. Теософка. Может, это она тут чего-то запутывает и мудрит, не подпускает меня ни к кому?

Словно в подтверждение его слов, судьба приготовила Андрюше еще несколько сюжетов: во всяком случае, после этого он дважды попадал в скверные истории по вине женщин.

Первая – это когда он, откликнувшись на просьбу «милой, очень милой, обаятельной такой девушки», сел за руль ее заглохшего BMW

Она подошла к нему на улице, «милая такая, славная», и срывающимся голосом спросила:

– Простите, а вы умеете водить автомобиль?

– Да, – ответил он.

– А вы не могли бы меня выручить из беды? У меня сломалась машина, а вон тот молодой человек на «Жигулях» великодушно согласился отбуксировать ее ко мне в Болшево. А я на буксире ездить боюсь.

И огромная прозрачная слеза скатилась по ее свежей морозной щечке.

– Я вам дам деньги на такси, чтобы вы могли доехать обратно... Я вас отблагодарю.

– Конечно, я вас выручу, – сказал благородный Андрюша.

Он подошел к указанной ему машине с аварийными сигналами, убедился, что ключ в зажигании, буксир уже прицеплен, и сел за руль. Девушка уселась рядом с водителем «Жигулей», и они медленно тронулись. Однако только они пересекли МКАД, как их тормознули у поста ГИБДД и потребовали от него предъявить документы. Он показал права и кивнул на девушку.

– Что вы, я ничего не знаю! – рассмеялась она беспечно. – Нас с Вадиком этот тип попросил отбуксировать его сломанную тачку, и мы согласились ему помочь. Мы же не знали, что он пустой.

– Мы не знали, что у него нет документов на машину, – подтвердил Вадик.

И моего друга забрали как афериста и угонщика новенького BMW. С огромным трудом, снова наняв адвоката Баксова, ему кое-как удалось это дело замять, но авантюра была налицо. Владельцу BMW – этакому дюдику в очках – залили на заправке бензин с водой. Не успел он отъехать, как машину затрясло, а вскоре она и вовсе заглохла. На беду, ему очень захотелось в туалет, и, прежде чем начать вызывать эвакуатор, он зашел в близлежащее кафе, где и был заперт в общественном туалете неизвестным лицом. За это время, пока он рвался наружу и звал на помощь, к его машине был прикреплен буксир, и девушка с симпатичным грустным лицом в срочном порядке безошибочно выхватила из толпы подходящего лоха, владеющего навыками вождения. Таковым и оказался Андрюша. История эта длилась около полугода, стоила еще двух немецких гравюр и принесла ему множество скорбей и разочарований. Он так и говорил:

– После этого я окончательно разочаровался в женщинах.

Этот инцидент, однако, кое-чему его научил, и если не избавил от дальнейших злостраний, по крайней мере, их сильно облегчил.

Потому что, когда в следующий раз к нему в аэропорту Женевы подошла «очень милая, интеллигентная молодая женщина со статью» и попросила его взять в Москву «лекарство для любимого больного дедушки», он вежливо ей отказал. Тогда эта «прелестная, обворожительная, хотя и скромная, особа, от которой исходила аура достоинства», переметнулась на какого-то его попутчика и «очень изящно» повторяла ему свою просьбу. Тот согласился. Она передала ему пузырек с «микстурой» и пакетик с «целебными порошками – вытяжкой из плавников акул». После этого несчастного попутчика задержали на швейцарской таможне как перевозчика наркотиков, а когда милейший Витте за него вступился, пытаясь на старофранцузском подтвердить, что лекарства были для дедушки прелестной девушки, задержали и его как сообщника, да еще за этот старо-французский чуть не уpekли в сумасшедший дом. А старо-французскому его учил старичок Растопчин, прошедший двадцать лет в сталинских лагерях и чудом уцелевший, которому Андрюшина мама дала подзаработать уроками. И вот он научил Андрюшу, поскольку сам был специалистом в этой области. Если переводить в наш языковой ключ, получалось, что Андрюша сказал французским таможенникам и полицейским примерно так, как некогда старик Хоттабыч разговаривал с мальчиком Волькой: «Реку вам: дщерь некая, юница суца, искуси и умоли сего мужа для праотца сии брения поять, абы тот врачевства сподобился зельна». Однако выпустили же в конце концов! Всего-то две немецких гравюры! Адвокат Баксов был просто в восторге от Швейцарии! Он ведь никогда там не был раньше. И вот – правда восторжествовала.

После этого Андрюша поехал к старцу Игнатию в Свято-Троицкий монастырь и рассказал ему о своих подозрениях относительно своей родственницы-теософки госпожи Блавацкой, которая «что-то сильно мудрит». Но старец успокоил его:

– Выкини это из головы. Во-первых, она вообще тебе седьмая вода на киселе, а во-вторых, даже если б она была жива, ее чары над тобой, если ты верный христианин, не имеют власти. Так что забудь о ней. И запомни духовное правило: в диалог со злом не вступай. Дай возможность Господу победить его.

Вернувшись из монастыря, Андрюша стал держать себя тише воды и ниже травы. Невесту себе больше не искал. Если ловил на себе заинтересованный женский взгляд, старался уклоняться. И вообще было такое впечатление, что совет старца о диалоге со злом он полностью перенес на свои отношения с женским полом.

Меж тем он вступил в монархическое общество. Дискутировал там с кем-то, потому что вовсе не был

сторонником воцарения потомков Кирилла Владимировича, а был за кого-то другого. Конфликтовал с новоиспеченным дворянским собранием, потому что, придя как-то раз на отпевание очередного члена, он был поражен нечестием нового дворянства: пока батюшка служил, никто не крестился, и тот даже вынужден был сделать им замечание:

– Как же так! Вы же – дворянское собрание, цвет нации, ее подлинная элита, а в храме вести себя не умеете – вы будто бы стыдитесь осенить себя крестным знаменем! Вот поэтому-то и победили большевики, что вы, дворяне, разучились Богу молиться!

– Эти все «новые дворяне» – попросту ряженые, – признался мне по секрету Витте. – Во-первых, они уже так перемешались с другими сословиями за время союда, что благородная кровь в них изрядно разбавлена. А во-вторых, низкое всегда одолевает все более высокое и утонченное – ген плебса побеждает старую добрую кровь.

На этой волне он даже вошел в редколлегию нового монархического журнала, который ратовал не за какое-то лицо, а за саму идею богоизбранности монарха. Главный редактор по фамилии Боксер, которую он, правда, просил произносить с ударением на первом слоге (как некогда одна из Андрюшиных пассий), отнесся к сотрудничеству Витте с таким энтузиазмом, что даже пообещал напечатать не только его статьи (это уж разумеется), но и его стихи.

– Если, конечно, журнал не сгинет в силу экономических обстоятельств, – печально добавил Боксер. – Сами понимаете – рынок. В гробу они видели на рынке самодержца всея Руси! Нет, деньги на сам журнал у нас есть, по крайней мере на первый номер – точно. А вот из помещения, где располагается редакция, нас выгоняют. А ведь это место для собиранья здоровых сил так нужно! Нам бы сейчас хотя бы две-три каких-нибудь комнатки на пару месяцев – перекаптоваться. А там мы первый номер выпустим, раскрутимся – спонсоры сами налетят, сможем хороший офис снять и второй номер одолеть.

И Андрюша великодушно предложил им свою квартиру – он как раз собирался на Валаам по приглашению тамошнего наместника – что-то реставрировать и был уверен, что меньше полугода он там не пробудет.

– Мы все оставим в чистоте, так что вы даже и не заметите, что здесь в ваше отсутствие располагалась редакция! – ликовал Боксер. – Такой блезир наведем – лучше прежнего! А вы вернетесь – тут вас на столе и первый номерок поджидает с вашими стихами.

Андрюша вскоре уехал, передав ключи Боксеру. Через три месяца тот позвонил и доложил Витте, что первый номер уже в наборе, а редакция благополучно перебирается на новое место, которое собирается снять на длительное время благодаря мощному меценату. Андрюша, впрочем, еще и не собирался в Москву, он не спеша доделал работу на Валааме и лишь месяца через два, в компании двух валаамских иеромонахов прибыл в столицу. Попутчики его, однако, оказались людьми весьма дружественными и уговорили его завернуть по дороге с вокзала к их духовным чадам, в дом очень гостеприимный, а главное – монахолюбивый.

В первом часу ночи Андрюша со своими прекрасными спутниками благополучно покинули этот милый сердцу приют, поймали такси, которое довезло сначала монахов до их Московского подворья, а потом и Витте прямо до самого подъезда.

В прекрасном расположении духа он поднялся в свою квартиру, отпер дверь, зажег свет и ощутил в воздухе легкий и нежный запах духов. Поистине – это был тот самый одуванчик: одновременно живучий, крепкий и в то же время эфемерный, блазнящий... Переобувшись, он прошел в большую гостиную, где некогда нас лупил дядя Боря, и был поражен сияющей чистотой, свежими цветами на обеденном столе, коробкой конфет «Комильфо», а также небольшой бутылочкой коньяка «Реми Мартен». Но больше всего его обрадовал «Мальчик с петухом», которого он перед отъездом позабыл спрятать от греха подальше в потайной сундук с двойным дном, и, сидя на Валааме, даже потихоньку молился, чтобы он никуда не пропал. Мальчик показался ему еще милее прежнего – так радостно он держал этого всклокоченного петуха,

у которого взволнованно и в то же время потешно вздымался на голове красный гребень и топорщилась на жилистой ноге острая шпора.

– Ну, Боксер, – всей грудью вздохнул он, – ну, монархист!

И как только узнал день его приезда! Ведь коньяк – ладно, он бы и еще год простоял – ничего бы ему не стало, конфеты – тоже, а вот – цветы! Цветы!

Андрюша блаженно потянулся и почувствовал, как он соскучился по дому, как устал – хорошо было бы сейчас в довершение полного счастья залезть в горячую ванну. Он зашел в ванную, воткнул затычку и включил воду. Там тоже все блистало чистотой – на полочке перед зеркалом красовались в бутылочках лосьоны, розовая коробочка с тальком, на раковине стояло жидкое мыло, а на краю ванной располагались солидной компанией гель для душа, шампунь, кондиционер и веселая греческая губка в виде утки. «Ну Боксер, ай да Боксер», – не уставал повторять он. Вышел в комнату и, пока наливалась вода, налил себе рюмку коньяка, закусил со вкусом конфеткой, полностью разделся, скинув одежду прямо на стуле в гостиной, и полез в воду, напевая под нос песенку беспечности под аккомпанемент льющейся веселой струи. Потом он намылил волосы и, вспенив, так и погрузился с головкой, оставив на поверхности лишь нос. Полежав в таком положении несколько минут, он принялся тереть голову, залезать пальцами в уши и, наконец, плеснув свежей водичкой в лицо, включил душ, тщательно смывая мыло.

Меж тем ему показалось, что за время его погружения под воду и дальнейшего шумного ополаскивания что-то начало происходить: как бы изменился звуковой фон. Та прежняя, блаженная тишина отступила, и на ее месте водворилась тревога.

Действительно, выключив воду, он вдруг явственно услышал доносившийся из гостиной неприятный мужской голос:

– Да тут и его трусы! И носки!

В ответ раздалось женское повизгивание:

– Не знаю я ничего! Я одного тебя здесь ждала!

Андрюша замер и первым делом попытался выскочить из ванной и вытереться, но – увы! – вешалка, где обычно висело его огромное банное полотенце, была пуста, а в кольцо возле раковины продета большая квадратная махровая салфетка, которой едва хватило, чтобы утереть лицо и бороду. Он беспомощно оглядел ванную – сиротливыми уродцами торчали из стены пустые крючки для халатов, и даже в корзине для грязного белья он обнаружил лишь пару колготок, узенькую ленточку дамских трусиков и полупрозрачную, хотя и довольно длинную черную кружевную комбинацию.

– Да я тут ни при чем! – раздался из комнаты истеричный женский визг, и что-то грохнуло.

– Все вы бабы – шлюхи! А вот мы сейчас и посмотрим, кто тут у тебя такой купальщик! – грянул мужской голос прямо под дверью ванной.

Андрюша судорожно схватился за ручку двери и буквально в последний момент успел повернуть запорный рычажок, как тут же этот настырный самозванец принялся ломиться к нему, барабанив кулаками, поливая Андрюшу отборной бранью и вызывая его на смертный бой. Витте, конечно же, этот бой готов был принять, ибо он был вовсе не толстовец по духу, и даже с удовольствием всыпал бы этому пройдохе, вломившемуся среди ночи в его дом, но не выходить же к нему, сверкая крупными каплями на свежeweымытом теле и прикрываясь, как фиговым листком, махровой салфеточкой? Меж тем удары усилились, хотя и стали наноситься глуше, да и локализация их становилась ниже – видимо, негодяй пустил в ход массивную и крепкую, судя по всему, заднюю часть. Андрюша с тоской подумал, что дверь не выдержит таковых торпедирующих маневров и, в конце концов, будет вышиблена и тогда он во всей своей срамоте предстанет перед этим бугаем, который ему уже рисовался в облике красномордого дяди Бори, и его противно визжащей подружкой и впал в настоящую панику. Он заметался по ванной, схватил черную комбинацию и буквально протиснулся в нее. После этого он мужественно повернул ручку, и здоровенный детина, только-только хорошенько размахнувшийся задом, чтобы пойти на таран и вдарить посильнее,

потерял точку опоры, на которую так рассчитывал, пролетел мимо Витте, смазав его на лету локтем по скуле, и обрушился на раковину, задев рукой полочку с лосьонами и тальком, тут же посыпавшимися ему на голову. В дверях показалась девушка в мелких кудряшках, одетая в коротенькую ночную сорочку, едва-едва прикрывавшую тело. Из-под нее торчали длинненькие тонкие ножки. И у Андрюши вдруг – совсем не к месту – при взгляде на нее всплыла его старая строчка, ибо это воистину было «платье рюмочкой». Увидев перед собой бородатого мужика в черном полупрозрачном обтягивающем гипюре, прикрывавшем причинное место махровой салфеткой, она издала такой истошный вопль, который должен был полностью развеять все сомнения этого агрессивного мужика под раковиной, обсыпанного тальком, в ее невинности и чистоте.

Витте проскочил мимо нее, схватил одежду и принялся натягивать на себя для скорости прямо поверх комбинации.

– Это мой дом! – повторял он. – Как вы попали сюда? Кто вы такие? – вопрошал он, почувствовав уверенность сразу же, как только застегнул брюки.

– А вы – зачем вы вырядились в мою рубашонку? – обиженно выкрикнула она. – Она вам мала. Вон – растянули, порвали...

– Так он еще и в твоём белье? – грозно спросил мужик, ковыляя в комнату. Теперь он не казался уже таким ужасным, лицо его было страдальчески сморщено и кое-где присыпано белым порошком.

Через несколько минут все разъяснилось: девушка оказалась сотрудницей монархического журнала и решила после переезда редакции немного задержаться в этой чудесной пустой квартире в центре Москвы. Вечером они договорились с ее любовником, который работал оператором на телевидении, вместе «хорошо посидеть», но он, как теперь клялся ей, задержался на съемках. И она от обиды не дождалась его и легла спать. А тут – Витте – и сразу в ванну. А оператор пришел после тяжелого трудового дня – между прочим, со своим ключом, и смотрит – посреди комнаты мужская одежда, а самое главное – трусы.

Ну, по этому поводу сели за стол, съели приготовленную монархисткой баранину, запили коньяком, закусили конфеткой «комильфо», и на следующее утро Витте их дружественно выпроводил.

– А рубашонку я оставляю вам, – сладко улыбаясь и помахивая кудряшками, сказала на прощанье монархистка. – Между прочим, из хорошего магазина. Я ее за триста евро брала. Да, кстати, вы видели наш первый номер? Вон там – у кровати, на тумбочке.

Витте открыл и прочитал свое старое стихотворение, которое он подавал в новом варианте:

Душа блаженствует, повсюду Бога славит,  
Но кто из нас – слагателей стихов —  
Вдруг женщину прекрасную представит  
Без яда аспида меж седмерицею грехов?..

Вот до чего жизнь довела моего бедного друга!

– Слушай, я тут прочитал «Философию имени», – как-то раз сказал он мне, – и подумал: может быть, мои беды оттого, что я – Касьян? Родился в високосном году, день рождения у меня какой-то выморочный – один год есть он, а три подряд как провал.

– Да ладно, ты же знаешь Берендта! Он тоже Касьян. Он даже завел такое, чтобы все звали его именно этим именем: никто даже и не помнит уже, что он – Саша. И все у него прекрасно. Жена – Катрин, Екатерина, между прочим, дочка Ариадна – тоже неплохо. Новеллу чудесную недавно написал. Домик у него в Реймсе, квартирка в Париже, другая – в Каннах, третья – в Москве. Они катаются с семьей – туда-сюда, туда-сюда. Так что твой «женский вопрос» от имени не зависит. У тебя просто установки такие радикальные – то тебе «одуванчик духов» подавай, то сразу уж «седмерица грехов». То тебе – княжну, то – Валю из Тулы с народным дядей Борей. И все ты какие-то конспирологические сюжеты выискиваешь. То

Грибоедова у тебя не убили, а подменили, а сам он стал во главе суфитов, то Александр I у тебя не то что даже Федором Кузьмичом оказался, а вообще каким-то Афонским старцем Михаилом.

– Так он и был! Прах этого старца был перевезен в Таганрог в сопровождении двух военных фрегатов и захоронен там с очень большими почестями, но при минимальном количестве свидетелей. Было всего несколько лиц, посвященных в великую тайну. Между прочим, вдова Александра I – вдовствующая императрица Елизавета Алексеевна даже не простилась с привезенными в свое время из Таганрога останками царствующего супруга и ни разу не была на его могиле. О чем-то это должно говорить! То есть она-то хорошо знала, что на самом деле пока его оплакивает держава, муж ее здравствует и возносит свои святые молитвы на Афоне в рубище простого монаха. И вообще – я был знаком с одним искусствоведом, а он был, в свою очередь, знаком с братом барона Врангеля – тот тоже был искусствовед. И вот этот самый брат пытался воздействовать через генерала Врангеля на Николая II, чтобы начать расследование таганрогской истории, как следует покопаться в архивах. И что же? Государь император на это ответил: «Пусть он оставит эти замыслы. В нашей семье много такого, о чем никто даже не догадывается». А я как монархист хочу это знать.

– Вот, – сказала я, – вот: ты хочешь раскопать потаенное, и за это Господь закрывает тебе глаза на очевидное.

– Что ж поделать, – пожал он плечами, – такова уж моя профессия – реставратор. Моя задача как раз в том, чтобы сокровенное делать зримым, проявлять ноуменальное.

И тут вдруг с ним произошла такая история, что после нее он зарекся это «сокровенное, ноуменальное» проявлять. Приходит ему на электронный адрес письмо:

«Здравствуйте, Андрей! Я – Ваша сводная сестра по отцу. Отец мой – Валерий Иванович Мазнин – ушел от нас с матерью и женился на Ирине Павловне Бибиковой. Вскоре у них родились Вы. Однако, поскольку наш с Вами общий отец – Валерий Иванович сильно пил, Ваша мать вскоре его оставила и вышла замуж за Андрея Петровича Витте, который стал Вашим отчимом, а потом и вовсе усыновил. Если Вы нуждаетесь в том, чтобы возле Вас оказался близкий человек, да к тому же и родственник, позвоните мне или свяжитесь по e-мейлу. Ваша сестра Зина Мазнина».

Потрясенный Андрюша приехал ко мне и молча протянул распечатанный текст.

– Она еще и Зина, – невольно съехидничала я. – Ну что, Витте, поздравляю тебя! Видишь, Господь слышит малейшие твои пожелания – и сразу исполняет. Захотелось тебе раскопать потаенное – пожалуйста.

– Все ты смеешься, а мне каково?

– Да ладно, надо еще проверить, что это за Мазнин такой. У тебя есть семейный альбом?

Сели мы с ним фотографии разглядывать. Тут его отец и мать – юные совсем – сидят парочкой. Тут – мать сидит, а отец стоит за ее спиной, тут – Андрюша маленький на руках у отца, тут – они втроем: счастливая семья, у Андрюши в белой рубашечке на горлышке бабочка. О! А вот тут он, тоже совсем крошечный – на руках у довольно-таки противного мужика. Лицо у него какое-то индюшачье, выражение брюзгливое, губы плотоядные, жирные – поблескивают: типичный Мазнин. Валера такой.

– Нашла, – мрачно сказала я. – Вот полюбуюсь! Он вперился взором в старый снимок:

– И что? – спросил он. – Это мой родной дядя Бибиков. Очень хороший человек. Лютый антисоветчик был, Царство ему Небесное, добрый монархист.

– Ну а родня у тебя хоть какая-то осталась, чтобы про этого Мазнина спросить?

– Брат двоюродный есть – Мишка Бибиков, фамилию взял по матери, по отцу он – Санкин. Но я с ним не разговариваю с тех пор, как он в дворянском собрании стал все этого сомнительного мальчика Гогенцоллерна на российский престол двигать. Боксеру совсем мозги запудрил, на свою сторону склонил. То-то он будет рад, что я – не Витте, а какой-то Мазнин. Тетка еще есть, маменька его. Но она старая, с головой у нее уже не очень, в детство впадает, мишек плюшевых любит. Мишка говорит – это у нее комплекс такой, оттого что он – вырос. Гладит она этих плюшевых зверьков и повторяет: «Миша, Миша!»

– Поехали к ней.

После церемонных приветствий Андрюша сразу приступил к тетке с расспросами. Анна Павловна оказалась очень маленькой, сухонькой старушкой из «интересанток», сохранившей мимику и манеры молодой хорошенькой женщины. Вокруг нее на диване были рассажены небольшие плюшевые игрушки.

– Тетушка Нюта, – Андрюша с ходу взял быка за рога, – вы не припомните, у моей маменьки, у вашей сестры Ирины, были ли какие-то еще мужья, кроме моего папеньки?

Глазки ее сверкнули, и в них зажегся живой огонь:

– А я ей всегда говорила: Ирина, зачем тебе такое яркое пальто? Знаете, у нее было такое пальто с регланом, цвета хорошего красного вина. Букле. И пуговицы такие, обтянутые материей. Голландское, кажется. Хорошее пальто.

Взгляд ее вдруг погас. И она взяла на руки небольшого мишку, который сидел на спинке дивана.

– Так у мамы были в жизни романы? Вам ничего не говорит это имя – тетушка, сосредоточьтесь, это очень важно: Валерий Иванович Мазнин?

– А, это тот, что нам давеча подписку организовывал?

– Какую подписку, тетушка?

– А на Писемского или на Новикова-Прибоя. Я уж и не помню. У Писемского там романы очень живописные. Ты читаешь романы, Андрюша?

– Тетушка, так этот Мазнин был связан с книгами? В магазине книжном работал, да?

– Видный был старик, в нарукавниках. Нос такой с горбинкой, а голова лысая. Только, кажется, он был не Мазнин, а другой. Пельцер, что ли. Хотя Пельцер – это была артистка. А вот кто он был, трудно сказать.

– Ну, хорошо, а мама дружила с мужчинами до моего отца?

Она кокетливо хохотнула и погрозила ему пальцем:

– Был у нее вожатый, это еще когда в пионеры принимали (она выговаривала «пионэры»), он потом в милицию пошел, а потом и вовсе – в органы. Так и говорил: «Я из органов». Так вот он был видный мужчина такой.

– И что? Обыски устраивал? Угрожал? Или – ухаживал? Мазнин его фамилия?

– Крупа.

– Что – крупа, тетушка? Какая еще крупа? – горячился Андрюша, предчувствуя, что ничего не добьется.

– Крупа из органов.

– И что – это он за мамой ухаживал?

– Нет, я же сказала: он ее в пионэры принимал, вожатый, а разве так ухаживают? – Она хохотнула, покачивая головой и поглаживая мишку.

– А Мазнин что? Друг, что ли, этого Крупы? – отчаялся Андрюша.

– Это ты про инвалида?

– Почему инвалида? Он был инвалид?

– Ну, он с культяпками – ни рук у него, ни ног. На дощечке ездил. Мы еще ему еду носили. А он на губной гармошке играл.

– Да как же он играл, если у него ни рук, ни ног?

– Так он дул, а мы гармошку по очереди держали.

– Это точно Мазнин?

– Откуда мне знать, Андрюша? Ирочка тогда в этом красном пальто чуть быка с ума не свела.

– Какого быка?

– Деревенского. Мы поехали в деревню, а он пасся. И вдруг увидел ее в пальто и как рванул!

– Тетушка, – Андрюша уже чуть не плакал, – как же он пасся, когда она была в пальто букле? Сезоны у вас не сходятся. Или он не пасся или она была без пальто.

– Нет, Андрюша, это пальто я хорошо запомнила. И бык был. Хотя, может быть, это был другой бык, с корриды.

– А Зину Мазнину вы знали? – Андрюша уже поднялся, чтобы откланяться.

– Зинку? Так это ж наша домработница была. А потом ее скрутило.

– Что значит «скрутило»?

– Стала она себя путать.

– Путать?

– Путать, путать. Со мной. Говорила: «Я здесь Анна Павловна, все подчиняйтесь, метите пол, несите обед», а потом и за Мишину жену стала себя принимать. Приходит Миша, а она ему: «Ты – мой золотой миленочек, перстенек, муженек!» И за шею его – к себе, к себе! А потом она это красное пальто букле взяла в кладовке, надела на себя, феску декоративную – у нас на стенке висела, помнишь? – зонт еще у нее черный с собой и пошла во двор. А был летний зной. Наверное, Крупа ее и забрал. Или как раз бык тогда и пасся, ежели зной.

– Ну, вот видишь, – сказала я Витте, когда мы вышли от тетушки. – Все объяснилось: она опять себя перепутала, эта Зина.

– Ох, тошно мне, – покачал головой мой друг. – До конца жизни буду теперь сомневаться: я – не я. Путать себя с братом Зины, с Мазниным.

– Хорошо еще – не с Крупой, – неудачно сострила я.

...Той же ночью, часов около трех, меня разбудил радостный Андрюшин голос:

– Все в порядке! – сообщил он. – Я нашел на антресолях связку старых родительских писем. Они оба жили в деревне за девять месяцев до моего рожденья – неподалеку от сожженного родового имения Бибиковых. Был май, стояла страшная жара, все вокруг распушалось и цвело, одуванчики стремительно меняли желтое оперенье на белую опушку, пруд нагрелся так, что можно было по полчаса сидеть в нем, не вылезая. И они в восторге описывают эту красоту моему дедушке Петру Александровичу Витте. Его незадолго до этого выпустили с шарашки и сразу как выдающегося физика кинули на ответственный объект. Личную машину дали. И вот он в ответ шлет им письма, что шофер его, шельмец этакий, Валерка напился и разбил вдрызг машину и теперь лежит со сломанными ногами в Склифосовского. И в силу этих причин он, будущий дедушка, не сможет навестить своих милых птенчиков в их деревеньке. Вот! – выдохнул наконец он.

– Витте, я счастлива! – сказала я сквозь сон. Но у него, как видно, было настроение еще поболтать:

– Знаешь, наверное, не судьба мне жениться. Или наоборот? Или я просто не воспользовался как следует ее знаками? Может, мне стоило эту Катюшу, соседку твою, попытаться выкупить у ее мужа за «малых голландцев» или украсть? Ну и ладно. У прадедушки моего Сергея Юльевича тоже детей не было. С другой стороны, скажи, разве так уж плохо мне одному? Разве мне чего-то не хватает? Хожу, развязываю узелки жизни, снимаю ветхий слой. Обнаруживаю нечто новое, совершаю доселе не бывшее. Любуюсь издали... Я тут тебе картину маслом написал – ко дню рождения. Сейчас немного еще пройду по ней и закончу.

...Действительно, появился через несколько дней с картиной «Княжество» – на ней был нарисован прекрасный старинный город – с синими домами и красными крышами, и все дело было именно в красках, в их сочетаниях, а не в рисунке. А на обороте можно было прочесть изящным почерком художника выведенное:

Не ерничает тот и не лукавит,  
Вещая так: слагатели стихов,  
Кто женщину прекрасную представит  
Без княжества и мертвых женихов?

– А почему – мертвых? – спросила я.

– Не знаю, – сказал он. – Почему-то так у меня написалось. Наверное, они все уже сражены женской прекрасностью. Или наповал убиты женским коварством. Или просто – все они аутисты и на самом деле им ничего не надо, кроме себя самих. А я – посмотри на меня – я как тот мальчик с петухом: как весело он глядит, как забавно и неловко его держит! И только мы видим этот странный безумный огонек в петушином глазу, загадочный, inferнальный, этот кровавый гребень, эту злую бородку – словно вот-вот изловчится, вывернется и клюнет беспечного и бесстрашно улыбающегося мальчика.

## **С напудренной косой**

Не знаю, что это вдруг он повадился к нам, зачастил. Не то чтобы мы не были с ним знакомы – были, но так, шапочно. Кинешь ему привет, пробегая по ЦДЛ, и бежишь себе дальше.

А тут он стал звонить из автомата у моего подъезда, текст был примерно один и тот же:

– Олесенька, у меня сегодня сорокалетие. Стою у вашего подъезда с кастрюлей плова и бутылкой «Шампанского». Меня Пастернаки никак не хотели отпускать. Леня уговаривал – старик, да побудь с нами в свой юбилей, Наташа вот стол накрыла, обидимся, но я ему – нет, Леня, уволь, свой юбилей я хотел бы встретить с моими близкими друзьями Олесенькой и Володей. Выпил с ними для приличия, и вот я здесь. Принимайте гостя!

От его этих «близких друзей» веяло чем-то завиральным. Меня, честно говоря, коробило... Я люблю, чтобы слово значило именно то, что оно значит: близкие друзья у нас были совсем другие... Да и вообще – что-то не то, какие-то нестыковки были в его разухабистых признаниях:

– Вчера с Андрюшкой Битовым напился, позавчера – с Васькой Аксеновым, а три дня назад – с Юркой Левитанским.

Ну с Битовым – ладно, пусть. Битов – демократичен. Даже слишком писатель Битов бывает широк. Вокруг него порой такая крутится, простите, клоака, такой вьется сброд, а он хоть бы что, сидит вещает что-нибудь глубокомысленное про пушкинского промыслительного зайца, например. Но Аксенов с этим «Васькой» – это уж, извините! Никогда не поверю... Или Левитанский – человек церемонный, дистанцированный, с манерами. Панибратства не переносит. Так же и Пастернаки, что-то не очень на них похоже – так удерживать, не пускать, обижаться... Да с кем хочешь, с тем и празднуй, в конце концов, хозяин – барин!

Да и сам этот наш гость как-то не вписывается в картину – то рожки из нее высунутся, то копытца: репутация у него с душком, наследил он уже кое-где с «Метрополем» – поспешил вылезти, заклеить, отметился. К своим стихотворным книжкам все «паровозы» строчил. «Паровозами» тогда назывались стихи про Ленина, партию и БАМ. Это сейчас конъюнктура поменялась и таковыми стали считаться тексты про сперму и «цветок между ног».

Мой друг Гофман, у которого отец служил в разведке, и говорит:

– Да это он вас курирует. Опекает. Пасет. Вы, должно быть, в его участок попали – у них там всё на участки поделено, вот он и наведывается к вам время от времени – что да как, кто приходит, что говорят. А потом отчеты строчит. Гони ты его в три шеи, мой совет.

«Вот гад, подумала я, не хватает еще стукачей у себя привечать, да выгоню его, и говорить тут нечего». А он как раз и звонит и опять прежним манером:

– Олесенька, у меня горе – печальный юбилей смерти матери. Хочу вместе с вами помянуть свою старушку. Стою у вашего дома с жареной рыбой и водкой...

– Нет, – закричала я в трубку. – Мы не можем. Приносим свои соболезнования, но к нам сегодня нельзя – дети болеют, мы рано спать ложимся, работы полно – придется до утра корпеть...

А он:

– Милая моя, раз у вас дети болеют, то у вас беда. А какой бы я был друг, если бы бросил вас в беде. Мчусь.

Муж мой как раз из ванны вылез, разнеженный, в халате, а лишь услышал, что наш куратор опять к нам направляется, хватать шубу, хватать шапку и – бегом на лестницу, к нашим друзьям, которые жили в соседнем подъезде.

– Может, он и не стукач, а все равно не могу с ним. Тоскливо мне, томительно.

Тут этот незванный гость и звонит. Нет, думаю, не открою. Нечего сексотам делать в моем доме! Пусть себе звонит...

А он недолго думая р-раз – надавил на ручку и вошел. Дерни за веревочку – дверь и откроется. Потому что у нас дверь-то никогда не запиралась – гостей полон дом, веселье. Прямо как в песне «Не запирайте вашу дверь». Входи, ешь, пей, веселись, читай стихи. У нас, правда, не очень-то и разъешься – денег нет, дети маленькие...

И вот он уже – тут как тут. Хотела было крикнуть ему грозно: «Убирайтесь-ка восвояси, милостивый государь! Извольте выйти вон!», а внутренний голос мне так вкрадчиво говорит – а гонишь-то ты его за что? Может, он и не стукач, это еще не доказано. Лучше ошибиться в добре, чем во зле. Может, он просто одинокий человек. Жена его бросила, сына с собой забрала, мать, вишь, умерла, он помянуть ее к тебе пришел, грозой оторванный листок, ищет теперь тепла, любви... А если у тебя злая минута настанет, а тебя и на порог не пустят, это как?

И дети мои стали кричать:

– Мама, мама, к нам гость! Можно мы ему концерт покажем?

А дети мои – ну не то что бы не артистичные, нет, это совсем не так – они очень даже артистичные такие, обаятельные, трогательные, веселые, музыкальные, чудные деточки. Но репертуар у них – бедноват. Голубой вагон с Чебурашкой, елочка зимой и летом, да еще песня атаманши из «Бременских музыкантов». Но это их несколько не смущало, и они, когда песни у них были уже пропеты, ничтоже сумняшеся начинали по новой. Концерт мы еще им иногда позволяли, если не очень долго. А потом – спасибо, дорогие деточки, бурные аплодисменты, ну, идите поиграйте теперь в свою комнату. Но был у них еще один номер. Они ставили на стул большую раскрытую книгу с картинками и, перелистывая, обстоятельно рассказывали зрителям, присюсюкивая и пришепетывая, а также гнусая и гундося, все, что было там нарисовано. При этом один изображал Хрюшу, а другой – Степашку. Соответственно номер этот назывался «Спокойной ночи, малыши». Очень томительно иногда у них получалось. И вот именно «Малышей» мы просили их показывать у себя в комнате всяким там плюшевым мишкам и зайкам.

А тут я так обрадовалась, в ладоши захлопала: – Концерт! Концерт! И «Малышей», пожалуйста, на десерт. Надо все-таки в детях поддерживать гуманитарные и артистические склонности, – объяснила я гостю.

Он вежливо изобразил на лице заинтересованность.

Два с половиной часа мои деточки листали свои любимые книжки, добросовестно перевоплощаясь в любимых телезверюшек. В конце концов мое материнское сердце дрогнуло, и я присоединилась к ним, фальшиво подделываясь под интонации «тети Вали».

Наш соглядатай сидел-сидел, напрягая лицо выражением пристального внимания и интереса и тайком отщипывая от своей жареной рыбы. Наконец, дрогнул, поблагодарил, стал прощаться...

И вот с тех пор так и повелось. Только он в дом, муж в дверь, а я сразу:

– Деточки, деточки! Пора показывать «Малышей»!

Выгнать же его не могла. Опять этот тихий льстивый голос:

– А если его Бог к вам зачем-то послал? А ты его гнать?

А Гофман мне в другое ухо:

– Да он точно стукач! У него на морде написано. Гони его. Или придумай что-нибудь. Скажи – я работаю, мы сегодня не принимаем...

А тихий голос опять мне говорит:

– Святые вон и прокаженных у себя принимали да выхаживали. Один так даже поселил у себя человека без рук без ног, обрубка этакого, гнойные раны ему обмывал, согревал своим дыханием, таскал на спине. А этот его подопечный возомнил, что все это так и положено, причитается ему законным образом, так и быть должно, и стал на этого святого подвижника покрикивать, поносить его стал, бесчестить. «Все, – решил, наконец, святой подвижник, – не могу больше. Занесу его куда-нибудь в дикую пустыню, да и выброшу там – пусть сам выкарабкивается». Пошел к преподобному Антонию Великому просить на это благословение, а преподобный Антоний ему говорит: «Э, нет уж – взялся, теперь неси этот крест до конца». Так и остался этот злыдень с подвижником до самой его смерти...

Подобная перспектива, конечно, очень меня угнетала... И еще я думала – интересно, что он там пишет о нас в своих отчетах? Например, «просмотрел полную программу «Спокойной ночи»... Потому что – только он заикнется о каком-нибудь там «Булатике», «Дезике» или «Юзике» – я сразу голосом тети Вали:

– Дорогие дети! А теперь мы вам расскажем про одного мальчика, который никогда не умывался! Или про одну девочку, которая ела только торты и пирожные...

И хотела ведь выгнать его, и не могла... Получалось каким-то образом, что сама кругом виновата, почти по апостолу Павлу: «Не понимаю, что делаю: потому что не то делаю, что хочу, а что ненавижу, то делаю. Если же делаю то, чего не хочу, уже не я делаю то, но живущий во мне грех».

Решила, как тот святой подвижник, обратиться к преподобному Антонию. Ну, Антонию не Антонию, но к Трифону-мученику пошла. Его икона с кусочком мощей как раз есть у нас в церкви на Рижской. Поставила ему свечу, заказала молебен с акафистом, встала перед иконой:

– Дорогой Трифон-мученик! Избавь нас, пожалуйста, от нашествия нашего гостя. Может, он и не кагэбэшник, а все равно какой-то дух после него остается – козлом припахивает, смущает душу. Придумай, пожалуйста, что-нибудь!

Так дерзновенно обратилась к Трифону-мученику еще и потому, что он – особенный святой. Молодой. Отзывчивый. Какой-то, ну что ли, легкий на подъем! Он и сам заповедовал молиться ему о разрешении всех жизненных недоумений. Даже если вещь какая-то нужная потеряется, можно тут же к нему обратиться: «Трифон-мученик, помоги найти», и он тут же либо в голову тебе вложит идею о том, где эта потерянная вещица может быть, либо просто наведет тебя, так что – споткнешься, наткнешься, налетишь на нее: «Ай да Трифон-мученик!»

Так я на этот раз ему помолилась, он и помог в весьма скором времени и весьма причудливым образом.

Мне надо было отлучиться из Москвы на несколько дней: я переводила стихи грузинских поэтов для издательства «Мерани», и давно настала пора получить там деньги за вышедшую книгу, а по телефону это никак не удавалось уладить. Величественная бухгалтерша каждый раз мне говорила, что гонорар уже перечислен на мой счет в Москве, но проходили недели, и ничего на этом счету на оказывалось, кроме изначально положенной на него трешки. А деньги были ужасно нужны – долги, ботинки рваные, дети растут... Кроме того – было бы совсем не лишним запастись новыми переводами. Вот я и взяла командировку в Союзе писателей и отправилась на добычу.

Оказалось, главный редактор «Мерани» поменялся – его кресло занимал теперь весьма симпатичный и импозантный муж, назовем его Зураб. Я ему все объяснила про ботинки, долги и детей и про то, как мне неприятно чувствовать себя перед ним какой-то там побирушкой, которая все что-то клянчит, клянчит... Он сочувственно кивал головой, прицокивал языком, наконец, вместе со мной спустился в бухгалтерию, и я тут же получила сполна свои денежки. На радостях пригласила Зураба к нам в гости в Москву, а он как раз и собирался туда на следующий день.

– Как приеду, сразу к вам на ужин!

Вернулась я из Тбилиси, нагруженная всякими невероятными вкусностями. Привезла три литра отменной деревенской чачи, несколько бутылок превосходного грузинского вина, сыра, зелени, ткемали, аджики, фруктов. Сварили солянку, нажарили мяса, разложили закуски, расставили бутылки, муж мой отлил из банки в изящный графинчик чачи... Красота!

Пришел Зураб – в великолепном костюме, белая сорочка, принес бутылку коньяка, зашел по-соседски Юрий Давидович Левитанский, изнуренный трагедиями жизни, заехал талантливый фотограф Георгий – тоже, кстати, родом из Тбилиси. Притащил с собой дорожную фотоаппаратуру, даже собственные софиты – собирался сделать мой фотопортрет для новой книги.

– Нет, деточки, нет, сегодня концерта не будет, нет, никаких «малышей», сегодня будем весь вечер ужинать, там еще торт, мороженое, конфеты...

Поели солянку, выпили, поели еще, опять выпили – разумеется, велеречивые вдохновенные тосты, праздник жизни, пир.

– Не надо формальностей! – сказал Зураб. – Зовите меня просто Зура.

– А меня Гоша, – подхватил Георгий. Начались брудершафты. И понеслось, и пошло...

Гоша врубил софиты, щелкал меня то так, то этак, то в интерьере, то между детьми, то с друзьями, то за пишущей машинкой, то у окна...

– Получится гениально! – уверял он.

Зазвонили в дверь. Веселая, разгоряченная, я распахнула ее – бац, а там куратор безо всякого даже предварительно, звонка:

– Олесенька, у меня горе – книгу зарубили в издательстве. Я знаю, вы – друзья, пришел за утешеньем.

Вытащил из карманов пальто две бутылки «Гамзы», отодвинул меня локтем, прошел в комнату, а там – дым коромыслом.

– Юрий Давыдович, – аж согнулся от почтения, – мне-то какая честь сидеть рядом с вами!

От Зураба и просто обалдел – шутка ли, сам главный редактор издательства «Мерани» с ним за одним столом! Не каждый день такой богатый улов. Разволновался. Наливал и того, и другого, и третьего, опрокидывал со словами:

– Я вообще-то не пью, у меня печень, почки, поджелудочная, селезенка, но такие люди, такие люди...

Приговаривал: пей до дна, пей до дна, пей до дна!

Тут же и улаживал свои дела: у Левитанского уже выпросил «врезку» для журнала, Зурабу засунул рукопись своих стихов в портфель:

– Между прочим, я перевожу грузинских поэтов. С Отариком Чиладзе мы вась-вась!

Попросил и Гошу:

– Щелкни меня с ними, друг!

Прижался одной щекой к Зурабу, другой – к Левитанскому, улыбнулся блаженно, замер.

Что-то мне было не по себе. Еще бы, а если откинуть всю лирику и мистику, вдруг он – доносчик!

Пришли приличные люди в приличный дом, а им тут – пожалуйста, сексот собственной персоной. И не предупредишь их. А если предупредишь, то что? Люди все горячие, ведь, пожалуй, еще и морду ему здесь набьют и спустят с лестницы... В общем, я решила сделать так, чтобы все поменьше говорили. Поэтому я встала посреди комнаты и возгласила:

– А теперь – фокус-покус!

Когда-то мои друзья-физики научили меня одному загадочному трюку. Нужно выбрать из компании человека, да потучнее, поувесистее, посадить его на стул, четверем человекам встать по углам стула и попробовать поднять его вместе с толстяком одними мизинцами левых рук. Разумеется, это абсолютно невозможно. Все в этом убеждаются бесповоротно. И тогда эти четверо начинают по очереди, по часовой стрелке заносить над голову сидящего правые руки таким образом, чтобы ладони оказались параллельно

полу, после этого над этими правыми руками тем же манером заносятся и левые. Далее надо немного – десять секунд подержать эту «надстройку», а потом в обратном порядке ее разобрать. Подсунуть левые мизинцы под сиденье и – толстячок летит к потолку, удержать его невозможно, и, достигнув высшей критической точки, он дает обратный ход и мчится вниз, чтобы рухнуть всей тяжестью.

На сей раз как самого упитанного первым выбрали нашего соглядатая: покрутили над ним руками, полетел он, как шарик, как воздушный змей – не удержать! – и шлепнулся на ковер, аж подпрыгнул на одном месте. Ничего, обошлось. У нас и не такие и летали, и шлепались. Да кто только не летал! Сам министр культуры Польши – человек вполне даже в преизрядном теле, а ведь упорхнул поначалу, люстру задел, а потом замахал руками-ногами и – камнем вниз. А почему-то не больно. Так у нас и Зураб слетал, и Левитанский... Поохали, поахали, посмеялись. Мои друзья-физики уверяли меня, что это невозможно объяснить никакими законами их науки. Какой-то метафизический трюк. Мистика.

Вот и у нас после этого началась какая-то сплошная мистика с метафизикой. Сюрреализм. Воздух стал густым, насыщенным. Голоса зазвучали гулко. Слова стали внушительнее, тяжелей...

Сначала пропал наш куратор. Вышел, ни слова не говоря, и исчез. Мы думали, он ушел.

– По-английски, – объяснил Зураб.

Потом Гоша решил меня сфотографировать в каком-то таком замысловатом ракурсе, поиск которого загнал его на табуретку, после чего он опустил голову с фотоаппаратом почти до уровня коленок и прицелился – постройка оказалась столь хрупкой, что достаточно было легкого нажатия пальца на кнопку, чтобы все это сооружение рухнуло, фотоаппарат разбился вдребезги, Гошины очки плюхнулись в солянку, золотой жир брызнул на шикарный костюм Зураба, а сам Гоша, зацепив худосочным телом софит, повалился на пол и сразу заснул. Задремал и Юрий Давыдович поперек тахты, откинувшись навзничь.

Зураб невозмутимо стер салфеткой жир, увидел у меня на книжной полке грузинский серебряный рог, схватил, наполнил, протянул моему мужу:

– Выпей. Будешь мне как брат. Наполнил вновь и осушил его сам:

– Пью за великую русскую поэзию. Послушай, как звучит: «Я же с напудренною косою шел представляться императрице и не увиделся вновь с тобой!» Что это, а? Чудо! С ума сойти!

Прибежали дети:

– Мама, мама, там ваш гость заперся в уборной и не выходит. Уже давно-о-о! Может, он там умер? Мы стучали – не отзывается.

Я отвела детей к соседской девочке. Она хорошая, деток моих любит. Пусть поиграют. Дверь в уборную была по-прежнему заперта. Я вернулась к гостям.

– Нет, ты вслушайся: «с напудренною косою!» Это повеситься можно! Ты понимаешь – «императрице!» Я сейчас умру! Великие стихи! – стонал Зураб.

От этих стонов проснулся Левитанский. С интересом прислушался к происходящему и неожиданно тихонько запел: «Я люблю тебя, жизнь»...

Наконец, из прихожей послышались какие-то звуки, я выглянула из комнаты, и моему взору предстала странная картина: наш опекун, вооружившись шваброй и ведром, старательно драил задрипанный туалет. Я скрылась с глаз долой.

– А, пусть делает, что пожелает, – философски заключил Зураб. – Пусть сегодня каждый делает, что Бог на душу положит...

Левитанский допел первый куплет и начал его по новой. Пробудился Гоша. Заинтересовался песней. Юрий Давыдович пригласил его жестом:

– Вступай, подхватывай.

Гоша весь подался вперед, пристроился, прикипел к песне...

Тем временем звуки в прихожей умолкли, и я пошла на разведку. Туалет блистал чистотой, галльон – сиял. Все было продезинфицировано и стерильно. Путь наконец был открыт. Я поискала по дому нашего

сексота, но его и след простыл.

Меж тем, продолжая шумно декламировать, на освободившееся место направился Зураб. И Левитанский, будто по некоему внушению, выкинул руку вперед и прочитал с чувством:

– «Как ты стонала в своей светлице, я же с напудренной косой шел представляться императрице и не увиделся вновь с тобой!»

Гоша слушал его, обхватив руками голову, и, покачиваясь в такт, восклицал:

– Гениально! Гениально! Зураб все не возвращался...

Пришла соседская девочка, привела детей:

– Тетя Олеся, они глазки трут, они спать хотят. Двенадцатый час. А мне завтра в школу...

Я отправила детей умываться перед сном, отметила, что туалет пуст, – очевидно, Зураб тоже предпочел уйти по-английски – и принялась готовить чай. Носила чашки, торт. Вечер подходил к концу...

Вдруг в детской что-то упало, грохнуло, разбилось, раздался гомерический хохот, шум возни, трамтарарам. Распахнула туда дверь, а там... На детской кровати, свернувшись калачиком, лежал Зураб. Он крепко и безмятежно спал. А на нем, а на нем, «как на лошади верхом», сидели мои милые деточки и, весело хохоча, скакали куда-то вдаль, пришпоривая его и дергая за галстук, как за поводья. Кроме того, они то и дело зажимали ему нос и говорили:

– Дядя Зура, не дыши!

– Мама, мама, – закричали они, увидев меня. – Тут дядя Зура – такой смешной! Мы – играем!

Я согнала их с грузинского гостя, позвала мужа, и мы попытались разбудить Зураба. Никакого эффекта. Позвали Гошу, принялись тормозить, поднимать, подкапываться... Он спал и видел сны. Тогда, вспомнив сказку про репку, привели Левитанского. Поднатужились... Он даже и бровью не повел.

– Как же это мы на мизинцах его только что поднимали? – удивился Гоша.

– Казус физики, – многозначительно ответил мой муж.

В конце концов уложили детей на одной кровати, валетом.

– Деточки, дядя Зура спит. Он очень устал. Пускай уж отдохнет. А вы его не будите.

Но наутро его уже не оказалось. Представляю, как он проснулся в темноте на детской кровати, ужаснулся, спохватился, кинулся бежать без оглядки!

Больше всего нас поразило то, что мы ухитрились выпить впятером все, что было припасено в доме: три литра крепчайшей чачи, десяток бутылок вина, бутылку коньяка. Действительно, метафизика какая-то, мистика...

Вскоре в издательстве «Мерани» сменился главный редактор. Зураба же я встретила через несколько лет на крутой лестнице тбилисского комитета по переводам. Мы столкнулись с ним лицом к лицу, и я воскликнула:

– Зураб, как я рада вас видеть!

Он улыбнулся, потом взгляделся, узнал! Узнал! Лицо его вдруг исказила гримаса страдания, и он, буркнув что-то себе под нос, стремительно метнулся вниз – прочь, тени позора! Прочь, призраки бесчестья! Прочь, темные сновиденья прошлого!

А вот наш куратор больше к нам никогда не приходил. Лишь однажды я встретила его на темной улице. Он шел, пошатываясь, прижав к животу какую-то книгу, пальто нараспашку, шапка набекрень, взор безумный – форменный бомж. Он меня не заметил, и я не стала его окликать. Я лишь вспомнила, как мученик Трифон тогда его от нас отвел, и всё. Кстати, версия о том, что он был подосланным, никогда не подтверждалась – может быть, Гофман и ошибся. Может, действительно был он всего-навсего одинокий человек, хотел литературной дружбы, любви, чтобы хоть где-то его ждали, радовались, летел на свет, обжегся, опалил крылья... Хотя – кто знает? Может, всыпали ему там, где распределяют участки, по первое число – как же так, опозорился на службе, пьянь такая, можно сказать, провалился, донос не смог толком написать... И перевели на другой участок, а к нам направили кого другого...

Но и наша жизнь с тех пор очень переменилась. Никогда больше не было у нас такой, смею сказать, пьянки, такого безумного веселья. И Юрий Давыдович переехал на другой конец Москвы и больше никогда так запросто, без церемоний, не заглядывал к нам. И что удивительно – даже и стул с толстяком нам больше никогда не удалось поднять. Да. Хотя мы и пытались.

Как-то раз нас пригласил в гости наш приятель, у которого должна была состояться чрезвычайно важная встреча с каким-то очень нужным и важным чиновником из Госплана – что-то там от него зависело. И чтобы встреча эта вышла веселой и непринужденной, он и позвал нас. А у нас тогда гостил наш друг – иеромонах из Лавры, и мы его взяли с собой. Приехали. Стол ломится от угощений, а в воздухе чувствуется напряжение. Чтобы развеять обстановку, я и говорю:

– А мы вам сейчас продемонстрируем один физический нонсенс.

Госплан этот, мягко говоря, увесистый был, такой большой, квадратный. Это, собственно, меня и навело на мысль. Посадили мы его, попробовали мизинцами поднять – никак. Неудивительно. Встали с четырех сторон, правые руки по очереди занесли, подержали, потом левые – как положено, по часовой стрелке. Также и убрали их остороженько. Подсунули мизинцы. Раз, два, три! Дружно рванули вверх – стул не пошевелился. Стоял как приросший к полу. Потрескивал под толстяком.

– Перепутали, наверное, что-нибудь, – залепетала я в ответ на недоуменный взгляд Госплана. – Попробуем еще разок.

Опять занесли руки, опять подержали, аккуратно отвели их в стороны, степенно, без суеты, чуть дыша. Подсунули мизинцы – ничего!

– Забыли, наверное, давно не делали. А так весело бывало! Так все хохотали! Взмывали в небеса! Победа над законом тяготенья. Физики никак не могут объяснить, – оправдывалась я, поймав на себе негодующий взгляд хозяина дома. Госплан лишь презрительно усмехнулся и пересел в кресло. – Наверное, сначала левые нужно заносить, а потом уж правые, а мы все наоборот. Может, держали мало...

– А может, кто-то здесь молился, – услышала я тихий голос нашего друга-иеромонаха. Он выразительно посмотрел на меня и опустил глаза.

Что же еще изменилось с тех пор? Я научилась наконец говорить «нет». Нет, не могу, я занята. И закрывала дверь. Не все же Трифона-мученика утруждать выстраиванием таких прихотливых сюжетов.

А Гоша, как тогда расколошматил свой фотоаппарат, так вовсе перестал заниматься фотографией. Открыл крутейшую компьютерную фирму, ездит на «саабе». Недавно он ко мне заезжал, посидел, выпил чаю.

– А это ведь не Левитанского стихи, – сказал он вдруг мрачно. – Это Гумилев.

– Ты о чем? – удивилась я.

– Да вот это: «Я же с напудренной косой шел представляться императрице и не увиделся вновь с тобой». – Тяжело вздохнул. – Представляешь, она там стонет, Машенька, а он... Трагические стихи! Помолчал, махнул рукой:

– Пудришь эту косу себе всю жизнь, пудришь, пудришь... Зачем?

Я не стала ему отвечать.

## Жутха

Есть у меня близкий друг – Геннадий Яковлевич Снегирев, детский писатель, классик детской литературы. Человек необычайный, героический, мифический. Долгое время мы жили с ним в одном доме и виделись каждый Божий день.

Когда-то в юности он был отважным путешественником, изучал жизнь рыб и животных, работал в Туркмении змееловом, плавал по северным рекам на ветхих лодчонках... Однажды он с профессором Лебедевым проплыл по Лене на паруснике до самой дельты, где погибла экспедиция знаменитого

путешественника Де-Лонга: эти американцы запаслись буквально всем, предусмотрели все, даже пони взяли с собой, но забыли о крючках и лесках – так все и погибли от голода. А профессор Лебедев, глядя, как Снегирев поет на ветру, свесивши ноги в Лену, говорил: «Он либо сумасшедший, либо абсолютно бесстрашный человек!»

Снегирева привечали тибетские мудрецы, с почетом принимал у себя двойной перерожденец Будды, бесконечно любил его и дивный православный старец архимандрит Серафим Тяпочкин. Когда Гена, как блудный сын, объевшись свиных рожков, наконец попал в его пустыньку, старец обнял его и сказал: «Как долго я ждал вас! Наконец-то вы здесь». И благословил писать Священную историю для детей.

Но когда мы познакомились с Геннадием Яковлевичем, до приезда к старцу должно было пройти весьма изрядное время, а пока мой друг очень интересовался тибетской медициной. «Знаешь, что считают тантристы-красношапочники о враче, который сомневается в диагнозе?» – спрашивал он меня. «Нет», – потрясенно отвечала я. Гена неторопливо закурил сигарету, сел ко мне в пол-оборота и важно отвечал: «Врач, сомневающийся в диагнозе, подобен лисице, сидящей на троне». И еще рассказывал, как в Ивалгинском дацане ему вручили большой хадак в знак уважения. И тут же показывал длинную и широкую голубую перевязь, которую вручают лишь избранным. Кроме того – он с нетерпением ждал в гости некоего Мишу Попова – настоящего бурятского мага, с которым он познакомился в Бурятии и который не только лечил все болезни, но обещал и Гену взять в свои ученики.

Меня мучили тогда сильные боли в спайках, оставшихся от операции аппендицита, и я очень страдала. Хотя я и понимала, что «страдания возвышают и очищают», но порой они становились столь сильными, что не только не возвышали, а просто ввергали в пучину малодушия. И вот мой друг Гена сказал: «Ничего, придет Миша Попов, так для него тебя вылечить – это раз плюнуть». Выяснилось при этом, что «раз плюнуть» он употреблял в самом что ни есть прямом смысле, ибо бурятский маг лечил самыми разными способами, в том числе – и плевками.

Холодными осенними и зимними ночами, уложив детей, мы со Снегиревыми сидели у нас на кухне, распивая зеленый бурятский чай. Тогда еще он продавался огромными плитками, и надо было от него отколупывать нужное количество большим ножом. Чай варили в молоке, которое заливалось в огромную кастрюлю, а пили – из больших красных пиал в белый горошек. Гена рассказывал нам удивительные чудеса, которые происходили с долгожданным Мишей Поповым, а над плитой у нас висели большие желтые часы, под цвет оранжевой кухни, с остановившимися стрелками, которые всегда показывали одно и то же время – половину третьего, – свидетельствуя о том, что мы, пребывая здесь и сейчас, как бы и вовсе выпали из его безумного мчащегося потока, тканья, бурленья, клокотанья...

– Во время войны, ну, Отечественной, – говорил Гена, – Миша был в одном спецдивизионе с Вольфом Мессингом. Существовал такой секретный отряд, составленный из специальных людей, обладавших сугубыми способностями. Помимо того, что они могли видеть фашистов на любом расстоянии – а у них под началом была артиллерия, – они могли в случае чего притвориться невидимыми, превратиться в суслика, в курицу, даже в муху... А что, я знаю случай, когда уже после войны Вольф Мессинг приехал с гастролями в Улан-Удэ, а Миша пришел к нему на концерт и укорял его на уровне образа в том, что он скурвился: ну, стал деньги зашибать на своих способностях, обратил их в фокусы, в фиглярство вместо того, чтобы помогать людям. И вот после концерта Миша зазвал Мессинга на галерку, а сам притворился невидимым. В конце концов, Мессинг взмолился: «Миша, говорит, ты где? Откройся, я не могу тебя найти». А Миша тогда р-раз – и превратился из мухи в свой обычный образ. Он и сейчас, может, мухой здесь летает – к нам прислушивается.

И действительно – летала по кухне какая-то противная муха, жужжала, назойливая, вопреки всем естественным законам – ведь зима, ей бы спать, а она...

– Мишины штучки, – ухмылялся Снегирев.

Потом стало казаться, что кто-то вошел в квартиру... Это было само по себе не так удивительно,

потому что в нашем доме жило множество дружественных людей, и они могли в любое время дня и ночи беспрепятственно к нам прийти, почитать стихи, принести или забрать какую-нибудь запретную книжку, поболтать, выпить. Дверь у нас не запиралась...

Я вышла в прихожую, чтобы встретить гостя, но никого там не оказалось. На всякий случай я заперла дверь, и мы продолжили чаепитие. Однако через весьма малое время нам вновь показалось, что дверь хлопнула, в прихожей раздались шаги... Я вышла – опять никого.

– Мишины штучки, – удовлетворенно пояснил Снегирев. – Но вы не бойтесь, потому что он – белый маг, а не черный, он бедных лечит. Он к больным алкоголикам через пятнадцать верст пешком ходит в мороз, в буран и ни гроша не берет. Потому что если он будет брать деньги, дар его тут же пропадет. Пытался его методы академик Мигдал разоблачить, материалист, – выступал все время в «Литгазете» с опровержениями всего сверхъестественного. Устроил даже личную встречу с Мишей. Миша смотрит – академик ладони положил на стол, он и резанул ему бритвой по пальцам – на уровне образа. Академик как вздрогнет, как отдернет руки... Посидели, поговорили. Он опять – пальцы на стол. А Миша вновь ему мысленно – бритвой, бритвой. Тот аж подпрыгнул. Засунул руки под мышки, а сам свое: «Этого не может быть. Материалистическая точка зрения это отрицает».

В общем, Мишу этого мы ждали с нетерпением. Вскоре он и появился. Выглядел, надо сказать, он не очень-то «магически» – толстенький, красненький, плешивенький, пузатенький, – типичный такой провинциальный дядька. Хлебороб, агроном. А может, сельский учитель. А может – райкомовский деятель, мелкий ответственный работник. Привез с собой коньяк, мы сели, он тут же захмелел. Ходил по комнате туда-сюда, стуча себя в грудь:

– Вот такой я человек, вот такой я сибиряк! Оказалось, что он к тому же пишет стихи, которые он называл «стишата», хочет издать свою книгу в Москве и псевдоним у него – Саянов.

– А вот Олеська у нас – поэт, – сказал Снегирев. Он оживился:

– Люблю стишата!

И опять заходил по комнате:

– Вот такой я человек, вот такой я сибиряк, вот такой я поэт!

– Расслабился немного, пусть! Не надо никого осуждать, – сказала Татьяна, жена Снегирева. Потом обратилась к этому Мише насчет меня:

– У нее безумные бывают боли после операции аппендицита, может, вы ей поможете, а, Миша?

Он ответил какой-то прибауткой, но на следующий день мне сказал:

– Давай уговор – я тебе боли снимаю, а ты мне стишата мои подправишь, если рифма где не та или размер куда не туда... Лады?

Я согласилась: сколько же я подстрочников уже перерифмовала, вбила в размер, мне ли его стишата не одолеть? Взяла рукопись. Называлась она романтично, под статью Саянову, «Бирюзовые дали».

А Миша поселился у Снегиревых, корни там пустил, купил дефицитный мебельный гарнитур «Тюльпан», стульев десяток, поставил их по периметру комнаты, стал пациентов принимать. Обещал Снегиреву открыть всякие секреты... Тот приходил поздно вечером к нам, рассказывал:

– Миша лечит на уровне воображения. Вводит человека в гипноидную фазу, заставляет вспомнить что-то неприятное, увиденное теперь в некоем образе – змеи ли, паука, жабы или еще чего, и поймать эту тварь. Вот так – лови ее, лови, бросай от себя. Вот она, покатилась, поползла, улетела, исчезла, нет ее, нет твоей болезни, ты здоров.

Но постепенно он стал на Мишу роптать:

– Я заметил – он деньги стал брать. И пациентов набирает больше, чем надо... Набивает их в комнату, как селедок в бочку. Это в нем алчность заговорила. Помяни мое слово – он скоро весь свой дар утратит. Но мне бы хоть успеть все у него вызнать – я бы тогда сам тебя от твоей боли вылечил. За так. А то тебе вон сколько работать надо на него – за исцеление.

Миша мне сказал – как только ты мне стишата выправишь, тут же я тебе и боль изгоню. А у него рукопись огромная – страниц двести. И потом, что ее правь, что не правь – все равно, извиняюсь, дрянь получится. Надо просто все заново написать, и всё. Воспользоваться его текстом как «рыбой». Но это невозможно, потому что, как оказалось, он очень дорожил своими «находками». Так и говорил: «Там много свежих находок» или «Ты уж мои находки там не трогай». Поэта Саянова бирюзовые дали... Свободы не дал мне никакой. И я стала бояться, что если буду так невольнически свой дар эксплуатировать, то он пропадет. Хрупкий он, трепещет под ветром, вот-вот порвется, понесет мой челн неизвестно куда, на черные пиратские скалы, беда, барин, буран!

А Генка меня все подбадривает:

– Ничего, перейму я от него эту науку, сам тебя вылечу, а стишата свои пусть он сам расхлебывает... Плохо только, что он секреты от меня свои лекарские что-то стал утаивать. Так, какую-то ерунду покажет, а насчет главного – темнит.

Через несколько дней пришел, мрачный. Поглядел на часы, которые показывали одно и то же время, вздохнул:

– Тоска. Миша на меня жутху нагоняет.

– Это как?

– Жутха, и всё. И вообще – пошел вразнос. Бедных он уже лечить не хочет – подавай ему богатых, жен и любовниц членов ЦК. Вот как. Но я ему сказал: ты свой дар потеряешь на этих цековских бабах! Ведь как сказано в Писании: даром получили – даром давайте. А он? Но я все равно кое-чему от него научился. У меня сегодня одна пациентка виноград собирала.

– Где, какой виноград?

– Она сидела у меня на кухне – дождалась, когда он ее примет, а я привел ее в образный виноградник и говорю: поешь хоть винограда, освежись. Она и стала его собирать и в рот себе запихивать, прямо гроздьями совала... Но жутха от Миши так и прет, так и прет...

Миша, встречая меня, все интересуется:

– Как там мои стишата?

– Читаю, перечитываю...

Шов у меня все болит, на анальгин аллергия. Мухи какие-то подозрительные у лица кружатся.

Прошло почти полгода. А Миша все живет у Снегиревых, навеки поселился. Они уже и не знают, куда его сбегать, куда самим бежать. Он такой гневливый стал, покрикивает на них, угрожает... Просто колдун какой-то. На Татьянинном дне рожденья вовсю «расколдовался».

Гостей много пришло. Все перед ним заискивают – хотят получить вечное выздоровление, боятся – как бы он какую дурную доминанту не заделал.

Муж мой уехал в командировку и был, к счастью, далеко. А я появилась, когда все были сильно подшофе, стол разорен, а Миша ходил по комнате, приговаривая свое:

– Вот такой я человек, вот такой я сибиряк, вот такой я поэт!

Вокруг стола спало несколько гостей. Я думала, они от вина так разомлели, потом оказалось, что это Миша их усыпил. Заметил последнюю бодрствующую за столом даму, усыпил и ее – прямо на моих глазах. Потом обратил взор на меня.

– Я и тебя сейчас загипнотизирую, – возрился на меня бурятский маг.

– Э, нет, – ответила я весьма легкомысленно и даже игриво, надкусывая пирожное. – Это не так уж просто.

– Загипнотизирую! – Он топнул ногой.

– А я не поддаюсь никакому гипнозу, – возразила я. Откуда-то я знала, что все женщины в моем роду могут противостоять гипнотическому внушению. Сильные, витальные, красивые, взором пронзительные, палец им в рот не клади... Бабушку мою пытались лечить от курения – ничего не вышло. На маму мою не

действовало. Тетку мою – тоже не пробрало. И я однажды – совершенно случайно: шел в комнату, попал в другую – вперлась на сеанс к гипнотизерше, даже посидела там немного, так она меня выдворила с позором, да еще кричала с обидой вослед, что я ей «сорвала сеанс».

– А я все равно загипнотизирую, – вдруг разозлился Миша и стал делать в мою сторону какие-то пассы, сопровождая их заунывными заклинаниями.

Тут уже разозлилась я не на шутку: что это за метафизическое насилие, что это за духовная агрессия!

– Все это чушь! – отмахнулась я. – Ничего у вас не выйдет, все вернется вам же на голову!

Он затрясся от ярости и стал с новой силой насыпать на меня свои чары, завывая и поводя руками.

– А я не сплю, а я не сплю! Ничего у вас со мной не получится, злой колдун!

И осеклась – вспомнила, как «через леса, через моря колдун несет богатыря»... И ведь то – богатырь, а то – хлипкая я. Екнуло во мне что-то.

А он как завопит страшным голосом, как полыхнет глазами, как изогнется дугой – вскинул над головой руки и стряхнул их на меня:

– Я тебя проучу! Жутху на тебя нашлю! Скоро умрешь, скоро умрешь!

– Ну вот, – промелькнуло у меня, – ухитрилась поссориться с бурятским магом! А ведь у меня дети маленькие, и сама я некрещеная, совсем беззащитная перед его силами зла!

Ответила ему гордо и безумно, потому что ведь я все-таки знала, что «умру на заре», и что «умру я не на постели при нотариусе и враче», и что, во всех случаях, – «то Бог меня снегом занес, то вьюга меня целовала»:

– Я-то умру как поэт, а вы останетесь жить как жалкий, бездарный, пошлый графоман!

Отшвырнула эклер, тряхнула волосами, вышла из комнаты, стуча каблуками, шваркнула дверь. Побежала домой – что делать? Конечно, писать стихи, что же еще?

На следующее утро Миша пришел ко мне, похмельный и повинный:

– Прости меня, дурня. Пьян я был в стельку. Ничего не соображал. Ничего не помню. Так скажи, правда ли мои стишата так безнадежны?

– Правда, – ответила я.

– Понятно, – вздохнул он, – а я их так вдохновенно писал, так надеялся их напечатать... Ладно. Приходи ко мне, я тебя и так вылечу.

– Нет, – сказала я. – Я к вам никогда не приду. И не буду лечиться. Если Бог захочет, Он Сам меня исцелит. А нет – буду страдать.

Через несколько дней бурятский маг собрал вещи, отослал по железной дороге «Тюльпан» со стульями в Улан-Удэ. Снегиревы все-таки вытурили его. Он и укатил восвояси.

Долго еще потом кружила всякая нечисть по его следу, прибывалась к Снегиревым, выпытывала «магические секреты». Прочухал про это и Щуровский, прославившийся тем, что еще во времена Советской власти принимал у женщин роды под водой. Было у него несколько смертных случаев, но он как-то отмазался. И вот он зачастил к Снегиревым, расспрашивая про Мишу и его методы. Даже магнитофон включал тайком – под столом, в приоткрытом портфеле. Но Снегирев его в этом сразу разоблачил.

Поначалу мои друзья отнеслись к нему доброжелательно – скромный, говорит тихо, сидит, потупив очи, постится, в храм ходит. Самое главное, говорит, – смирение. А сам какой-то мутный, унылый... Но мы тогда с этим его унынием ничего не заподозрили неладного – думали, что так и должно быть: человек плоть умерщвляет, чего ему особенно радоваться! Потом стало кое-что прорисовываться. Разоткровенничался он с ними, да и я тут сидела, оглашенная, внимала:

– Знаете, ведь и в храм надо ходить с осторожностью, – начал Щуровский. – А то придешь в храм, а там тебя священник к сатане приведет!

– Как так, Господи помилуй, – заволновалась Татьяна.

– Какой ужас! – всполошилась я.

– Да, представьте. Я вот знаю священника, который ведет людей к князю тьмы. – И он назвал храм, где служил якобы как раз такой иерей. – Но я просто не могу этого потерпеть, и поэтому мы с одним очень духовно сильным человеком и одной очень духовной мощной женщиной решили ему противостоять. Борьба с ним. Он стал часто болеть, не появляться в храме...

– Неужели так может быть, – закрывала лицо руками Татьяна. – Придешь в храм Божий, а там тебя – к князю тьмы! – Она хоть и была крещена в детстве, но в церковь тогда еще ходила, только чтобы о чем-нибудь попросить Николу-угодника или даже Самого Господа. «Ты что, спятила? – возмутился Снегирев. – Бог тебе Кто – завхоз, что ли?»

– Так вот, – продолжал Щуровский, – мы с ним вели борьбу не на жизнь, а на смерть. И мы его духовно побивали, но и он нам давал по мозгам. Один раз мы решили: все, пора кончать с ним. И я направился в этот храм. Но как только я вышел из метро, у меня носом хлынула кровь, да так сильно, что залила мой белый плащ. И тогда я понял, что это священник не хочет меня пускать в свою церковь. Отгоняет прочь. Я воззвал к своим боевым товарищам и попросил их помощи. Они откликнулись. Кровь остановилась. Но было поздно: когда я приблизился к храму, служба уже закончилась и все разошлись.

Он рассказывал нам эту ужасную историю о том, как три колдуна пытались сжить со света священника, а благодать Божья его защищала от них, а ведь мы с Татьяной так и не поняли тогда подлинного смысла. Сидели, покрывали, прицокивали:

– Да, вот какими надо быть осторожными... И как узнать – от Бога послан священник или от лукавого? Надо только к старцу обращаться, только к старцу!

Щуровский ходил, ходил к Снегиревым, все пытался выведать у Гены какие-то бурятские методы, но тому это было уже совсем не интересно, и он не вылезал из своей комнаты к этому мрачному человеку. И Щуровский исчез.

А у меня начались испытания. Во-первых, стали сниться кошмары – бесконечная какая-то война, взрывы, стрельба... Рожи страшные скалились, драконы норовили укусить, пасторы приходили в котелках – вербовать в свою веру. Я мучалась до тех пор, пока во сне не догадывалась, что надо перекреститься. И тогда они пропадали. Порой сновиденная рука моя так отяжелела, что я не могла ни сложить персты, ни поднять ее для крестного знамения... И тогда я кричала. Голос прорывался наружу. Муж будил меня:

– Что с тобой?

– Мне страшно, страшно!

Во-вторых, я стала попадать в какие-то ирреальные ужасные истории. Начинались они всегда очень благопристойно и вроде бы не сулили никакой опасности, и вдруг... Мурашки по коже.

У меня была подруга Надюшка, человек, надо сказать, с очень трезвым и практичным взглядом на жизнь. Никакая не мистическая дама, никакая не поэтесса. И вообще она закончила институт стали и сплавов... Надежный земной человек. Очень разборчивая в знакомствах. Без закидонов и тараканов в голове. И даже искусством интересовалась «для общего развития», «для гармонии личности». И вот она узнала, что где-то в Замоскворечье есть старинный, уже выселенный дом, построенный с архитектурными премудростями. Какие-то там внутри лабиринты, переходы с уровня на уровень, ступеньки, повороты, балкончики, галерейки... Если в этот дом войдешь, ни за что сам не выберешься. Достопримечательность. Вот-вот его Советская власть разрушит. Так что обязательно надо это произведение посмотреть. Кто-то ей эту мысль внушил. Она меня позвала на экскурсию – что может быть невиннее этого? Белый день. Лето. Мы вошли в подъезд, прошли по коридору, повернули, поднялись на восемь ступенек, опять прошли через какой-то зальчик, опять повернули, опять поднялись, уперлись в запертую дверь, вошли в другую, обогнули, спустились перешагнули, перепрыгнули, вскарабкались, наконец оказались на каком-то балконе на уровне примерно третьего этажа. И все. Сколько мы ни пытались его покинуть, получалось, что мы возвращались опять к нему. Сначала было забавно. Потом стало смеркаться. Захотелось есть, пить, домой. Вообще надоело. Мы опять вышли на балкон. Дом был огорожен строительным забором. Никого не было. Наконец

мы увидели какую-то тетеньку – она спряталась за строительными плитами и писала. Мы дождались, когда она закончит свое занятие и приведет себя в надлежащий вид. Тогда мы крикнули ей со всей вежливостью:

– Вы не подскажите ли нам, как найти выход, где нам можно спуститься.

– И! – Она махнула рукой. – И не надейтесь. Тут неделю назад целая группа дураков заблудилась. Сидели более суток, пока их не сняли подъемным краном. И чего вы только туда поперлись?

Звучало это очень резонно. И я убедила Надюшку, что нам будет психологически легче, если мы настроимся на то, чтобы здесь заночевать.

Меж тем набежали тучи, зарядил дождь, налетел холодный ветер. Слышно было, как где-то хлопают незапертые окна, зазвенело одно стекло. Потом в другой стороне – другое. Заскрипела дверь. Закаркал ворон. Упала тьма. Почти в отчаянье мы двинулись опять по знакомому кругу, ища возможность его разорвать – где-то ведь можно свернуть в другую сторону, выбрать другую лестницу, другой коридор... В результате мы поднялись еще на один этаж. Надюшка наступила в темноте на что-то явно живое и подвижное и заорала. Бежать было некуда. Она вцепилась в меня, дрожа. Из угла раздался пьяный голос:

– Ты это чего? Руку всю искалечила.

С пола поднялся невысокий коренастый мужичок. От него разило перегаром.

– Закурить не найдется? – спросил он вполне миролюбиво.

– Выведите нас отсюда, получите почти целую пачку «Явы», – посулила практичная Надюшка.

– По пожарной лестнице полезешь? – спросил он.

– По какой угодно, лишь бы прочь, – взмолились мы.

Он вывел нас на чердак, нащупал дверцу на крышу, распахнул. Мутные потоки дождя хлынули на нас с черных небес, и мы, трясаясь от холода и страха, вылезли на скользкую жестяную поверхность. Он подвел нас к краю и указал на торчащие ржавые железки:

– Прошу, мадам. Давайте сигареты. Только там прыгать придется. Метра четыре там до земли.

Мокрые, мы вцепились в холодную скользкую лестницу и, стиснув зубы, полезли. Пыхтели, постанывали, всхлипывали, клацали зубами. Наконец лестница кончилась. Внизу чернела бездна. Я повисла, безвольно болтая ногами. Мой лоб уткнулся в предпоследнюю перекладину, последняя оказалась на уровне груди. Руки болели. Я попыталась схватиться за предпоследнюю ступеньку, потом – за последнюю, но пребольно ударилась об нее, оцарапала скулу, разжала пальцы и полетела вниз. Плюхнулась в мягкую грязную лужу. Она чавкнула и успокоилась. Почти тут же на меня свалилась Надюшка. Вроде бы мы уцелели. Лишь сумочка ее зацепилась ремнем за какой-то крюк да так и осталась висеть в вышине. Надюшка все рвалась ее достать:

– Может, палкой попробуем? Там все-таки двадцать пять рублей!

Но, приглядевшись к моей расцарапанной физиономии, решительно сказала:

– Плевать!

У меня был в кармане рубль. Мокрые, рваные, растрепанные, мы поймали такси.

– Что, девчонки, гуляем? – весело спросил таксист, приглядываясь к моей ссадине на скуле.

Было три часа ночи...

Дня через два Надюшка пришла меня навестить. Поморщилась, глядя на мой синяк. Тем не менее сказала:

– Я к тебе по делу.

Ей безумно нравился молодой человек – тоже, как и она, очень приличный, очень разборчивый и тоже «без тараканов», окончил МГИМО, без пяти минут дипломат. В принципе, ему бы надо жениться и уезжать за границу. Он за Надюшкой ухаживает, но как-то вяловато. Не может взять быка за рога. И Надюшка не может. Стесняется. Только он появляется, она с ужасом отмечает, что у нее тут же – «в зобу дыханье сперло». А ей бы так хотелось «расковаться», поговорить с ним «по душам». И вот, сблизившись душевно, сообщить, что у нее есть ребенок. Он сегодня пригласил ее на день рожденья к своему другу – тот тоже

выпускник МГИМО, тоже без пяти минут дипломат, так вот – не могла бы я пойти с ними вместе и немного ее подбодрить. Разрядить обстановку.

– Расскажешь что-нибудь смешное, а потом, может, и я раскрепощусь.

– Так у меня же синяк! И вообще – не хочу я никуда выходить из дома!

А она:

– Серый готов сам тебя попросить.

– Кто-кто готов попросить?

– Серый. Я так этого Сережу зову. Очень нежно получается.

Действительно, звонит мне этой Серый через полчаса, просит. Потом дает трубку какому-то Боре. Он тоже просит. Оказалось, что у этого Бори и есть день рождения.

Я спросила своего мужа:

– Можно я поеду с Надюшкой?

И подмигнула ему – подала знак, что мне хочется, чтобы он меня не пустил. А Надюшка ему:

– Ну, пожалуйста, отпусти ее – у меня судьба решается! Я же все-таки, что называется, женщина с ребенком. Тут на одной чаше – я, а на другой – его карьера, быть может. Моя должна перевесить... Серый за нами на своей «Волге» заедет – отвезет, привезет.

Он и говорит:

– Конечно, пусть едет. Только не очень долго там празднуйте.

Я замазала синяк тоном, расчесала волосы, напустила их на пострадавшую половину лица. Губы поярче покрасила – чтобы они внимание отвлекали от синяка. Заехал Серый, и мы помчали с ветерком куда-то в сторону Юго-Запада.

Боря встретил нас цветами, шампанским. Оказывается, никого-то у него в гостях больше и не было, кроме нас.

– Это потому, что Робику тоже сегодня тридцатник стукнул, – объяснил Боря, – все у него. А мы – домашнему.

Действительно, хорошо. Тихо-спокойно. Музыка у него классическая играет. Цветы благоухают. Шампанское пенится. Салат оливье. Колбаска докторская аккуратно порезана. Российский сыр. Шпроты... Весь дефицит из заказа. Все честь по чести. Замечательно. Я рассказала им что-то забавное, они посмеялись. Потом Надюшка расхрабрилась. Очень мило вышло. У Серого глаза блестят – нравится она ему, чего она так беспокоится? Все в порядке! Все хорошо!

– Мой муж просил, чтобы я вернулась не поздно, – сказала я Сергею. – Может быть, чтобы вас не связывать, я поеду, а вы тут сидите сколько душе угодно.

– Нет, никогда! Чтобы я обещал даму увезти-привезти и не сдержал слова, да никогда! Скоро все поедем.

– Ну ладно, – вздохнул Боря, – тогда я пойду догуливать к Робику. Выкиньте меня по дороге.

Выпили на посошок, сели в машину, остановились на Ленинском, чуть-чуть не доезжая до метро «Октябрьская», Серый вдруг говорит:

– А может, все к Робику поднимемся? Поздравим его и дальше себе двинем? Ему так будет приятно! Мы учились с ним в институте. Он через два дня уезжает в Зимбабве на дипломатическую работу – может, не увидимся теперь много лет. Зайдем, а?

И все так просительно на меня посмотрели, что даже какое-то свинство было бы с моей стороны не откликнуться.

– А может, вы пойдете, а я домой на метро доеду? Мне же отсюда близко.

– Нет, тогда высаживаем Борю и едем отвозить тебя, – тут же отреагировал Серый и снова включил зажигание.

Надюшка глянула на меня с укоризной.

– Ладно, давайте поднимемся, поздравим вашего Робика, только ненадолго, и сразу домой.

Вошли в шикарную квартиру – никогда не видела я до той поры таких громадных квартир. Прихожая метров тридцать, из нее – коридоры, двери, двери. Повсюду люди. Ходят, бродят, курят. Гремит музыка. Дым коромыслом, туман. Мы вошли незамеченными. Стали искать этого Робика. Бродили по анфиладам комнат. Боря усадил меня за огромный стол со следами пиршества. Надюшка где-то потерялась по дороге, он пошел за ней. Серый нашел для меня чистую рюмку, плеснул белого вина. Рядом со мной сидели какие-то молодые дядьки мгимошного вида. Они не проявляли ко мне никакого интереса. О чем-то беседовали, перешептывались. Звучали иностранные языки. Удивительным мне показалось только то, что там не было женщин...

– Посиди здесь, – сказал Серый, – а я отыщу Робика, найду Надюшку, приведу их сюда, мы выпьем за день рожденья и поедем.

И ушел.

Большие двустворчатые двери за ним закрылись, и я подумала, что это очень кстати: музыка в соседней комнате, которую можно было бы назвать и залой, была оглушительна. Я сидела в полнейшем молчании, никто не обращал на меня ни малейшего внимания, что, кстати, было тоже немного странно – я, во всяком случае, к такому не привыкла, никто, казалось, меня не замечал. Я предалась своим мыслям, отключилась в каком-то созерцательном интересе. И вдруг молодой человек в очках, вполне интеллигентного и даже респектабельного вида, похожий на хирурга, обратился ко мне, схватив со стола рюмку моего соседа, который, казалось, задремал, откинувшись на подушки.

– Это вы наливали ему вино?

– Нет, – честно глядя ему в глаза, сказала я. – Я никому ничего не наливала.

– А кто, кто наливал ему?

Все глядели на меня и молчали.

– Я не видела...

– Это она, она и налила, сука! – сказал квадратный человек, стриженный под бобрик. – Вон как волосами занавесилась, чтобы скрыть от нас лицо!

Кто-то кинулся щупать этому, на подушках, пульс.

– Стасик, не ругайся. Сейчас проведем расследование. Видите ли, сударыня, – «хирург» вновь обратился ко мне. – Дело в том, что мы все пуд соли съели до вашего появления. А вас мы видим впервые. Этот человек, Курицын, который лежит здесь на диване, – отравлен. Вы понимаете?

– Нет, – удивилась я, – как отравлен? Он только что здесь бодрствовал и разговаривал на каком-то восточном наречии, что-то вроде «дзянь-минь».

– Вот видите! – торжественно произнес «бобрик». – Она еще застала его в живых. А яд подложили, именно когда она пришла. Это очень сильный быстродействующий яд.

– Что ж, вот уже два свидетеля – я и Стасик утверждают, что именно вы отравили Курицина. И если вы не признаетесь, мы будем вас пытаться.

Будущие дипломаты сгрудились вокруг меня. На стол лег блестящий черный пистолет. «Хирург» постучал им по столу, призывая к вниманию.

– Если вы не признаетесь, зачем вам нужна смерть Курицина, мы вам станем отстреливать по одному пальцу.

– Но мне не нужна смерть вашего Курицина! Я вообще с ним не знакома! – закричала я. – Вы что, с ума сошли?

– Вы с ним разговаривали последней, – вмешался в разговор «бордовый блейзер». – Вы специально сели с ним рядом, вы плеснули ему вино с ядом, вы убили его.

– Да я не разговаривала с ним!

– Значит, вы убили его молча.

– Пытать ее! – раздался голоса. – Линч!

– Линч! – закричали без пяти минут дипломаты, и каждый опустил большой палец вниз.

– Палач, делай свое дело, – мрачно кивнул «хирург», который был у них за главного, и сжал в руке пистолет.

«Бордовый блейзер», здоровенный детина под два метра, вытащил меня из-за стола, накрутил мои длинные волосы на одну руку, а другой схватил меня за шкуру и поволок к окну. Я орала и упиралась. Я пыталась его укусить. Но все же я предполагала, что это – лишь дурная шутка, не более, пока он не выпихнул меня за окно, да так, что я повисла на его руках на уровне седьмого, этак, этажа, над шумящим Ленинским проспектом. Оказывается, уже стемнело, шел дождь, внизу мчались машины с включенными фарами, а я болталась в руках этого негодяя, цепляясь ногами за подоконник. Вдруг блузка моя затрещала, и я подумала с ужасом: «Это – все!» Мне стало безумно жалко детей – такие маленькие... Я закричала и зажмурилась. «Блейзер» втащил меня в комнату.

На пороге стоял Серый:

– Робик нашелся! – обрадованно сообщил он. – Сейчас придет.

Я вырвалась из рук «бордового» и выскользнула вон. Увидела Надюшку – она мирно танцевала с Борей, схватила ее за руку, потащила:

– Бежим, бежим!

– Что с тобой? – перепугалась она. – Здесь так интересно. Серый мне показывал одну комнату – так там все в чучелах животных. Даже леопард есть!

– Бежим, – я дернула ее за руку.

– А как же Серый? – спросила она. Но я уже тащила ее к дверям.

Боря шел следом:

– Девчонки, что с вами?

Тут Надюшка заметила, что блузка на мне порвана и что меня бьет колотун.

– Бежим! – в изнеможении простонала я.

Мы выскочили за дверь и понеслись по лестнице. Нас кто-то преследовал. Тысячи ног топотали прямо за спиной. Тысячи ртов орали:

– Не выпускайте их – они нас сдадут.

Мы выскочили на улицу, я кинулась наперерез «зеленому огоньку»:

– Гони! Куда угодно – в центр!

Через пятнадцать минут я была дома. Рухнула в постель и тут же заснула. Наутро муж сказал:

– Ну и напилась же ты вчера! Ничего мне даже не рассказала. Примчалась и сразу вырубилась. Что – устроила Надюшке личное счастье? Перевесила ее чаша?

К вечеру зашли Надюшка с Серым:

– Чего это мы вчера так умчались? – прощептала она. – Там было так интересно.

Потом отозвала меня в сторонку, прошептала:

– Серый явно ко мне неравнодушен...

– Какое это для меня счастье! – сказала я, но она не почувствовала иронии.

Отозвал меня и Серый:

– Ты уж прости, что вчера все так вышло... Ребята, оказывается, решили расслабиться, накололись, переборщили. Неизвестно, что им там померещилось, за кого они тебя приняли. Перетрудились, наверное, в своей разведшколе, специалисты! А так они ребята совсем неплохие...

После этого я окончательно поняла – все, пора мне креститься! Думаю, приду, поставлю свечку Господу и Матери Божией, попрошу их меня защитить, спасти и сохранить. Ниспослать мне хорошего священника, пастыря доброго. Отправилась в церковь, едва дошла до метро – бац! – в глаз мне попала соринка. Но какая! Казалось, она больше глаза, она застит все, она мучает, она заставляет закрыть руками

лицо и плакать, плакать, плакать... Почти вслепую доплелась до дома. Промыла глаз кипяченой водой, поморгала в воде. Глаз остался красным, но соринка вышла. Соринка вышла, да служба кончилась. Это напомнило мне злодея Щуровского с его кровотечением из носа.

Пошла в церковь на следующий день. Единственные босоножки у меня – на каблуках. Едва добежала до метро – каблук хрустнул и обломился. Скинула босоножки, дотащилась домой – босяком по асфальту.

Пошла в храм на третий день – купила себе спортивные тапочки. Застряла в лифте. Так и просидела там два часа, пока монтер не проспался.

Поняла – нет, одной в церковь мне не попасть. Попрошу праведника привести меня за руку и стать моим крестным. Позвонила благонадежному положительному церковному человеку – отвези меня в церковь, помоги покреститься. Он сказал:

– Поедем в Отрадное, там тебя и покрестят.

Встретились с ним на вокзале. Боялась – отменят электричку – нет, вот она, вовремя. Думала – не остановится она в Отрадном, что-то мы наверняка перепутали – нет, вот она, церковь, красавица, вдалеке, перейди поле, и ты там, в объятиях Своего Господа...

И вдруг мой будущий крестный стал о чем-то спорить со мной. Тон такой брюзгливый взял. Я ему – возражать. Он – как брякнет что-то ну очень уж несправедливое и оскорбительное. Я ответила. Почти дошли до церкви, но чувствую – нельзя в таком виде идти, надо поостыть, успокоиться, примириться с ближним, с праведником, который меня привез. Сели мы с ним на косогоре, посмотрели на проходящие поезда, примирились. Только пошли, а он опять – что-то ужасно обидное, принципиально уязвляющее меня. Видимо, не такой уж и праведник... Я ему в ответ всякие резкости. Опять сели на косогоре. Успокоились. Помолчали. Помирились. Пришли в церковь, а служба уже кончилась, старушка моет полы, батюшка уехал...

И тут я взмолилась из самых глубин души:

– Господи! Погибаю! Сам сатана ходит вокруг меня, рыкая, яко лев, ища, как бы ему меня поглотить. Не дай погибнуть созданию Твоему! Спаси меня, Милосердный!

И Господь пришел мне на помощь. Покрестил меня добрый пастырь. И Снегиревы наконец попали к старцу, он поселил их у себя в пустыньке, возле самой церкви, под покровом своих молитв. А Щуровский умотал в Америку и, как сообщили потом по телевизору, был посажен там в тюрьму «за соращение малолетних мальчиков». Надюшка же так и не смогла перевесить карьерную чашу Серого – он женился на другой, бездетной, и уехал, кажется, в Пакистан. Но зато она вышла замуж за миллионера и переехала вместе с ребенком в Англию. Ходит теперь молиться к митрополиту Антонию. А вот Миша Попов умер ужасной смертью в весьма скором времени после Москвы. Он задохнулся от угарного газа. Подробностей я не знаю. С тех пор прошло уже двадцать четыре года. И шов у меня до сих пор – болит!

А мухи улетели. Те же, которые остались, так что ж, Божьи твари, свои, натуральные. И желтые часы, которые показывали всегда половину третьего, я выкинула на помойку. Только у мертвецов эта подвижная переливающаяся живая река застыла, остановилась во льдах. А так она течет бурным потоком, разливается, разделяется на рукава, образует дельты, прodelывает какие-то новые русла...

...Недавно я прочитала у преподобного Исаака Сирина, подвижника VIII века, про искушения гордости. К ним относятся: болезненные, запутанные, «неудоборазрешимые» приключения, всегдашние встречи с людьми худыми и безбожными. Или человек впадает в руки насильников, или сердце его вдруг и всегда без причины приводится в движение страхом, или часто терпит он страшные сокрушительные падения со скал, с высоких мест или с чего-либо подобного... Это напомнило мне все, что происходило со мной тогда, перед самым крещением.

– А что с тобой происходило? – удивился мой муж.

– Жутха, – поежилась я.

## Всякое дыхание...

Марья Антоновна когда-то продавала свечи в Троице-Голенищевской церкви, при которой помещался небольшой птичник: куры свободно разгуливали по церковному двору, поклевывая зернышки, но верховодил, безусловно, петух. С бойцовской удалью он набрасывался на церковный причт и прихожан и клевал их порой до крови, так что приходилось его запирать. Но он все равно ухитрялся вырваться на свободу и лютовал. Тогда вызывали Марью Антоновну, она протягивала к нему свои худые ручки, и он шел к ней и успокаивался у ее девичьей груди. Она носила ему зернышки, разговаривала, рассказывала ему истории... Но однажды он перебрался через церковную ограду и попал на территорию гольф-клуба, где, должно быть, клюнул какого-то крутого игрока, а тот его и забил клюшкой. Он приполз окровавленный, со свернутой на бок шеей и больше уже не клевал зернышки Марьи Антоновны, не пил водичку и только безучастно посматривал на нее сухим, уже каким-то нездешним оком. Вот местные «клирошане» и решили, что, коль скоро он «не жилец» и покуда он «не подох», надо его отправить в суп. И Марья Антоновна очень плакала и убивалась и конечно суп этот ужасный не ела, и вообще ничего не ела в тот день, и даже не заходила в трапезную, а предавалась отчаянью. За это настоятель даже пригрозил ей епитимьей – «за неуместную и несоразмерную случаю скорбь».

А как раз в это же время моя собака загрызла на переделкинской улице любимую курицу какого-то отставника. С собакой гуляла моя двенадцатилетняя дочь Анастасия и две ее подружки, дочери известного протоиерея Валентина Асмуса. Они шли и болтали, а собака бежала рядом, пока не выскочила перед ней и не заметалась туда-сюда эта кудахчущая курочка. И моя весьма безобидная собака ее и сцапала. Вот тогда и выскочил с горестным воплем из-за забора старый отставник, собака в ужасе понеслась прочь, бросив девочек на произвол судьбы, а разъяренный дядька схватил младшую девицу Асмус в охапку и утащил к себе: «Я ее беру в заложницы!» Моя дочь побежала за ними: «И меня тогда возьмите в заложницы, и меня!» А вторая девица Асмус принялась вопить на всю Ивановскую, пока на ее крик не прибежал какой-то дюжий парень: «Ты чего разоралась?» Размазывая по лицу слезы, она ему объяснила, что ее сестру и подружку похитил «злой старикан» и запер в своем доме. «Кто знает, что он там с ними сделает», – причитала она. Парень принялся дубасить в ворота, но никто не выходил на его угрожающий стук...

Я же сидела в это время в Москве и срочно собирала книгу для питерского издательства. На следующий день я должна была передать эту рукопись с проводником. Мой издатель обещал подойти к поезду и забрать мои стихи. И вот мне звонит моя рыдающая дочь:

– Мама, ты только не волнуйся, меня с Ольгой взяли в заложники и не выпускают, пока ты не заплатишь деньги за курицу.

Потом взял трубку отставник. Он ругался весьма грубо. Я пообещала, что вызову милицию, если он немедленно не отпустит девочек. Он, в свою очередь, пообещал выследить, где живет моя собака, и пожечь дачу. В конце концов договорились, что я заплачу ему деньги за курицу, а он немедленно отпустит девочек.

– Сколько вы хотите?

– Это была моя любимая курица, – сказал он. – Особенная. Редкостная. Таких днем с огнем не сыщешь. Короче, – он кашлянул, подбадривая себя, и назвал какую-то головокружительную сумму. Думаю, на эти деньги можно было завести целый птичник.

Я пыталась с ним торговаться: «Что она, золотые яйца вам несла?» Он не уступал. Повторял: «Любимая курица, такой теперь не достать».

Наконец договорились, что он отпускает девочек, а я принесу эти деньги на следующий день его жене, которая, как оказалось, работала возле моего дома начальницей Ботанического сада, где я любила гулять с моими детьми, когда они были совсем маленькими...

Назавтра, прямо перед походом на Ленинградский вокзал, с рукописью под мышкой и изрядными деньгами в кошельке, я направилась в Ботанический сад. Назвала имя и фамилию жены отставника, мне

показали на дверь в начальнический кабинет: «Только у нее обед!»

Но я не стала ждать – распахнула дверь, увидела за столом тетеньку средних лет. Перед ней была тарелка – она ела... курицу – сидела и обсасывала ножку... Не знаю, может, курица была не та, не любимая, а другая, безликая, безымянная, «городская», та, которая Буша... Я поздоровалась, назвалась, пожелала даже «приятного аппетита», брякнула на стол рукопись, которая была в папке с надписью «Московские новости», – там тогда работал мой муж – и принялась отсчитывать деньги. Ругала себя: вон как быстро сдалась, спасовала, надо было поехать на птичий рынок и купить им добротную симпатичную живую курицу, а то – какое разоренье!.. Тетенька, растопырив пальцы в курином жиру, приоткрыла мизинцем ящик стола, показала – туда кладите, туда, здесь вся сумма?

Я сказала:

– Вся. Как договаривались.

И вдруг, совершенно неожиданно для себя, добавила:

– Сумма-то вся, но мне бы расписку...

Видимо, так я себя жучила «за легкомыслие и непрактичность», что мое подсознание тут же и устроило мне эту «компенсацию»: расписку, видите ли... Документик.

– Какую еще расписку? – удивилась начальница.

– Как – какую? О получении денег. Я, такая-то, такая-то, имярек, получила деньги – далее сумма прописью – от такой-то, такой-то, имярек, – за курицу, которую задушила собака, в результате чего моим мужем таким-то, таким-то, имярек, были взяты в заложницы несовершеннолетняя хозяйка собаки такая-то, такая-то, имярек, и ее подружка такая-то, такая-то, имярек, – дочь известного московского протоиерея...

– Такую расписку я вам не напишу! – вскричала она.

– Почему же? Разве тут что-то не так? – удивилась я. И тут взгляд мой упал на мою папку, на самоуверенные буквы, кричащие: «Московские новости! Московские новости!». – Вы запросили такие огромные деньги, что это наносит моей семье большой ущерб – вот мне и надо будет их отработать, – вновь внезапно для себя самой проговорила я, даже слушала себя с большим интересом: а что же дальше? – А как я могу это сделать? Только написать большую статью с таким авантюрным сюжетом про юных заложниц, за которых требуют выкуп пожилые отставники, любители куриц, поджигатели дач... Для пущей достоверности – приложу вашу расписку. Получу гонорар, и дебет сойдется с кредитом...

Она побледнела:

– Возьмите свои деньги и убирайтесь! Мне ничего не надо!

– Хорошо, – сказала я и сама затрепетала от своей изворотливости. – Тогда напишите мне расписку, что вы отказываетесь от денег, и я предъявлю ее вашему мужу, а то он опять возьмет моих девиц в плен или, чего доброго, подожжет дачу. Напишите: я, такая-то, такая-то, имярек, отказываюсь от денег в сумме такой-то, такой-то за мою курицу...

– Уходите отсюда, – взвизгнула она, косясь на мою папку с таким ужасом, будто на ней свернулась змея. – Не надо мне никаких денег, но и расписок вам никаких не дам... Придумала еще имярек какой-то, – она оскорбленно закачалась в кресле.

Однако мне надо было торопиться – до Ленинградского поезда оставалось около получаса. Я взяла свою папку и с неторопливым достоинством покинула ее кабинет, чтобы, оказавшись на улице, дунуть во всю пруть – и так до самого вокзала.

А Марья Антоновна в конце концов смирилась и завела себе кота, о котором очень беспокоилась, потому что ему там, дома, без нее было «очень тоскливо» и он «обижался». Сама же Марья Антоновна никогда замужем не была, потому что имела в жизни одну-единственную любовь – несчастливую. Любила она с юности прекрасного человека, кажется, даже поэта, а он женился на другой, вот и все. Так Марья Антоновна и осталась в девицах, несмотря на то, что была очень хорошенькой, аккуратной такой «дворяночкой», хотя и принадлежала к священническому роду. Дед ее был когда-то настоятелем этой самой

Троице-Голенищевской церкви, был убит большевиками и причтен к сонму мучеников. И вот Марья Антоновна, когда церковь вновь открыли, сидела там «на свечках» и молилась за всякую тварь живую Божию, паче же за птиц и зверей. Но после петуха она эту церковь оставила и перешла в другой храм.

Как-то я попросила ее: «Марья Антоновна, помолитесь, пожалуйста, за меня», но она ответила: «За тебя всякий помолится, а вот кто помолится за бессловесных животных? Ты уж не обижайся, что я им отдаю все мои молитвы! Ведь они своим дыханием Господа хвалят! А Церковь каждый день возвещает: «Всякое дыхание да хвалит Господа!»

Однажды она пришла в храм в страшном волнении и все время бегала кому-то звонить. «Что случилось, Марья Антоновна, на вас лица нет!» Она горестно махнула рукой: «Ты представляешь, дорогая Олеся, ОНА забеременела, хотя это был особый элитный экземпляр, и вот тебе пожалуйста – неудачные роды! Никак не может разрешиться от бремени!» «Какой ужас, но кто это?» «Да кошечка нашей прихожанки! Я вот собираюсь поехать сменить ее – а то она дежурит возле роженицы всю ночь, умаялась!» И она после рабочего дня отправилась «принимать роды» на другой конец Москвы...

На ее день ангела храм подарил ей плетеный домик для кота с голубой перинкой внутри и целый ящик «Китти Кэт», потому что все знали, что ее котик особенно уважает это питание.

И старый отставник тоже смирился. Во всяком случае, если даже и выследил он, где живет моя собака, дачу все же не поджег. Надеюсь, что и ему Господь послал какое-то утешение. Во всяком случае, проходя недавно мимо ограды Ботанического сада, я с изумлением увидела огромные особняки, которые выросли на его территории. Кто-то из моих соседей по дому сообщил мне, что это – американские офисы, под которые сдали часть этой прекрасной земли. Может быть, и отставнику с женой от этого что-нибудь перепало. А может, и нет. Может, живут они, до сих пор горюя по своей курочке, по рябе, по красавице, по своей ненаглядной... Жаль, что они не знакомы с Марьей Антоновной, – она бы погоревала о ней вместе с ними, да и помолилась бы об этом Божием создании, дивной твари, пернатой душе...

Но смирилась и моя собака. Такой стала мирной, всеприемлющей, любвеобильной. Однажды я вернулась домой и обнаружила там незнакомую тетку. Она сидела за столом и пила martini, закусывая тортом. Рядом дымился потухающий камин, а у ее ног лежала, улыбаясь, моя собака.

– Как вы сюда попали? – спросила я в изумленье.

– Нет, это как вы сюда попали? – огорошила меня она. – Я лично здесь в гостях у критиков Аннинского и Золотусского.

– А, – с облегчением вздохнула я, – так вы ошиблись дачей. Они живут не здесь.

– Зато вы не ошиблись, когда приходили ко мне с критиками Аннинским и Золотусским ставить в моей квартире подслушивающие устройства! – воскликнула она, держа в руке нож, которым резала торт.

Я, честно говоря, испугалась. На улице март, в округе никого нет, а тут эта сумасшедшая с ножом в руке.

Я позвонила моему ближайшему соседу Лёне и попросила его зайти ко мне. Он тут же и появился.

– Что, пытаться будете? Только учтите – я не Старовойтова – у нее нос длиннее! И не Елена Боннер! – испугалась она.

– С носом разберемся, а вот пытаться обязательно будем! – твердо пообещал Лёня. Мы ушли с ним на кухню, а она тихонько выскользнула из дома. За ней выскочила и собака. Я наблюдала в окно, как удаляется эта безумная гостья, а моя собака бежит подле нее, виляя хвостом.

– Бедная, – вздохнул Лёня, – свихнулась на диссидентстве. Но ты сама виновата – посмотри, какая у тебя хлипкая дверь, какой примитивный замок!

– А собака? – возразила было я.

Собака остановилась у калитки и смотрела куда-то в даль, в сторону огромного поля и огромного неба, выражая полную благосклонность к происходящему. Наверное, она в этот момент своим дыханьем хвалила Господа.

## Черепаха

Ну и попутчик же мне тогда попался, этот Эн с Точкой! Думала – приличный человек, бывший структуралист, ученик Лотмана, поэт (Самойлов когда-то его поминал: «Приезжал ко мне из Тарту Эн с Точкой, читал стихи, неплохие»). Ну а кроме того – профессор, зав кафедры русской литературы, а он...

Ехали мы с ним в командировку аж в Албанию – налаживать культурные связи, читать лекции, везли две коробки русских книг. Был конец мая 1994-го. Жара ужасная. Вагон набит челночниками, бесконечные границы: Россия – Украина, Украина – Молдавия, Молдавия – Румыния, Румыния – Болгария... Алчные таможенники, агрессивные пограничники. Визги женщин, у которых изымают контрабанду... Там, в Софии, нас встречала машина русского посла в Албании и перевозила в Тирану через всю Македонию. Опять: Болгария – Македония, Македония – Албания...

В вагоне мы и познакомились, до этого я никогда его не видела: полненький, с брюшком, очки, залысины, пухленькие короткие ручки. Одним словом, шляпа, интеллигент несчастный. Все время отчего-то волновался, поеживался, озирался.

Нас не досматривали, мы – делегация. У нас об этом специальная бумага с печатью, у нас особые визы, выданные МИДом. Каждый раз, когда заглядывал кто-нибудь из таможенников-пограничников, Эн с Точкой шербуршил в папке своими маленькими ручками и протягивал им нашу охранную грамоту:

– Делегация. Я – глава.

Те смотрели бумагу, порой даже брали под козырек и не приставали.

– Волнуетесь? – спросил Эн с Точкой, лишь поезд тронулся. – Я волнуюсь. Все-таки за граница. Всякое может случиться, провокации... Первый раз еду. Вот взял в дорогу все необходимое.

Полез под полку, не поленился, достал туристский брезентовый рюкзак, извлек из него военный бинокль, котелок, алюминиевую кружку с ложкой и старенький транзистор «Спидола».

Как только пересекли границу бывшего СССР, неотрывно глядел в бинокль на скудные румынские земли:

– А наши степи просторней.

Потом – на поросшие лесами горы Болгарии:

– А у нас Саяны выше.

Увидел, что я читаю Томаса Манна, кажется, «Иосиф и его братья»:

– А наш Толстой лучше.

Сидел, крутил старенькую «Спидолу», ловя вести из Отечества. Та шипела, свистела, нечленораздельно клочкотала.

– Вы протокол хорошо знаете? – спросил, когда мы подъезжали к Софии.

– Какой еще протокол? – удивилась я.

– Что куда носить. Я вон целый чемодан с собой везу, костюмы, галстуки. Завтра днем у нас встреча с послом – так как, по протоколу одеваться или можно без?

– Без, – успокоила его я. – Тридцать градусов в тени, какой еще протокол.

– Ну, смотрите, чтоб я лицом в грязь не ударил. И не отходите от меня. Я языков не знаю. Заблужусь. Могут быть провокации. Там сейчас американское влияние. Всякое может быть.

Так он и ходил за мною потом повсюду хвостом. Я – в магазин, он – в магазин, я – обедать, он – обедать, я – в уборную, и он туда же.

За первым же ужином объявил мне:

– Мы с вами по разные стороны баррикад. Вы в каком Союзе писателей – «российском» или «России»?

Честно говоря, я и не знала, как именно он называется. Потом поняла, что он имеет в виду:

– Я, по всей видимости, в «жидо-масонском». А вы, наверное, в «фашистском»?

– Почему? – удивился он, – я там, где Владимир Иванович Гусев. Это – самый лучший Союз писателей. А вы – в другом. Вы – где Наталья Иванова. Вот я и говорю, что мы по разные стороны баррикад.

Ну и, честно говоря, баррикады – не баррикады, но некоторая конфронтация у нас действительно возникла. Еще бы, лекции читал он примерно так:

– В России сейчас ужасная ситуация. До чего ведь дошло – Фадеев, Горький, Серафимович, Фурманов – в полном загоне. А Булгакову, Набокову, Платонову – зеленый свет.

Албанцы негодовали.

– Как, неужели Серафимовича не печатают! Непостижимо!

Окружали нас плотной стеной, интересовались:

– А когда к нам Валентина Терешкова приедет? А как поживает Марина Ладынина? А как здоровье Клары Лучко?

...Дело в том, что албанцы когда-то так любили русский народ, что называли детей по фамилиям видных советских деятелей. В пятидесятые—шестидесятые годы по албанским улицам и ущельям бегали мальчишки, откликавшиеся на имена Чуйков и Чапаев, Жуков и Жданов. Потом Энвер Ходжи обвинил Советский Союз в оппортунизме, и всех местных Кировых и Молотовых, Гагариных и Горьких стали сажать и расстреливать. Если кто из них и уцелел, сейчас им было под пятьдесят. Они-то особенно радушно зазывали нас в гости, дружно пели «Катюшу» и возмущались, что у нас собираются выкинуть Ленина из Мавзолея.

– Это акт вандализма! – говорили они и ставили нам в пример египтян, до сих пор содержащих своих фараонов в отведенных для них гробницах.

– Мнение народа, – довольно кивал мне на них Эн с Точкой. – Видите, народ не с вами, а с нами. Народ не потерпит.

А сам от меня – ни на шаг: мало ли что, еще украдут.

– Да что у вас красть? – поражалась я. – Носовой платок? Зубочистку?

– Меня, меня самого могут украсть как главу русской делегации. А потом выкуп будут требовать у России! – с достоинством отвечал он.

Я все дивилась и спрашивала про себя: ну и при чем тут Самойлов? И где там Лотман?

А он все ходил за мной, все проявлял классовую бдительность, бубнил, заклинал:

– А у нас лучше. Товары – качественнее. Продукты – натуральнее. Что это вы покупаете? Кофейник? Да у меня таких кофейников дома... пять штук. Это – кока-кола? Не пейте! Наш лимонад – лучше.

Я вспомнила, как одно время у моих детей была нянька. И вот она время от времени подбиралась ко мне и с лучезарной улыбкой говорила:

– Олеся, какая же все-таки Мария Ильинична Ульянова была замечательная женщина!

В конце концов мы были вынуждены с ней расстаться, и она писала на меня доносы в Союз писателей, что я не имею никакого уважения к семье Ульяновых. Секретарша Марь Иванна мне их потом зачитывала по телефону.

Ну, и здесь я не выдержала заклинаний, надерзила этому Эн с Точкой:

– Не понимаю, как вас там в вашем Союзе писателей держат? Неужели не поминают структуралистское прошлое? Или просто – гоняют за пивом. Признайтесь, а? Ведь они не могут вас принимать всерьез. Отчество у вас басурманское и выговор подозрительный.

Хмыкнул, поджал губы, обиделся. Наконец подыскал аргумент:

– Почему же для хорошего человека и за пивом не сбегать? Владимир Иванович Гусев – очень хороший человек.

Больше он со мною не разговаривал, то есть продолжал что-то бормотать, но уже не мне, а куда-то в пространство, хмыкал себе под нос, жестикулировал, восклицал.

После того как Советский Союз обвинили в оппортунизме, всю страну покрыли бетонные доты,

угрожающее число которых подползло к миллиону, так что каждая албанская семья в случае чего, если к ней ненароком вдруг протянется из темноты «братская рука помощи», могла окопаться в персональном укреплении и вести оттуда прицельный огонь по отзывчивому «старшему брату». Разлюбив русских, албанцы тогда тут же полюбили китайцев, и Желтый Брат научил их раскопать горы в форме террас, чтобы на них можно было с легкостью выращивать солнцелюбивый виноград и тучные злаки. Доверчивые албанцы вышли на многолетний субботник и изрыли свои скалы так, что они легли ступенями, спускающимися в преисподнюю и восходящими к свету. Но братья с берегов полноводной Янцзы и преизобильной Хуанхэ ничего не сказали об оросительных системах, которые могли бы питать под палящим солнцем молодые посевы. И вскоре скалистые лестницы заросли колючками и бурьяном.

Говорят, еще совсем недавно в албанских горах шумел густой лес и пели птицы. Но в одну из зим сюда пришли коммунисты и вырубili леса «на растопку», оставив после себя лысые горы в складках террас и пупырях дотов.

Эн с Точкой лазал между дотами, гладил горячий бетонный панцирь, пытался даже усесться сверху – шофер его подсаживал, фотографировал – то с напряженно-серьезным, даже идейным лицом, то с туристической улыбкой, то с биноклем у глаз. Это чтобы потом Эн с Точкой мог показывать фотокарточки родным и близким: «А это я за границей».

– Ваши соратники по Интернационалу постарались! – съехидничала я, указывая Эн с Точкой на тоскливый разор.

– А ваши американцы покупают себе Албанию своей пепси-колой! – огрызнулся он.

Американцы действительно начинали уже «покупать» Албанию: нам с нашей «культурной программой» было не угнаться за ними. В университете студенты, изучавшие английский, были снабжены компьютерами и новейшими программами, в то время как на русском отделении кривились допотопные парты и со стен смотрели выцветшие стенды с Лениным и Горьким. Что мы могли им предложить? Две коробки подержанных и довольно случайно подобранных русских книг?..

Как-то вечером, в гостях, под песню о том, как «паренька приметили, и в забой отправился парень молодой», исполненную хором албанских товарищей, мой спутник расслабился и, по всей видимости, преизрядно «принял на грудь», потому что вдруг расчувствовался и стал мне рассказывать, как он ходил в приближенных Лотмана и как ему за это всыпали по первое число: вызывали куда следует, а кроме того – рассыпали набор его первой «модернистской» книги стихов. Мне стало его жаль. Еще бы – вон как пуганули его, беднягу. Даже в партию вступил. И так его разморило, что он вдруг и на Союз писателей свой попер и – перед кем?..

– В общем-то, хама они там, – признался он мне. – Унизительно с ними иногда бывает...

Как-то я с ним внутренне примирилась. Подумала, нехристианское это дело – осуждать. Может, подумала, человек он вполне хороший, а вот – боится теперь, трепещет...

Утро, очевидно, застало его врасплох: должно быть, в ужасе он вспоминал свои ночные откровения. Во всяком случае, он вдруг сделался чрезвычайно суров ко мне, вовсе перестал со мной разговаривать и теперь поступал как бы мне наперекор, как бы даже назло. Если я брала в ресторане рыбу, он – котлету. Если я – компот, он – кисель. Я – сыр, он – колбасу, а ведь раньше ни на йоту не отклонятся от моего рациона. Я даже подозревала, что он держит меня не только за телохранителя, но и за дегустатора: я съем кусочек, тогда и он съест. Я сделаю глоток, и он сделает. Но теперь – шалишь! Независимый человек ест то, что сам пожелает.

Нас повезли на Адриатическое море, я полезла купаться, он забился в кусты:

– Наше Черное море лучше.

Я вылезла из воды и забралась под куст, чтобы укрыться от палящих лучей – он вылез на солнце.

– Вы обгорите, – сказала я. – Идите лучше в тень.

– Не пойду! Даже не уговаривайте!

Так и сидел на полдневном солнцепеке часа два. Сторел, как ветошка. На следующий день покрылся волдырями, я предложила ему жирный крем для лица.

– У меня свое. ...Ну и пожалуйста!

...На шоссе я нашла средиземноморскую черепаху. Она лежала, в ужасе втянув под панцирь голову и лапки. Желтая, выпуклая, красавица. Возьму домой, решила я.

Он глянул лениво, отвернулся, недовольный.

– А у моих сынишек такая уже есть. Даже две таких.

Вот и хорошо. Меж тем пора было пускаться в обратный путь. Албания – Македония, Македония – Болгария. Там дальше на поезде: Болгария – Румыния, Румыния – Молдавия, Молдавия – Украина, Украина – Россия.

В Софии я купила в дорогу кое-какой еды и очень много воды и соков. Душно, поезд грязный, допотопный, медленный. Сели в купе.

– Хотите пить?

Эн с Точкой покачал головой:

– Совсем даже не хочется. А эти соки все искусственные, отравы. Там одни консерванты.

Ехали-ехали, наконец его припекло. Взял котелок, кружку, пошел по вагону, стал нацеживать воду для питья. Вода была теплая, мутная.

– Ой, не берите, не пейте, – сказала проводница. – Это только написано, что она питьевая. Заболеете.

– А ничего! – Он махнул рукой. – У меня марганцовка есть. Я кину кристаллик, и вся зараза уйдет. Всегда в дорогу с собой беру.

Пришел в купе с котелком, шарахнул марганцовки, сидит, попивает. Достал из рюкзака банку говяжьей тушенки, вскрыл перочинным ножом, знай ест своей дорожной вилкой. Жир теплый, капает.

Я к нему со своими припасами:

– У меня есть сыр, хлеб, йогурты... Берите, ешьте. Я покупала для нас двоих.

Не дрогнул. От классового врага – ни крошки.

– А зачем? У меня свое. Тушенка – еще из дома. Жена дала.

...Так и ехали. Под полкой отчаянно скреблась золотистая черепаха. Я спрятала ее в коробке с травой. Накрошила туда сырку, яблочка. Она освоилась, мордочку и лапки высунула, рвалась на волю. Говорят, что эти черепахи, где бы ни оказались, всегда безошибочно ползут в сторону своего Средиземного моря. Больше всего я боялась, что ее засечет таможня. Но как только входили таможенники и пограничники, она тут же затихала. Они заглядывали под полку, коробка и коробка. А мы – делегация.

Наконец, уже на самой последней границе – кажется в Могилеве, вошел дюжий молодой пограничник:

– Ваши паспорта.

Листал, листал мой паспорт, то так вертел его, то этак, хмурился, покусывал губу, наконец отчеканил железным голосом:

– А у вас, товарищ Николаева, нет выездной визы из России. Пройдемте с вещичками до выяснения вашей личности.

– Как это нет выездной визы? – удивилась я. – Я ведь столько уже границ проехала: Россия – Украина, Украина – Молдавия, Молдавия – Румыния, Румыния – Болгария, Болгария – Македония, Македония – Албания и – в обратном порядке. А вы говорите – визы выездной у меня нет.

– Ничего не знаю, что вы там проехали. Пройдемте. Если будете оказывать сопротивление, занесем это в протокол. – Голос пограничника зазвучал бдительно и зловеще.

– И что там со мной будет?

– Ничего, посидите в КПЗ, пока наши люди не выяснят, как вы здесь оказались, а потом, если все в порядке, отправим вас с оказией в Москву.

Честно говоря, я почти сдалась, так я была ошарашена. Ну и потом – может быть, это голос судьбы:

«Вперед, к новым приключениям!» В Могилеве я никогда не была. Там, что ли, произошло отречение императора Николая? Кроме того, мой духовник любил повторять: «Если что-то не получается по независящим от тебя обстоятельствам, значит, Господь приготовил тебе кое-что получше». Вот не получилось мне по независящим обстоятельствам добраться до Москвы, значит, в Могилеве мне будет лучше. И я почти уже собралась выходить. Но – черепаха! Сейчас я возьму коробку, она начнет скрестись, пограничник ее засечет, контрабанда, да ну, не пойду. У меня через два дня день рождения. Меня родители и родительница ждут. Муж тоже ждет. Дети. Все-таки вряд ли в могилевском КПЗ мне приготовлено Господом «кое-что получше»! Сомнение огромное меня одолело, вера произвольно пошатнулась, нашла кручина. Решила, не пойду, и всё. Пусть уж волоком меня волокут. Приключения так приключения!

– Визу получал за меня работник иностранного отдела. В МИДе. И вообще мы – делегация, – почти закричала я, обрадовавшись, что нашла для себя зацепку. – Эн с Точкой, вы – глава делегации, покажите-ка нашу бумагу! Сейчас этот господин убедится.

И вдруг Эн с Точкой, запустив по-ленински руки себе подмышки и раскачиваясь на полке вперед-назад, вперед-назад, медленно и спокойно произнес:

– Вы только меня не впутывайте в эту историю. Я тут ни при чем. Вам лучше пройти в отделение, как говорит товарищ.

– Дайте сюда бумагу! – твердо сказала я.

Он еще глубже засунул руки и все покачивался, все покачивался:

– Они ведь знают, что делают, пограничники. Профессионалы. Вам лучше пойти с товарищем, не портить себе протокол.

Тут я растерялась. Я взяла паспорт и стала почти машинально его листать. Он весь был в визах, штампах, штемпелях... Наконец, в самом конце я увидела то, что искала.

– А это что такое, – я сунула под нос пограничнику нужную страницу. Он пригляделся, козырнул, щелкнул каблучками и – был таков. Поезд тронулся. Мы были в России.

Тут уже я закинула ногу на ногу и стала покачиваться туда-сюда, пристально вглядываясь в своего визави. Он сидел сжавшийся, обгорелый, с короткой шеей, в грязной майке, в которой проходил все эти восемь дней, вопреки всякому протоколу и назло битком набитому чемодану. Он сидел, нахлебавшийся мутной теплой воды с марганцовкой, закусивший тушенкой без хлеба, и обмирал под моим насмешливым взглядом:

– Ну что, Эн с Точкой! Сдать меня хотели! В КПЗ! Пограничникам!

– Может быть, у вас подданство двойное? – заюлил он. – Может, поэтому он хотел вас высадить? Они ведь, пограничники, знают – там в паспортах есть такие знаки, которые дают информацию. Скажите – двойное у вас гражданство? Ну там еще американское или израильское...

– Угу, – сказала я, не отрываясь глядя на него.

И он как-то весь сник. Лицо его приняло жалостливое, плаксивое, какое-то бабье выражение, и он произнес дрожащим голосом, в отчаянье:

– Ну вот, вы теперь, наверное, все про меня Наталье Ивановой расскажете!

– ???

– Ну да, все расскажете про меня этой Наталье Ивановой, там, у себя, в Союзе своем писателей!

Обреченность была написана на его лице.

– Обязательно расскажу, – расхохоталась я, вытаскивая из коробки расхрабrivшуюся черепаху, рвущуюся изо всех сил к своему далекому морю.

...Ну вот и выполнила наконец обещание, вспомнилось, пришлось к слову.

## Гениальный семинар

Я училась в Литературном институте в середине 70-х. У нас был гениальный семинар. Вел его Евгений Михайлович Винокуров.

У нас учился безумно талантливый Андрей Василевский, который в конце концов стал главным редактором «Нового мира».

У нас учился безумно талантливый Сергей Морев, который, в конце концов, стал бомжом.

У нас была Таня Митрофанова из города Минска. Она была безумно талантлива, но вышла замуж за драматурга Бурьличева, который жил на улице Горького и носил носки цвета морской волны, и канула в никуда.

У нас была Ольга Герасимова, которая была безумно талантлива, но закосила по психушке, чтобы спасти сына от армии, и канула в никуда.

У нас был Леша Дидуров, безумно талантливый, который стал королем рок-поэзии. В те времена он потрясал нас крутизной своих бесчисленных и подробных любовных побед, запечатленных в длинных поэмах. Сам он представлял в них воистину «маленьким гигантом большого секса». Особенно меня потрясло, как он предложил для похода в ванную очередной подруге, которую принимал в своей коммуналке, «кимоно для карате»: «Я предложил ей кимоно для карате».

У нас был поэт Федосов. Он тоже был безумно талантливый, но прижимал в стихах к груди партийный билет. В конце концов, Евгений Михайлович с гримасой боли предложил ему перейти в другой семинар и там прижимать все, что он захочет и к каким угодно местам.

У нас был Петя Кошель. Он был особенно безумно талантлив и писал пронзительные, по-лимоновски косноязычные и поломанные стихи, пока его не заметил Вадим Кожинов, который сделался ему «заместо Музы» и диктовал по телефону, как, чем и на какую тему ему следует вдохновляться. В конце концов Петя стал председателем общества инвалидов и канул в никуда.

У нас была Наташа Стрижевская, безумно талантливая. Она стала престижной переводчицей французской поэзии и говорила, наверное, не без оснований «Мой Париж»: «Ну как тебе мой Париж?» Мы видимся с ней иногда во французском посольстве.

Еще у нас был Миша Айвазян. Он всегда выглядел как большой начальник, был старостой семинара, говорил внушительно и авторитетно, и Евгений Михайлович несколько тушевался перед ним. В конце концов Миша стал чуть ли не самым главным в ИМЛИ. Мы видимся с ним иногда на презентациях.

Еще у нас была гениальная Галя Принь. Ей сделали штук пять операций на мозг, сопряженных с трепанацией черепа. Каждый раз после операции она говорила: «Да как я живу, Лесенька, – прекрасно!»

Еще у нас была гениальная Оксана Букатова. Она куда-то пропала – не исключено, что она ушла в монастырь.

Еще у нас были несколько просто хорошеньких, очаровательных, элегантных и безумно талантливых девушек, которые радовали все эстетические чувства. Они очень украшали наш семинар. Одна из них говорила так: «Я столь тщательно крашусь и одеваюсь, чтобы быть всегда наготове ко встрече со своим неведомым принцем».

Честно говоря, были еще какие-то люди, не менее талантливые и гениальные, но я их просто не помню. То есть помню, но как-то так, – увы! – прошло все-таки двадцать лет...

Итак, Евгений Михайлович собрал нас под своим распростертым крылом.

Времена были поганые – середина семидесятых. Литинститут считался идеологическим вузом. Про изгнанного Солженицына политрук Рукосуев нам говорил так: «Одна фамилия чего стоит! Вы же филологи! Вот послушайте – Солженицын: солжет и падает ниц, солжет и падает ниц!»

В проректорах по учебной части был у нас проштрафившийся инструктор ЦК, шугавший всех, кто носил джинсы и имел несоветское выражение лица.

После каждых каникул нам устраивали письменный опрос: кто что прочитал. Поскольку читали как раз антисоветчину – самиздат или просто те книги, которые были изданы за границей, – Бердяева, Шестова,

Ходасевича и др., приходилось выдумывать. Поэт Гофман написал: «Все лето я читал работы Ленина и книгу Достоевского «Идиот»».

Преподаватель по текущей советской литературе требовал вести анализ исключительно с марксистско-ленинских позиций. Впрочем, это общеизвестно...

Главное – другое. В этой ситуации существование в культуре было средством экзистенциальной самозащиты, способом выживания, условием спасения. Семинар Винокурова был благословенной отдушиной, вольницей, ристалищем юных амбиций.

Евгения Михайловича мы очень любили – до нежности и какого-то восторга: с одной стороны, он был мэтр, и кроме того – «нормальный»: у него можно было и Бродского процитировать, и о Мандельштаме поговорить, с другой – он был такой наивный и забавный Винни-Пух. Винни-Пух, как известно, пел свои песенки-бухтелки. Вот и Евгения Михайловича мы называли меж собой попросту Бухтелка.

Всем, кто был знаком с Винокуровым, известно, что он очень любил поест. О нем говорили: «Винокуров пришел в ЦДЛ выпить и опять наелся». В этом его пристрастии было что-то превосходящее простую физиологию: полет, метафизика, поэзия. За миром, как и за текстом, ему мерещился некий трансцендентный Метапродукт, который должен был питать собой – и чувственно, и, конечно, духовно – детей Вселенной, принимая соответственные образы земной трапезы.

«Вкусный образ», «сочная метафора», «смачная гипербола» – это была высшая похвала. И наоборот. «Кисловато», – морщился он, когда ему что-то не нравилось, «неаппетитно, невкусно, несытно». Там – ему не хватало соли, тут – сахара, туда – переложили перца, сюда – вбухали слишком много воды.

«Не все у Пушкина леденцы», – порой заявлял он, печально покачивая головой. «У вас, Николаева, стихи как арбуз – он сочный, сладкий, но не питательный. Можно съесть много, а проку...» – И он безнадежно махал рукой. Впрочем, кое-что ему у меня нравилось. Например, строки о том, как некий бедолага «на весенний базар приходил подкормиться: две-три сливы попробовать, персик стянуть незаметно». Евгений Михайлович радовался: «Очень свежо. И действительно – сливы можно пробовать, а персик – уже не дадут. Персик можно в этом случае только стянуть».

У Пастернака ему нравилось: «Как масло, били лошади пространство». «Масло, когда его взбивают, оно такое белое, воздушное, тает во рту», – пояснял он. И еще – «там шинкуют, и солят, и перчат, и гвоздику кладут в маринад». У Мандельштама ему был по вкусу мед: «Золотистого меда струя из бутылки текла так тягуче и долго, что молвить хозяйка успела...» «Вы чувствуете, какой это превосходный мед!» – И Евгений Михайлович даже причмокивал от удовольствия.

Конечно, мы тут же поняли этот ключ к мастерству и тоже стали им пользоваться. «Образ не дает навару», «метафора выкипела», «сюжет недопечен», «слишком пережарено», «сплошная сухомятка» и даже «бульон поэмы жидковат» – примерно так мы изъяснялись о стихах друг друга.

Именно в этих категориях мы дружно «разгромили» университетский семинар (кружок?) Игоря Волгина, в который тогда входили Гандлевский, Сапровский и Кенжеев. Сами «волгинцы» пришли к «винокуровцам» не без тайных мыслей сбить спесь с «вшивших литинститутцев». А мы им – «в ваших стихах нет мяса с кровью», «это холодные макароны без подливки», «общепитовский кофе с пенками». «Волгинцы» были посрамлены.

Как-то раз Евгений Михайлович пришел на семинар грустный, удрученный и чем-то взволнованный. «Не будем сегодня говорить о поэзии, поговорим о жизни, – предложил он. – Вы что-нибудь слышали о тарелках?» Мы переглянулись. «Говорят, они огромные и принадлежат внеземным цивилизациям, – пояснил он. – Больше всего меня беспокоит вопрос: а что там внутри? Я уверен – там что-то есть».

«Может быть, пища для землян», – льстиво и неуверенно предположил кто-то. Он с сомнением покачал головой. «Больше всего я боюсь, что они, – Евгений Михайлович тяжело вздохнул, – что они – пусты!» Мы наперебой принялись его разуверять и даже предложили продолжить семинар в вольной атмосфере кафе ЦДЛ, где даже студенты в те времена могли финансово одолеть тарталетки, салат оливье и

бифштекс с кровью в придачу. Шагая туда по морозным улицам, Евгений Михайлович все выпытывал, уже приободренно: «Так вы, Николаева, точно верите, что они – не пустые? Вот и я говорю – в них что-то есть, что-то в них есть!»

Евгений Михайлович был известный поэт и часто ездил за границу. Особенно ему понравилась Канада – там в ту пору открыли новый способ приготовления цыплят на вертеле и в сухарях. Их готовили по всей Канаде, даже возле Ниагарского водопада.

Несколько меньше понравилось Евгению Михайловичу в Италии – он оказался не большим любителем лобстеров и лангустов, которыми его здесь потчевали, хотя ничего не имел против итальянской пиццы или пасты.

И совсем не по душе ему пришлось Скандинавия. Там было принято приглашать в гости в восемь вечера, когда ужин уже отошел и можно пробавляться лишь соленькими орешками с выпивкой. От соленьких орешков весьма скоро начинает подташнивать, и тогда хочется чего-нибудь более основательного и рукотворного...

Евгений Михайлович был очень доверчивым и наивным человеком – его ничего не стоило разыграть. Однажды детский писатель Геннадий Снегирев позвонил ему, исключительно из безделья и желания выпить, и сказал, что видел про него сон. «Что за сон?» – забеспокоился Евгений Михайлович. «По телефону не могу», – многозначительно сказал Снегирев и повесил трубку.

А надо сказать, что у Снегирева всегда была репутация великого и загадочного человека. Он много путешествовал по Азии и всегда привозил оттуда что-нибудь этакое – из разряда тибетской медицины, – то капли от импотенции, то ежиные иголки от воспаления среднего уха, то супермумие от аллергии. По его словам, тибетские ламы и шаманы принимали его за своего и посвятили в некоторые свои премудрости. Так сон Снегирева вполне мог оказаться сродни снам чуть ли не самого Иосифа Прекрасного.

На следующее утро – часов этак в восемь – Евгений Михайлович стоял на пороге моей квартиры: «Вы, Николаева, живете в одном доме с писателем Снегиревым. Он видел про меня сон. Срочно отведите меня к нему».

Мы пошли, растолкали спящего Снегирева, который, сообразив в чем дело, принял такой многозначительный и пророческий вид, что Евгений Михайлович в буквальном смысле затрепетал. «Трепещешь? Хорошо, – удовлетворенно сказал Снегирев, – а где бутылка?» Евгений Михайлович открыл дипломат и вынул оттуда бутылку водки. Словно извиняясь передо мной, он сказал: «У меня сегодня день рождения». И мы сели праздновать.

Так мы праздновали до самого позднего вечера, то у Снегиревых, то у нас, а потом почему-то сорвались с места и зачем-то поехали к Новелле Матвеевой, которую, бедную, страшно напугали, хотя она и говорила, что ей «очень приятно», а потом опять оказались у меня дома. Снегирев то и дело возвращался к толкованию сна, который заключался в том, что серебристый пудель попал в водосточную трубу, и все это каким-то образом соотносилось с судьбой Евгения Михайловича, во всяком случае, тот все время повторял потрясенно: «Это точно про меня! Знаешь, как на меня катят бочку?» И многозначительно показывал пальцем куда-то вверх. «С пивом? Так кати ее сюда!» – кричал Снегирев.

Пока шла эта пирушка, за время которой бегали в магазин, впускали и выпускали каких-то людей, Снегирев возымел колоссальное влияние на Евгения Михайловича и внушил ему мысль немедленно начать у него лечиться. Евгений Михайлович согласился.

Гена тогда лечил «старым шаманским способом» – плевками. Он просто плевал на больное место, и оно «заживало». Или «засаживал доминанту». Это значит, что он вкручивал некую мысль в мозги пациента и «снял» у него «все напруги».

«У тебя напруг с одной бабой, дай я тебе ее «сняму»», – говорил он Евгению Михайловичу. И тот соглашался. «Хочешь, я тебе засажу доминанту, что ты есть перестанешь?» И тот опять соглашался. В конце концов Снегирев усадил Евгения Михайловича в кресло и начал сеанс: «Вот суп, он наваристый, мясной,

вкусный суп харчо. Но в нем мыли ноги, грязные, потные, вонючие, волосатые мужские ноги». «Какая гадость!» – наконец воскликнул Евгений Михайлович. «Снимаю!» – кричал Снегирев. – Все – супа нет!»

«А вот бифштекс, а вот осетрина фри. Они покрыты хрустящей корочкой, они блестят маслом. Но внутри у них завелись черви – большие белые черви, они кишат, извиваясь», – шевелил Снегирев у него перед носом своими артистическими пальцами. «Какая гадость», – стонал Евгений Михайлович. «Бифштекс и осетрину – снимаю!» – кричал Снегирев.

«Пошли дальше. Вот – баранья косточка, а вот сыры, ветчины, колбасы, карбонат, зельц, холодец, курочка с рисом, яйца под майонезом...» «Творожок оставь! – не выдержал вдруг Винокуров. – Все бери, только творожок не трогай!»

Надо сказать, что Евгений Михайлович после этого действительно сильно похудел. Что до Снегирева, то это долгий рассказ.

Винокуров не любил мое имя и звал меня исключительно по фамилии. «Что за имя такое?» – недоумевал он. «Да это у Куприна, – оправдывалась я. – Когда я родилась, впервые за годы советской власти вышел Куприн. Родители мои и сделали этот социокультурный жест». «А когда вы станете старой, вас что, тоже Олесей будут звать?» Так трогательно он продумывал мои грядущие проблемы...

Винокуров был большим мастером художественной детали: деталь у него пела гимн материальному миру, воплощенной идее. Именно здесь проявлялось его христианское мироощущение: ликование преображенных частных мира, гимн одухотворенных подробностей. Как раз это в его поэзии и подметил архиепископ Иоанн Сан-Францисский. Евгений Михайлович очень гордился, если не сказать – хвалился его высокой оценкой.

И если говорить об ученичестве, то именно эту драгоценную неповторимую шероховатость дивных вещей, эту единственную неотчуждаемую и узнаваемую на ощупь подробность жизни, кропотливую ее выделку, прихотливую ее повадку, баснословно интонированную ее речь, чуткую и выразительную ее мимику научил меня любить Винокуров.

Для кого-то он останется советским классиком, мэтром. Но тем, кто был тесно связан с ним в годы «безвременщины» – когда подлинной профессией могла быть только сама жизнь и потому ничего больше не оставалось, как просто жить, то есть мыслить, страдать, и играть, и молиться, и пировать, и плакать, и хохотать, и лететь по черному мокрому снегу, задыхаясь от вдохновенья, – вольно вспоминать его именно как частного человека, как сказочного персонажа – «Бухтелку», собравшего все-таки свой трудный словесный мед.

## Человек в интерьере

### Кабинет писателя

Ну, положим, письменный стол у меня есть. Хотя не тот, что подарила мне на свадьбу молодая вдова Семена Кирсанова. Тот был с резным барьерчиком, тот был с зеленым сукном. Тот был столь широк, чтоб грудью всею... На том – можно было провести жизнь, как столпник на столпе.

А она – эта прекрасная дама – пришла ко мне на свадьбу и произнесла тост: «Державин подарил Пушкину лиру, а я дарю тебе письменный стол Кирсанова. Да, я делаю миру этот жест!»

И она эффектно вскинула руку. Гости заплодировали, но – увы! – *этот жест* она так и не завершила, потому что обиделась на кого-то из моей родни, и на следующий день подаренный ею стол (мой стол!), который в пылу брачного пира еще не успели перевезти к его владелице (ко мне!), оказался в комиссионке и вскоре был продан за астрономическую сумму.

Об этом мне сообщил мой редактор – Виктор Сергеевич Фогельсон, которому мои стихи очень не нравились, и он пытался в них все слова заменить на синонимы. Вот тогда я и помянула Кирсанова в связи с тем, что ему мои стихи вполне приходились по вкусу, и он писал мне рекомендацию в Литинститут (тогда

это было в ходу). Фогельсон Кирсанова уважал и даже что-то процитировал наизусть. Заодно вдруг и вспомнил про стол, который видел в комиссионке, и про баснословную цену.

Но стол у меня все-таки неплохой. Очень даже хороший. Двухтумбовый, темного дерева. Основательный. Его мне подарил поэт Виктор Гофман, потому что ему, в свою очередь, подарил великолепный стол поэт Межиров, и в двух столах у него не было никакой нужды. До сих пор, когда Гофман приходит ко мне, он спрашивает всякий раз: «О, какой у тебя стол! Где брала?» Может – шутит, может – правда забыл...

Есть у меня и ковер в кабинете – песочного цвета и во весь пол. Его мне много лет назад подарил англичанин Тони, который работал в Москве корреспондентом «Financial Times». К нему должна была приехать жена, с которой он собирался разводиться, и он хотел получше принять ее. Поэтому он сменил ковер и два кресла на новенькие, а прежние привез ко мне.

Этот Тони очень любил православное богослужение, и мы часто ездили с ним в Лавру, где он подолгу простаивал у раки преподобного Сергия среди старух в пушистых платках, длиннородых стариков и месточтимых юродивых. Ездили мы с Тони и во Владимир – осматривать храмы и случайно попали на первое богослужение владыки Серапиона, только-только переведенного на Владимирскую кафедру из Иркутска. Я сказала: «Мистика!» – потому что он был тогда единственный архиерей, которого я знала по имени и видела вблизи.

Это было в Иркутске. Вместе с писательской «бригадой», с которой мы приехали выступать по местным общежитиям, домам культуры и воинским частям, я зашла погреться в кафедральный собор. Кончалось воскресное богослужение, и владыка говорил проповедь. Ему расстелили ковровую дорожку, и вскоре он двинулся к выходу, поспешно благословляя всех одесную и ошуюю. Писательница Вика Токарева, у которой был нюх на все «самое лучшее», сказала мне: «Давай и мы получим себе благословение архиерея». А я была юной, некрещеной и не знала, как это происходит. Особенно меня бороли сомнения насчет шапки – что ее, снимать, как это сделали все мужчины, или оставить вместо платка. Поэтому я сняла ее наполовину – то есть сдвинула набекрень. Вид у меня был обескураженный и дурацкий, и когда владыка приблизился, я не выдержала и отступила на шаг. И тут он остановился, очень пронизательно на меня посмотрел – так, как будто увидел ВСЮ МОЮ ЖИЗНЬ, и твердо перекрестил меня со словами: «Да поможет тебе Господь!»

Выслушав это, Тони многозначительно подтвердил: «Да, во Владимир мы попали совсем не случайно!..»

Правда, владыка Серапион мне не встречался больше никогда в жизни, а что касается Тони, то за нами с моим мужем стали следить товарищи из ГБ.

Как-то раз, возвращаясь от него с рождественской пирушки около трех часов ночи, да еще по лютому морозу, мы заметили слежку и решили от нее уйти испытанным революционным способом: дворами, мелкими перебежками и поворотами: направо – налево – налево – направо, и – бегом, бегом!.. Маневр удался, и мы с возгласами «свобода!» вкатились в подъезд. Каково же нам было, когда, поднявшись на свой девятый этаж, мы увидели на лестничной клетке, возле мусоропровода двух товарищей определенного вида, да еще в пыжиковых шапках!.. Видимо, они были уже в чинах, в отличие от тех, кто караулил нас, переминаясь на морозе.

– А это кто такие? – закричала я, указывая на них сверху вниз пальцем.

– Воры и разбойники, – отвечал шикарно грянувшим голосом мой муж.

И вдруг, застуканные, они дунули с места, как сорванцы, и, придерживая обеими руками шапки на головах, затрюхали вниз по лестнице. Наверное, они обставили эту «халтуру» как серьезную разведывательную операцию, раз уж задействовали в ней, по крайней мере, целую группу «сотрудников». Наверное, они долго составляли план, разрабатывали стратегию, чертили окрестности, водили указкой по карте, вычисляли масштаб, рисовали стрелки... И наверняка им платили сверхурочные за неблагоприятный

климат, за опасную ночную работу...

Ну да ладно. С ковром у меня началась новая жизнь. Я положила себе за правило: что бы ни было, я должна каждое утро вычистить весь ковер маленькой жесткой щеткой. Если я почему-либо это не сделала, значит, что-то со мной (с жизнью) не так. И наоборот: если с жизнью что-то не так, то есть «все погибло» и «все пропало», прежде всего надо вычистить ковер жесткой маленькой щеткой.

На этом ковре, на расстеленных овечьих шкурах, часто ночевали у нас поэты и монахи. Я стелила им «по ту сторону стола», и у них получалась маленькая келейка. Многие из них сейчас стали настоятелями монастырей, а один – так даже архиереем.

Есть у меня в кабинете и полки с книгами. Полки мне никто не дарил: их с помощью электропилы соорудил мой муж – хрупкий и ранимый интеллигент, который знает все на свете, но который ни до той поры, ни после нее никогда не держал в руках ни молотка, ни отвертки. Сделал он это в порыве дивного вдохновения и одним махом вложил в них весь мастерской пыл, отпущенный ему на всю жизнь. Перед каждой полкой он замирал, как художник перед новой картиной. Отходил, прищуриваясь, любовался издали... Часть полок снабжена хитроумными секретерами на шарнирах, которые пожертвовал нам из своего шкафа, стоявшего на балконе, Леня Миль, переводивший тогда гениальные псалмы Нарекаци – армянского монаха VIII века и вызванивавший нас по ночам к себе – слушать очередной переведенный им текст. После псалма мы шли купаться в большом фонтане, пили вино и наблюдали рассвет. Леня никогда не забывал, что он – дитя еврейского гетто, но Нарекаци он любил не менее, чем еврейский народ. Поэтому он и не смог прижиться в Израиле, куда эмигрировал вскоре после «фонтана», и вернулся назад. Но мы с ним больше не виделись и узнали лишь из газет, что Леня повесился. Там это называлось «трагически кончил жизнь». Книгу Нарекаци, которую он перевел, кто-то у меня заиграл, и теперь я уже нигде не могу ее отыскать... Начинаясь же она так: «Я – дерево, коренящееся в аду».

Книгами заведовал мой муж. Каждый стеллаж соответствует какому-либо роду деятельности, которой он занимался. Критика и литературоведение – это Литинститут. Культурология, социология, киноведение – это институт искусствознания. Современная поэзия, проза, скопище старых журналов – это уже «Огонек». И наконец – богословие, история Церкви, богослужебная литература – это когда он стал христианином, а потом и священником.

За один из стеллажей зацеплена большая самодельная вешалка, на которой висят его ряса с подрясником, не вмещающиеся в стандартный платяной шкаф. Они как-то символически занавешивают подаренную мне в Италии золотую табличку, на которой выгравировано латинскими буквами:

ПОЕТА OLESIA NIKOLAEVA.

Правда, однажды, перед приходом предполагаемого спонсора моей книжки, я извлекла ее из забвения и, обтерев пыль, водрузила на видное место. Но спонсор затерялся где-то в пути, и она опять уткнулась в черный, пропахший ладаном штапель.

Часть книг все же добыла я. Их мне подарил отец Ефрем – издатель Джорданвилльского монастыря, куда я, запутавшись в юрисдикциях на американской территории, попала в самый разгар вражды между Зарубежной и Русской Церковью. Началось с того, что я подарила отцу Ефрему книжку моих стихов, а он, прочитав в ней несколько строф, хлопнул себя по голове и крикнул: «Да это же – про меня!» И нагрузил мне три огромных ящика богословской литературы. Кроме того – вложил туда для русских монастырей множество икон и иконок, крестиков и крестов, кусочков мощей в мощевиках, пузырьков с афонским маслом, свечек от гроба Господня и бутылочек с иорданской водой. А потом повел меня смотреть монастырь и его окрестности. И вообще мы с ним подружились... «Мы с тобой как брат и сестра», – сказал он мне на прощанье.

Вернувшись в Нью-Йорк, я послала книги в Москву по почте. Целых полгода мне приходили потом желтые мягкие бандероли с книгами, и – о чудо! – ни одной не украли. Святыньки же я бережно переложила в чемодан и с тоской гадала, где бы мне в Нью-Йорке переночевать, потому что конференция, на которую я

прилетела, уже кончилась, из гостиницы меня выгнали, денег у меня не было, а единственная московская знакомая, проживавшая там на ПМЖ, собиралась справлять еврейскую Пасху с родственниками из Израиля и пекла мацу. Приближалась ночь, а мне было некуда деться. И вдруг...

И вдруг в этот дом, где я сижу возле своего святого чемоданчика и тоскую, звонит моя московская подруга Анна, которая когда-то была настоящей непальской шахиней, родила двух дочек, ставших эстрадными звездами, а сама сделалась женой поэта и теперь пишет «жесткую прозу».

Итак, звонит мне Анька, прилетевшая в Нью-Йорк на несколько дней со своим мужем, чудом напавшая на мой след и отыскавшая этот номер телефона, и кричит: «Немедленно приезжай! Мы тут в прекрасном доме, у милейших людей, места полно!» И я приезжаю...

Действительно, какой прекрасный дом, несмотря на то, что бруклинские трущобы! Сколько места, несмотря на то, что хозяева уступили мне свою спальню! Наконец, какие чудные люди! О счастье! О ликование!..

– Анечка нам уже многое рассказала о вас, – говорит мне хозяйка дома. – Я бы тоже хотела представиться.

И она протягивает мне визитную карточку. На ней написано:

ТАМАРА

Черная, белая магия. Колдовство.

Снятие и наведение порчи. Ворожба. Приворот.

– Может быть, у вас какие-нибудь проблемы? – с обворожительной улыбкой спрашивает она. – Для вас я могу бесплатно.

– Спасибо, – вежливо улыбаюсь я. – У меня все в порядке. Мне не нужно.

Так говорю я, но святыньки у меня в чемодане говорят иначе. Предметы в доме вдруг снимаются с мест и начинают плавное движение. Расписная деревянная посуда, стоящая на полках по всему периметру кухни, лопается с диким треском, похожим на выстрелы: крак! крак! крак! Из лампы, висящей над столом, за которым мы сидим, раздается хриплый голос, что-то быстро-быстро говорящий по-английски. Мои московские друзья – скептики и агностики – машинально крестятся. Хозяйка мечется по кухне, словно ловя кого-то, и кричит, разрывая на себе ворот платья: «Чуждый дух проник ко мне! Чуждый дух!»

«Чуждый дух» был увезен мной на следующий день в Москву и роздан по монастырям. Я часто со смехом рассказывала эту историю, явившуюся последним эпизодом моей американской эпопеи. Но особенно я хвасталась своей дружбой с отцом Ефремом. Дружбой, которая побеждает все церковные подразделения. «Мы с ним как брат и сестра», – говорила я.

Вскоре, по слухам, он бежал из Джорданвилльского монастыря по веревочной лестнице через стену и – на Афон. Я встретила его через три года на празднике Успения в Псково-Печерском монастыре и подошла к нему под благословение. Но он меня – не узнал. Книги же его я читаю до сей поры...

А зеленую лампу, которая освещает мягким светом мой письменный стол, когда-то подарила мне «молодая поэтесса» Галя С. Она работала дворником в соседнем ЖЭКе «за прописку» и откопала эту самоуверенную лампу на латунной ноге где-то возле помойки. Зеленый абажур, впрочем, вскоре разбился, и его заменила прихотливая соломенная шляпка, постепенно обросшая всякими бусиками, браслетиками и кулончиками. В придачу к лампе Галя С. написала мне стихотворение «Далее нет ничего. Так живи и гордись!» и рассказ «Шанс» о моем дне рождения. Рассказ заканчивался символической сценкой с бездомной собакой, которую она (Галя, героиня) зазывает в дом, чтобы там ее приручить и одомашнить. Но собака не идет за ней, хотя, как у Гали написано, «у нее ТОЖЕ был шанс». То есть это «тоже», применительно к собаке, означало, что это как бы я даю Гале С. некий «шанс», но она его не использует, предпочитая свободу... Поскольку на моем дне рождения ничего такого и не было, кроме болтовни и хихиканья, видимо, этот «шанс» был каким-то ее личным соображением. Может быть, что-то ей

померещилось в том, что вот Тони – корреспондент, Леня Миль – переводчик, Гофман – поэт, а она, Галя, – дворник. Но рассказ был совсем неплохой...

Вскоре получилось так, что моя близкая школьная подруга увела у нее возлюбленного, и Галя С. надолго куда-то пропала. Возлюбленный стал членом общества «Память» и печатал в газете «Пульс Тушина» стихи о том, как он носит за голенищем «длинный нож». Подруга моя сорвалась с балкона в пасхальную ночь и разбилась насмерть. А Галя С. вышла замуж, родила двух детей и перестала писать стихи.

А еще у меня в кабинете есть золотой самовар. Я купила его за бесценок в антикварном магазине в конце перестройки. Самовар символизирует мечту о нормальной жизни. Когда можно поехать на дачу, растопить его шишками и сучками и потом долго-долго, по-чеховски нудно пить чай, отгонять от варенья мух и лениво поправлять на плече шаль, постепенно обрастая детьми, внуками и всякими там невестками, снохами, зятьями и кумовьями. Но дачи у меня нет, и невостребованный самовар пребывает как «вещь в себе», уперев золотые ножки в грузинский войлочный коврик, расстеленный на пианино.

Пианино тоже есть у меня в кабинете. Его мне купили родители, чтобы меня обучала музыке старая обрусевшая голландка Фредерика Людвиговна. «Каждый палчик отделно», – писала она мне задание в тетрадь, сопровождая его, в ущерб мягким знакам, тремя, а то и пятью восклицательными.

Фредерика Людвиговна имела молодого (шестидесятипятилетнего!) мужа и выглядела как целый карнавал: она подкрашивала волосы синькой, носила красную шляпу и запудривала большие рыжие веснушки крупнокалиберной розовой пудрой «Рашель». Когда у меня не получался «каждый палчик отделно», потому что я – переученная левша и в каждой руке у меня – каверза и подвох, она темпераментно произносила бурную фразу, исполненную явного русофобства. И тогда я вкрадчиво спрашивала ее о Голландии, и она сразу же все мне прощала. Несколько раз я ходила в консерваторию на концерты ее мужа. Где-то в задних рядах оркестра виднелась и ее голубоволосая голова. Время от времени моя учительница вдруг поднималась со стула и – к моему восторгу – била в большие золотые тарелки.

Еще два года назад я играла на пианино сонаты Моцарта и экспромты Шуберта: единственное, что у меня осталось после давнего переезда. А теперь уже почему-то не отыскать ни сонат, ни экспромтов. Пианино стоит закрытое, как некое «прошлое», о котором есть воспоминания, но к которому нет ключа. Если угодно – прошлое, которое существует, но на котором нечего больше сыграть.

Еще у меня в кабинете есть диван. Он достался моему мужу от писателя Григория Свирского, когда тот уезжал в Израиль. Диван такой широкий, что поэт Юрий Левитанский, когда он жил по соседству и часто заходил к нам пожаловаться на жестокие козни жизни и утешиться дружественной беседой под рюмочку-другую водочки или коньячка, часто, откинувшись на нем назад, засыпал поперек него, и еще оставалось место.

В ту пору его жена (тогдашняя) занималась спиритизмом и так наловчилась, что духи ей диктовали нечто даже без блюдца и нарисованных на бумаге букв. Она делилась со мной впечатлениями от беседы с духом Ахматовой, у которой спросила: «Анна Андреевна, а что вы думаете о поэте Цыбине, вот он – видите – сейчас идет по двору?» «Невыразительная личность», – отвечал дух Ахматовой. Видимо, он как-то нелестно отзывался ей и о самом Левитанском...

Над диваном висит большой старинный расписной крест с лампадой. Крест с лампадой подарил тот монах, который сначала ночевал у нас на ковре, а потом стал архиереем.

Когда же он еще не был архиереем и сам помогал вешать этот крест на стену, у нас сидел в гостях поэт Н., который затеял с ним религиозный спор:

- В Бога-то я верю, а вот в лукавого – это нет, не могу, увольте.
- А во Христа веришь? – спросил владыка.
- И во Христа верю.
- А кого же Он тогда изгоняет из больных и бесноватых?

- Ну это так – фигурально.
- А если тебе Господь беса покажет – тогда поверишь?
- Тогда поверю.
- И покрестишься?
- Покрещусь.

И тогда теперешний владыка посмотрел на крест, осенил себя крестным знамением, положил земной поклон и сказал поэту:

- А теперь – жди. Недавно я спросила поэта N.:
- Ну как – показал тебе Господь беса?
- Он отмахнулся и фыркнул. Мы подошли к метро.
- Пока, – сказал он, – теперь я пешочком.
- Как, – изумилась я, – ведь далеко.
- А я на метро не езжу: спускаешься туда, как в ад. Страшно.
- Ну так сядь на автобус.
- Нет, – он решительно мотнул головой и добавил загадочно, – там ведь тоже ЗАКРЫВАЮТ ВСЕ

ДВЕРИ.

На противоположной стене – прямо напротив креста – большой портрет старца Серафима.

Много лет назад меня пригласили *на заработки* в Белгородскую область и посулили за каждое выступление 7 рублей 50 копеек. Я поехала *на заработки*, а попала к старцу, потому что его пустынька была в той же Белгородской епархии.

Старец Серафим давным-давно умер и теперь пребывает с ангелами на небесах. В его пустыньке после него поменялось уже три священника. Но вот что любопытно: все, кто когда-либо приезжал к нему, связаны между собой как бы единым сюжетом, тонкой шелковой ниткой, из которой рыбаки плетут сеть для легких серебристых рыб.

Тот, Кто погнал меня пятнадцать лет назад *на заработки* под Белгород, знал, что я в нее попаду.

Что я буду стоять в резиновых сапогах на ледяном полу нетопленного храма все восемь часов уставной великопостной службы.

Что я буду скрывать у себя беглого монаха с Кавказских гор, где его хотели убить омусульманившиеся греки, и буду добывать ему – через шулеров и воров – подложный паспорт.

Что я буду в три часа ночи добираться пешком по крещенскому морозу к Ярославскому вокзалу на первую электричку в Загорск, чтобы довести в Лавру золотой на престольный крест, усеянный бриллиантами, который по недоразумению оказался в Москве, но который вот-вот будет взыскан с моего духовника патриархом. И пока я буду его нести по гололеду на раскатанных скользких подошвах, я буду подозрительно шататься, скользить и падать, а за мной будет медленно ехать ментовская машина, и менты, принимая меня за вокзальную проститутку, будут кричать: «Все равно не уйдешь от нас, все равно поймаем!» Но Господь покроет меня от них тьмой и метелью, и я вовремя доведу этот крест, как бриллиантовые подвески, и спасу королеву...

Что я буду записывать под диктовку исповеди убогого монаха Леонида, на чьих руках умерло три великих старца и по молитвам которого Господь сохранил мне правый глаз, выжженный уже до бельма отлетевшей в него горячей серой от спички.

Что я буду меняться крестами с самым кротким и самым суровым монахом, который даже тогда, когда, промахнувшись и рубанув себя по руке топором, не издал ни звука и только все бледнел и силился улыбаться, пока я тащила его в больницу.

Что я буду шофером в женском монастыре, а в мужском – кухаркой и посудомойкой. Певчей в подмосковной церкви. Чтецом в деревенском храме. Женой священника. Матерью диакона...

Что я буду называть себя христианкой...

Рядом с портретом отца Серафима – чуть ниже – висит старинная немецкая гравюра: блудный сын, получив отцовское наследство, покидает отца. Весь он исполнен птичьей беспечности, юности и богатства. В его сердце плещется кураж новой жизни: приключения, путешествия, пиры с друзьями, любовь и слава. Он пока ничего не знает о свиньях, которых ему предстоит пасти, о свиных рожках, которых ему предстоит наглотаться... Сквозь приоткрытую дверь отец наблюдает, как удаляется его сын. И даже если в последний момент он крикнет ему: «Я тебе запрещаю! Вернись!» – тот все равно уйдет. И отец – молчит...

Чуть левее – на одном из стеллажей – стоит фотография отца Василия, которого мы называем pere Basil, потому что он – француз. Pere Basil стоит в полный рост, облеченный в шелковую греческую рясу и клобук, и держит над головой хоругвь. Это я сняла его на празднике Успения в Псково-Печерском монастыре.

Pere Basil был когда-то католический монах и принадлежал к ордену бенедиктинцев. Потом – подвизался в униатском монастыре в Иерусалиме. А теперь он – православный священник и служит на деревенском приходе в Чувашии. Чуваши – эти хранители чистоты Православия – его не признали, приняв за еврея (из Иерусалима!) и за масона (говорит как-то не по-нашенски, с акцентом). «Сколько ты заплатил нашему владыке, чтобы он дал тебе это место?» – гневно вопрошали они.

Но русское меньшинство в нем души не чает, особенно бабки, потому что он служит строго по уставу и его службы длятся иногда по восемь-девять часов.

– Почему-то в этой деревне очень пьют, – жаловался мне недавно pere Basil. – Недавно я венчал жениха и невесту, так молодой муж так погулял на свадьбе, что через три дня умер. Я же его и отпел.

Pere Basil тоже ночевал на моем ковре...

Над его фотографией – чуть выше – стоит резной деревянный ангел. Его мне подарила одна милая женщина в связи с моим романом «Кукс из рода серафимов», герой которого вырезал деревянных ангелов. Сам он был уродец и очень страдал, что и воскреснув останется таковым. Сюжет этот – рикошетом – вернулся ко мне в Александрии, когда я рассматривала саркофаги: там тоже был один такой карлик, который, мечтая воскреснуть в преображенном виде, заказал себе огромный двухметровый саркофаг.

В Александрию же мы приплыли на пароходе с Булатом Шалвовичем Окуджавой и после «саркофага» решили прокатиться до пристани на арабской бричке, запряженной тройкой вороных. Сторговавшись за пять долларов, я забралась на козлы рядом с возницей, а Булат Шалвович расположился в повозке. С моря дул густой блаженный ветер вечности и свободы. Возница оценивающе взглянул на меня и передал мне вожжи. Кони понеслись по мостовой, и бричка запрыгала по ее овальным булыжникам, распугивая народ. Покачиваясь на козлах в такт летящим коням, я чувствовала себя то ли Клеопатрой, то ли царицей Савской: мне казалось, что я уловила РИТМ...

Мы подъехали к Александрийскому маяку, и возница повел нас в бессмысленный музей картонных и выцветших от времени рыб, который располагался внутри. Побродив по нему «из вежливости», мы снова влезли в свою пролетку и отправились на корабль.

Теперь уж кучер управлял сам, лихо заворачивая на узенькие улочки и щелкая для остратки кнутом. Вдруг он остановился возле крошечной ювелирной лавочки и сделал нам знак – слезать.

– Вы должны здесь непременно что-то купить: так, сувенир, – объяснил он на тарабарском наречье. – Иначе я вас дальше не повезу. И вы опоздаете на корабль.

Перевернув всю лавку, я выбрала наконец золотые сережки с камнями из Красного моря, по которым когда-то проходил со своим народом сам Моисей.

– О, Moses, Moses, yes, yes, – кивал мне головой торговец.

И Булат Шалвович, повертев камушки в руках, сказал:

– Теперь тебе будет о чем вспоминать.

Через два с половиной года мы сидели с ним рядом на каком-то вечере, и я, взяв себя за мочку уха с серьгой, сказала:

– Вот. Помните, как мы купали их в Александрии?

– В Александрии? – удивился он.

– Ну да. Сначала мы катались в чудной повозке, потом заехали на Александрийский маяк, потом возница завез нас в лавочку, и там...

– Правда? – недоверчиво переспросил он. – Так ты утверждаешь, что мы были в Александрии?..

Возле ангела лежит серый камень с застывшими каплями крови святого мученика Василиска. Он был убит гонителями в Команах и скинут в источник. По преданию, все камни на дне источника покрылись несмываемыми каплями его крови. Местное поверье гласит, что тому, кто вытащит из воды такой камень, отпустится какой-нибудь грех. Мой муж нырял трижды в ледяную воду. Наконец он поднял над головой большой серый камень, на котором действительно отпечатались красные брызги.

Этот сюжет понравился писателю Битову, и он забрал его себе, поблагодарив за это, в свою очередь, моего мужа в предисловии к «Ожиданию обезьян». При этом он назвал его почему-то послушником.

Впрочем, еще много есть у меня в кабинете и икон, и иконочек, и фотографий, и картин, и картиночек, и всяких штучек, и всякой всячины – «с историями» и без них. Есть у меня и машинка «Эрика», и стаканчик с ручками, и бумага, и карандаш. То есть все, как положено в кабинете писателя, как быть должно.

Только здесь я почти никогда не работаю: то – мужу завтра служить литургию и рано вставать. То – кто-то пришел и пьет чай за моим столом, передвинув рукописи, спрятав машинку в углу. То – дети играют на пианино и басом поют псалмы. То – еще что-нибудь. Потому что – жизнь...

Я дожидаюсь, когда все в доме улягутся спать, пробираюсь на кухню и раскрываю большую коленкоровую тетрадь. Там нет ничего – ни большого письменного стола, ни мягкой лампы, ни полка с книгами, ни картин: только черный квадрат окна перед глазами да обнаглевшие тараканы вокруг.

И все-таки мне очень жаль, что когда мы с мужем отойдем в лучший мир, дети разгребут в моем кабинете это скопище как бы бессвязных и бестолковых вещей, разъединят их: что-то выкинут на помойку, что-то – раздарят, что-то приспособят для себя самих. И правильно.

Потому что они – эти вещи – не есть я, это даже не моя жизнь, в которой были, возможно, более важные для нее люди, события и сюжеты.

И все-таки – это мой ПИСАТЕЛЬСКИЙ кабинет. Кое о чем он говорит прямым текстом, кое о чем – проговаривается, но о большем – умалчивает, скрывает. По ночам это «большее» заглядывает мне в глаза. Наверное, оно умрет и воскреснет только вместе со мной.

Египетский карлик знал, что именно саркофаг надо делать непременно «на вырост».

Но место над бездной, на котором он стоял на этой земле, безвозвратно поменяло черты.